

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВ  
СЪБАИНИ ВРЕМЕНИ

НИКОЛАЙ  
ГРИГОРЬЕВ

# Събаини времени



НИКОЛАЙ  
ГРИГОРЬЕВ

---

Събашни  
времени





НИКОЛАЙ  
ГРИГОРЬЕВ

# Събашни времени

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1983

«С башни времени» — автобиографическая повесть Николая Григорьева, автора многих книг, бывшего командира прославленного бронепоезда «Гандзя».

Эта книга является своеобразным итогом, который подводит писатель, заново восстанавливая в памяти свой жизненный путь, богатый большими и малыми событиями, характеризующими самое существо целой эпохи в истории нашей Родины — эпохи, начатой Великим Октябрем и ознаменованной победой советского народа над фашистскими захватчиками.

**Художник Леонид Яценко**

*Мне восемьдесят, и я как бы на башне времени. Вокруг — ближе или дальше — годы и годы прожитой жизни. Вижу себя и мальчишкой, и юношей, и в зрелом возрасте и невольно останавливаюсь на мысли: человек я один и тот же, но какие же перемены творила во мне жизнь! Раскладываю перед собой фотокарточки. Вот я ученик реального училища в Перми. В 1914 году — студент в Питере. В 1916 году — офицер царской армии. В гражданскую войну я в дивизии товарища Щорса, команду бронепоездом.*

*Известие о вероломном нашествии гитлеровских армий застает меня за писательским столом — и я откладываю перо. Вступаю в народное ополчение, формирую батальон саперов. Делаюсь участником героической обороны Ленинграда...*

*Да, на фотокарточках я в разные годы. Но, конечно, менялось не только лицо, менялись и мои взгляды, обогащался мой духовный мир.*

*Отдавая себе отчет в прожитом и сделанном, я и составил эти записки. Хочу надеяться, что опыт долгой и непростой моей жизни заинтересует читателя,*

# Часть первая

Родился я в Перми («пермяк — солёны уши»). В семье — ну как это определить... Во всяком случае, не буржуазной. Отец мой — Федор Федорович — из крестьян, окончил учительскую семинарию и учительствовал в сельской школе; затем выбился в акцизные контролеры... В чем эта служба?

Представьте себе винокуренный завод. Хозяин — капиталист. Здесь изготавливают спирт, который у заводчика покупает казна. Только казна владела правом превращать спирт в водку. А заводчику — лишь бы прибыль побольше — ничего не стоит смошенничать. Готовый спирт на заводах держали в огромных чанах — и разве не соблазн: плеснуть в чан несколько ведер воды?.. Но тут — откуда ни возмись — акцизный контролер. Залезает по лесенке наверх и опускает в чан стеклянный прибор — ареометр. На приборе шкала, и цифра тут же покажет, в законном ли спирт градусе. Если разбавлен, не избежать винокуру неприятностей.

И на спичечных фабриках опасались акцизного контролера, и на табачных, и на карточных. В прежние времена каждая коробка папирос, коробок спичек, колода карт оклеивались бумажным пояском. Это — бандероль, она означала, что налог фабрикантом уплачен. Однако капиталист и тут надувал казну: тайком, с заднего хода, пускал в продажу безбандерольные изделия... Но акцизник — тут как тут.

Трудно приходилось отцу. Человек он был честный, неподкупный. И случалось, после дня рысканья по предприятиям возвращался домой в синяках. Кто нападал на него, не угадаешь — у каждого фабриканта свои головорезы-молодчики. Обязана была помогать контролеру полиция, да только не докличешься ни городского, ни околоточного. Полиция с фабрикантами жила в дружбе...

Мать моя, Ольга Александровна, урожденная Чижевская, происходила из польских дворян, была утонченно

воспитанной, с художественными наклонностями: рисовала маслом, делала из батиста ландыши, розы, выжигала по дереву и из кусочков бересты, листьев, травинки, ракушек создавала мозаичные портреты замечательных людей. Но все это на досуге. Основная ее деятельность — преподавание танцев в женских гимназиях.

Пермь — это Предуралье. Омывает город Кама — многоводная река-красавица, рожденная из голубых горных струй. И с характером река: впадая в Волгу, сама определяет себе дальнейший путь — держится стрежня, не допуская, чтобы взбаламученная волжская вода замутила ее голубизну. Единоборство это длится многие километры.

В детстве я, кажется, не расставался с Камой. Научила она меня плавать и нырять, ходить на веслах и под парусом, тонуть, не утопая, быть стойким, не теряться и тогда, когда вдалеке от берега лодку застигал шквальный ветер. Уже не слушаясь руля, посудина крутилась на месте, или ее кидало на вдруг появившиеся волны — острые, как рваное железо. У нас, каких-нибудь двух-трех сопливых навигаторов, сердце замирало от страха, но, храбрясь друг перед другом, мы наперебой вскрикивали: «Эх, баско! Еще наддай, ветерок, еще!...» Иной раз отправлялись на веслах вверх по реке, к Мотовилихе. Там, бывало, инженеры и рабочие среди дня испытывали вновь изготовленные пушки. Стреляли боевыми через Каму. С реки виднелся деревянный щит-мишень на противоположном берегу. «Бум-м...» — глухо доносилось по воде с артиллерийского завода, а над головой уже клекот. Жутко под снарядом, глаза зажмуришь... Но радость самообладания превышает страх.

Как и другие ребята, морозной уральской зимой я катался с гор на лыжах; лыжи были у нас почему-то без палок да еще взнузданы веревочками, как вожжами. Летом крутил педали велосипеда на треке; участвовал в футбольных боях по дворам — за высокий рост и сильный удар меня неизменно ставили беком.

В те годы пришла из Европы мода на чешскую сокольскую гимнастику, и у нас в провинции впервые, кажется, поняли, что, помимо мальчишеской возни на воздухе, существует на свете и такое явление, как физическая культура. В реальном училище новым веянием в воспитании детей заинтересовался родительский комитет, сделали заказ в Прагу на костюмы и литературу. Надевали мы синие трикотажные брюки со штрипками, мягкие кожаные туф-



ли, белые блузы (прародительницы нынешних маек). Интересно было превращаться в «соколов».

Учитель пения, которому поручили руководить занятиями, выстраивал нас ровными рядами в актовом зале, а сам как бы раздваивался: то садился за рояль, то вскакивал и, заглядывая в заграничную книжечку, поправлял наши движения. «Сокольские» часы, помнится, нам, ребятам, понравились, быть может, прежде всего тем, что вытесняли однообразные, скучные уроки пения. Спортивных результатов движения в зале приносили мало — и мы, как только раздавался звонок, бежали на улицу, чтобы с удвоенным азартом ударить по футбольному мячу, схватить палки и поиграть в лапту или в городки, а то и просто оттузить друг друга.

Летом курсировал по Каме дачный пароходишко «Царевна». Весь белый, он имел щегольской вид, но сквозь густую покраску тут и там проступали ржавые пятна. По сути дела это была косметически омоложенная старуха. Владелец парохода набирал столько пассажиров, что «Царевна» плыла обычно полузатопленная — вода почти ровень с бортами. И, видать, только жаркими молитвами дачниц с детьми суденышко удерживалось на плаву. Пароходовладелец, несомненно, знал часы, когда стреляет Мотовилиха, но жадность стяжателя необорима. Нет чтобы переждать стрельбу — гонял «Царевну» и под снарядами. . . На пароходе переполох, мужчины вступают в резкие объяснения с капитаном, а тот, запершись в рубке, невозможно крутит свой штурвал; в руках пассажиров взвиваются детские простынки — ими машут, как белыми флагами, в сторону гремящего выстрелами завода; кто-нибудь дотягивается до пароходного свистка, и «Царевна» ревет белугой. А мы, мальчишки, среди общего бедлама с хохотом выплясываем на палубе охотничий танец индейцев-команчей. . . Лафа кататься на «Царевне»!

Пристань, а попросту — шаткий мосток на сваях. С парохода летит чалка, и «Царевна» заканчивает свой рейс. Пока пассажиры с дачным багажом спускаются по трапу, пароходик затихает, обессиленный. А приехавшие, ступив на берег, шумно радуются, что все страхи позади. Песчаный откос, сосновый бор — здесь дачный поселок Верхние Куры, облюбованный горожанами среднего достатка.

Ребятам на даче, конечно, раздолье. Ходили мы по грибы, по ягоды, прыгали, бегали, лазали, купались, жгли костры. Противоположный берег, где Мотовилиха, всегда задымленный заводскими трубами, не привлекал нашего

ребячьего внимания; разве чихнешь иногда от щекотки в носу: случалось, заводская гарь залетала и сюда, преодолевая ширь многоводной Камы.

Но однажды мы, ребяташки, стоя с удочками по колено в воде, то есть занятые делом, которое требует сосредоточенности, слышали из-за реки непривычные звуки. Это не были удары молота, ковавшего сталь для пушечных стволов,— эхо его тяжелых ударов всегда широко катилось по реке. Не похоже, соображаем, и на заводские гудки... Что бы это значило? Звуки легкие, воздушные.

Ребьячье зрение острое, и мы, рыбаки, забыв про клев, уставились на гору, что примыкает к заводу и расположена вдоль реки. На горе можно было заметить неказистые избенки рабочих. Оттуда и доносились эти звуки.

— Ребята...— вдруг смекнул кто-то из нас,— да ведь это стреляют... Прямо в людей!

И тут заговорили все разом, горячася и пугаясь увиденного:

— Гляди, гляди... На горе казаки!

— Верно! А против них — пешие... Кто это?

— А этот, ой, кубарем с горы...

— Казак? Так ему и надо! Не лезь куда не просят... Только коня жалко: убили, поди.

— Второй кубарем... Третий!...— азартно считали мы.— А тот — ух, покатился с конем... Совсем вниз, будто снежный ком. Докатиться бы ему до Камы — да в воду!

Казаки то бросались вперед (шашек и нагаек в их руках издалека не было видно), то пятились, тесня крупами лошадей друг друга. А пешие за ширию реки едва видны... Порой казалось, что казаки воюют с воздухом. И все равно было жутко глядеть... Наша ребьячья ватага была на стороне безоружных, слабых.

Но казаков все прибавлялось, выстрелы из ружей уже гремели залпами. А у меня от беспомощности слезы застилали глаза и под носом было мокро...

Случилось все это летом 1905 года. Но ничего определенного от страшного зрелища в моих мыслях не возникло. Отец, мать и другие взрослые, каких я мог видеть на даче, шарахались от моих вопросов.

— Забудь, что видел. Иди играть. Или почитай книжку — вот «Дон-Кихот» у тебя.

Начальником отца был штатский генерал Фотиев, назывался он: управляющий акцизными сборами губернии. Иногда отец водил меня в городской сад. Однажды вечером играла музыка. Любители послушать духовой оркестр сидели на скамьях перед открытой эстрадой в виде раковины. Внезапно отец стиснул мой локоть и шепнул: «Появилась дочь его превосходительства Лидочка Фотиева — вот она, садится с краю. Умная и симпатичная барышня. Идем-ка я тебя представлю». Отец шагнул вперед и потянул меня. Я замер от ужаса. «Не надо,— взмолился я,— не надо, отпусти!» Был я мучительно застенчивым подростком, а при общении с барышнями у меня вообще отнимался язык. Между тем отец, гордясь мною, своим первенцем, не упускал случая вывести меня «в свет». Я протестовал, упирался и, любя отца, за такие попытки люто его ненавидел.

Уперся я и сейчас. Не смел даже посмотреть на Фотиеву (не дай бог встретиться глазами!), лишь каким-то боковым зрением определил, что на барышне украшенная лентой соломенная шляпа, из-за широких полей которой не видно лица. Еще заметил зонтик, кружевные перчатки...

— Пойдем отсюда,— уговаривал я отца.— Мне здесь неинтересно. Пойдем же, ну пойдем!

Между тем отец снял свою фуражку с кокардой и раскланялся с молодым чиновником, сопровождавшим Фотиеву. Тот в ответ снял свою фуражку с кокардой.

— Не подумай, что это жених,— сказал отец вполголоса.— Всего только секретарь его превосходительства.

Я возмущился, мне стало стыдно от такого заглядывания в чужую жизнь. Да и само слово «жених» у нас, мальчишек, считалось постыдным, ругательным словом.

— А мне наплевать на всех женихов на свете! — сказал я запальчиво.— В Камере бы всех утопил, вот и все.

Но отец был глух к моим протестам — видимо, принимал их за каприз, которому не следует потакать. Дал мне подзатыльник, но тут я вырвался от него — знакомства не получилось. Зато на обратном пути он продолжал терзать меня своими рассуждениями. Я узнал, что дочь его начальника наотрез отказывается всем женихам; при этом отец высказал мнение, что, мол, в нашей глухой провинции для такой видной невесты и на самом деле не подобрать партию и что на месте родителей он стал бы вывозить ее в свет, в Петербург или в Москву...

Немного времени прошло после прогулки «на музыку» в городской сад. Как-то возвращается отец со службы и с

горечью говорит матери: «В семье господина Фотиева несчастье: Лидочка арестована. По слухам, схватили ее жандармы, и не дома, а в Мотовилихе, в компании с какими-то подозрительными смутьянами. Фотиев кинулся к губернатору — мол, это недоразумение, оскорбление для семьи, но освободить дочь не удалось. Что она затевала — и подумать страшно. . .»

Мать, слушая отца, вздрагивала от испуга. А я, подросток, из рассказа ничего не понял. «Смутьяны. . . Смута. . . Смутное время. . .» — вспоминалось из учебника. «О, это такой был кавардак на Руси. . . Больше чем на тройку с минусом и не ответишь. Но здесь не то, не то. . .»

И вдруг в памяти встает гора в Мотовилихе. . . Мурашки пробежали по телу. Жуть, как рубили шашками, как расстреливали рабочих! Раздумываю, раздумываю, чувствую — приходит догадка: «Не к каким-то смутьянам тайно пробралась Лидия Александровна, а к рабочим, чтобы их утешить в несчастье. Добрая фея — вот она кто!» И во мне уже горит ненависть к жандармам, казакам и к самому губернатору.

Шли годы, и облик этой ставшей мне симпатичной девушки все более терял реальные черты. Ведь я тогда, в городском саду, даже лица ее не увидел из-за модной шляпы.

Вспомнилась мне Лидия Александровна лишь в гражданскую войну. А пока я мальчишка. . . Усердно и с интересом учусь, взрослею. Влюблен в учителя словесности Евгения Никитича Строгина. Этот красивый, с темной бородкой молодой человек, в сюртуке, с ромбиком университетского значка на груди, входя в класс, своим дружеским взглядом заставляет меня трепетать от радостного ожидания. Раздавая проверенные домашние работы по литературе, Евгений Никитич обычно мою оставлял в стопке напоследок. «Не хочу, — говорит, — лишать себя удовольствия прочитать это сочинение вслух. . .» Тут он снова ласково взглядывает на меня, и я, смущенный, уткнув нос в парту, слышу не столько слова и фразы, преобразенные выразительным чтением, сколько гулкие, ошеломляющие удары своего сердца.

Окончил с весьма приличным аттестатом реальное училище, и родители отправили меня в Петербург продолжать образование.

Жизнь в Перми настолько отличалась от столичной,

что, приехав в Питер, я почувствовал себя очень несчастным. Огромный и шумный Николаевский вокзал — и никому до тебя дела нет. Едва я отважился выйти из-под его стеклянной крыши, как чуть не лишился чемодана. Спасибо, какая-то простая женщина, проходя мимо, отогнала мазурика. А меня обругала пентюхом.

Знаменская площадь — будто муравейник. Невиданное множество прохожих снуют туда и сюда. Прямо по мостовой катятся вагоны с людьми. Мчатся кареты с ливрейными лакеями на запятках (в Перми только архиерей имел карету). В уличной тесноте тычутся туда и сюда извозчицьи пролетки. Запряженные мохноногими битюгами, тахтят ломовые телеги с грузом, — крики, звонки, свистки, шум, гам. . .

Оторопелый, оглушенный, стоял я на каменном крыльце вокзала, сам не зная чего дожидаясь. Боялся сойти со ступеней на мостовую — покалечат.

Посреди площади, в гуще движения, я увидел бронзового всадника на бронзовом коне — и это больше всего поразило мое воображение. Сроду я не видел памятников. Есть в Перми два каменных столба с чугунными орлами, так это — ворота в Сибирь. Начало тысячеверстного тракта, по которому в цепях, меся пыль и грязь, в зной и в стужу партия за партией уходили арестанты.

Наконец я сообразил, что у меня есть адрес, где на первый случай можно остановиться. Подрядил извозчика, и мы поехали вокруг памятника. Теперь я увидел часового. При памятнике с важным видом стоял седобородый старик с ружьем. На нем шитый золотом мундир, высокая, как колокольня, медвежья шапка с позументом, георгиевские кресты во всю грудь. . . Видать, повоевал старик!

— Дворцовый гренадер, — объяснил извозчик, сразу угадав во мне провинциала. — А энтот, на коне, — Александр Третий, отцарствовал свое. . .

Про памятник, как я после узнал, ходила в Питере смешливая поговорка: «Стоит комод, на комод бегемот (очень метко назван громоздкий конь), на бегемоте идиот (и это, видимо, без ошибки), на идиоте шапка».

Среди абитуриентов было принято держать экзамены сразу в два института (не в тот, так в другой пройдешь по конкурсу). И это не возбранялось. Я задался целью поступить в Путейский, но пошел на экзамены сперва в Технологический. Физику сдавал Гезехусу. Это был худой и вы-

сокий, с жаркими глазами исследователя и облаком седых волос профессор. Поставив в моем экзаменационном листке пятерку, Гезехус спросил:

— Куда еще держите?

— Завтра пойду в Путейский, тоже на физику.

И вдруг слышу:

— Можете не затрудняться, зачту: считайте, что и там у вас по физике пять.

Лицо счастливец, вероятно, бывает очень глупым. Глянув на меня, профессор рассмеялся. Отпуская меня, встал:

— Не сомневаюсь, что будете студентом, коллега.

Это обращение поразило меня. Коллега профессора — неужели только потому, что поступаю в институт? Сконфуженный, я поспешил убраться прочь. Однако к приятным вещам привыкаешь быстро. Через какую-нибудь неделю, став студентом, я уже принимал это обращение как должное, и у самого свободно сходило с языка слово «коллега», — разумеется, в студенческой среде. Профессорам говорили: «Господин профессор».

Уместно сказать, почему я избрал Путейский институт. Среди родственников матери были инженеры — строители железных дорог, крепкие, всегда загорелые люди. Они забегали к нам в снаряжении путешественников и рассказывали об изысканиях, то есть поисках лучшего варианта постройки той или иной железной дороги. Прорубались они сквозь девственные леса, увязали в болотах, переплывали неведомые реки, забравшись на верблюдов, углублялись в пустыни, навстречу попадались им редко люди, зато часто медведи, волки, тигры; приходилось им выдерживать нападение гнуса — мошкеры-кровопийцы.

Наслушавшись и страшных и веселых рассказов из жизни инженеров-изыскателей, я ночами перечитывал «Робинзона Крузо», готовый подражаться в изыскательскую партию хотя бы Пятницей.

Словом, с малых лет я мнил себя путейцем. Матери было приятно, что, окончив институт, я попаду не к чужим людям, а в круг родственников. Отец высказывал одобрение по-своему: «У путейца обеспеченная жизнь. Будешь иметь верный кусок хлеба».

И вот я студент. Какая у новоиспеченного студента первая забота? Снять жилье. В прилегающих к институтам кварталах всякую осень в окнах домов будто мотыльки появляются, распластавшись на стеклах. Это пестрят объявления для студентов: «Сдается...», «Сдается...», «Сдается...» Квартирные хозяйки предлагают на время учебно-



го года то комнату, то угол, то с удобствами, то без... На чем остановиться? И сам ведь толком не представляешь, что тебе понадобится, чтобы спокойно жить и заниматься.

Нам, кучке провинциалов, вызвался помочь тоже первокурсник, но житель столицы. О, коллега оказался докой! Каким-то нюхом он быстро определял, в самом ли деле квартирант получит обещанное или это надувательство: хозяек-трещоток хватало...

Мало-помалу дока разместил всех. Мне досталась комната у пожилой женщины в чепце. Подвернув под себя ноги, она сидела на ветхом диване и, перебирая струны гитары, пела. Нас, вошедших, не пожелала заметить, пока не закончила куплета: «Василечки, василечки, голубые васильки, ах вы милые цветочки, ах вы цветики мои!» После этого словно проснулась:

— Что вам угодно, господа?

Дока молча, но выразительно показал на окно, где голубел билетик.

— Ах да,— рассмеялась хозяйка,— я и забыла...— Тут же встала с дивана, поправила чепец и отложила гитару.

Договариваться я предоставил доке. Когда дело дошло до расчетов за комнату и самовар, питерский коллега проявил себя преданным долгу товарищем: выторговывал рубль за рублем, и плата получилась сносной. В заключение он сказал строго:

— Гитара, надеюсь, по ночам отдыхает? Я буду навещать товарища. Условились?

— Условились,— покорно отозвалась женщина. И должен сказать, что, поселившись у гитаристки, я был доволен и жильем, и вниманием со стороны хозяйки.

На углу Забалканского проспекта и Сенной площади, во втором этаже торгового дома, помещалась наша путейская кооперативная лавочка. Если, случалось, открывали окно, сюда долетали ароматы духов, кремов и прочих парижских изделий. Внизу находился парфюмерный магазин известной французской фирмы «Брокар» с роскошным, в скульптурной отделке, входом. Но куда милее было подняться по черной лестнице в свой маленький кооператив.

Приезжий, попав в институт, избавлен был от необходимости рыскать по огромному незнакомому городу, чтобы обзавестись учебными пособиями. Изведешься, да еще где переплатишь, где купишь не то, что надо. А придешь в студенческую лавочку — и голову ломать не надо: все, что тебе, начинающему студенту, может потребоваться, разло-

жено на прилавке, и цены сходные, ниже, чем в Гостином дворе или еще где-нибудь в больших магазинах.

Помню, с каким восхищением я раскрыл готовальню Рихтера. На бархате сверкнули инструменты: рейсфедер, циркуль, кронциркуль — каждый в своем гнездышке. Это не подделки провинциальных мастеров — все настоящее!

Портфель не взял, куплен в Перми. Но попросил студента за прилавком завернуть набор треугольников, рейсшину, чертежные лекала... Коллега сам добавил то, что я не догадался назвать: тушь, акварельные краски и кисточки, резинки «пуроль» и «радоль», перья «рондо» для подписывания чертежей, наконец значок на фуражку — топор, переkreщенный с якорем, — который я тут же и нацепил.

Многое для меня, только что расставшегося со строгими порядками среднего учебного заведения, было в диковинку. К примеру, знал я ироническое выражение «вечный студент» — здесь узрел «вечных» в натуре. Были это по преимуществу бородатые дяди, и смешно было видеть их в студенческих, в сущности мальчишеских, тужурках. Кое-кто из них, оказывается, даже был женат... Степенно раздевшись у гардеробщика, «вечный» шагал мимо аудиторий, где шли занятия, и заворачивал в уголок к шахматным столикам. Бои в этом прокуренном уголке длились иной раз по несколько часов... Когда одолевали «вечные» курсы института — известно было им одним.

На лекции — вдруг узнаю — ходить не обязательно: совсем сногшибательная новость! Однако студенты учатся и преуспевают, посещая лекции по выбору. Важно хорошо подготовиться к зачетам и к экзаменам. Дневников, конечно, нет, вызовов родителей для объяснений не происходит...

Не сразу привык я к отсутствию надзирателя в коридоре. Оглянешься — нет, никто тебе в спину не смотрит. Неприятны были в Перми эти легавые... Словом, к тебе относятся как к взрослому. И это доверие поднимает тебя в собственных глазах — и чувствуешь, и ведешь себя по-взрослому.

Важно было пройти курс высшей математики — основы всех инженерных наук, и аудитория у профессора Гюнтера бывала переполненной. Некрупный, подвижной, в очках и с бородой, Гюнтер был неистовым жрецом, видимо, единственного своего бога — математики. С первых же слов он овладевал аудиторией: все мы слушали его, не смея пере-

дохнуть, едва успевая делать заметки в тетради. Часы лекции пролетали мгновенно, и, когда раздавался звонок, Гюнтер сникал — с растрепанными волосами, в перепачканном мелом сюртуке, с галстуком в виде бабочки, забившемся куда-то под воротник. . . Все расходились, а профессор ждал служителя. И тот являлся — степенный, с платяной щеткой и перовкой в руках. Лицо профессора становилось виноватым — он бормотал что-то вроде извинений. Но это не смягчало суровости вошедшего. Служитель, крупный мужчина, некоторое время совестил Гюнтера, разводя руками, после чего принимался поворачивать профессора, как мальчика, перед собой, беспощадно выколачивая из него тучи белой пыли.

Лишь после этого профессор, вскинув голову, с достоинством покидал аудиторию.

Совсем иначе выглядел генерал Сергиевский — профессор, читавший геодезию, науку, тоже весьма существенную для путейца. Это был высокий, статный генерал с изысканными манерами человека «из общества». Знал предмет фундаментально, на лекциях его, поглядывая в топографические карты, мы узнавали новое, неожиданно важное для путейца в, казалось бы, давно известном облике нашей земли. Генерал, в отличие от других профессоров института, говорил студенту не «коллега», а «господин» с прибавлением фамилии.

Многие из профессоров сами когда-то кончали Путейский институт, и их лекции по специальным дисциплинам (мосты, портовые сооружения, земляные работы и т. д.) наряду с теорией предмета вооружали студента ценными практическими сведениями.

Став студентом, я узнал, что в среде с виду разрозненного студенчества таятся силы, которые время от времени прорываются наружу, вызывая беспокойство и тревогу у властей. С восторгом я присоединился к этим силам, когда вскрылся позорный для честного студента случай: сын крупного вельможи с придворным званием, путеец-лоботряс, кончая институт, вышел на защиту не собственного дипломного проекта, а изготовленного ему на стороне. Был разоблачен. Мошенничество подняло на ноги весь институт, и студенты в своем протесте оказались не одинокими: нас поддерживали многие профессора.

Скандал получил огласку в печати, и, как ни крутился вельможный папаша, стремясь вырвать для сынка инженерный диплом, не помогли и придворные связи: прохвоста выставили из института.

---

Питер ошеломляюще красив. Гении поэзии черпали в нем вдохновение, и созданный ими в стихах и в прозе образ великого города помогает новичку не только глазами, а как бы и всем существом своим постигать и величавость колоннады Казанского собора, и мощный дух реформатора России, воплощенного в Медном всаднике, и былинный шлем Исаакия, и набережные с дворцами, и быт Невского проспекта, с доброй улыбкой схваченный Гоголем... После каждой прогулки или поездки по городу я чувствовал потребность вновь и вновь возвращаться на его улицы и площади.

Удалось мне послушать Шаляпина в «Борисе Годунове», и, конечно, я не пожалел, что это стоило мне бессонной ночи в студенческой очереди за билетами. Посчастливилось побывать в Александринке на представлении «Свадьбы Кречинского» с участием Давыдова. Созданный им Расплюев был трогателен и жалок, смешон и отвратителен. Давыдов покори́л зал. Я и не представлял себе, что существуют артисты, которые силой своего таланта способны заставить плакать, смеяться, неистово бить в ладоши чопорную столичную публику. Ни один из ярусов, ни партер, ни ложи не оставались равнодушными. Иные зрители даже выбегали в слезах из зала. Я сидел стиснув зубы, крепился, чтобы, избави бог, не потерять самообладания. Хотелось досмотреть прекрасный спектакль.

Перешел я на третий курс, и тут пришлось расстаться с институтом. В войне с Германией нас постигали все большие неудачи. И в начале 1916 года для пополнения огромной убыли в офицерском составе царское правительство отважилось мобилизовать студентов. Выгода для Генерального штаба была очевидной: студент — человек уже с образованием. Краткий курс специальной подготовки — и готов офицер.

К казарме я всегда относился с затаенным страхом и неприязнью — это у нас семейное. Еще в школьные годы потряс меня рассказ Льва Толстого «После бала», и память тревожили манекены в мундирах, барабанная дробь, шпицрутены, разбивающие в кровь спины солдат...

Но от судьбы не уйдешь. Направили меня в военное Николаевское инженерное училище, что на Садовой улице, в Михайловском замке.

Михайловский замок (он же Инженерный) был построен, как известно, по распоряжению Павла Первого. Опаса-

ясь за свою жизнь, самодержец, не посчитавшись даже с тем, что замок в центре города, велел вырыть вокруг здания глубокий и широкий ров; ров заполнили водой из Фонтанки (следы шлюза сохранились и поныне). Однако ни ров, ни бдительные караулы не спасли Павла от насильственной смерти. . .

Теперь в замке мы, будущие инженерные офицеры. Наголо остриженные, сходили в баню, вернулись оттуда в скромной форме военного времени, разместились для нового жительства.

В тот же день повели нас в церковь на молебствие по случаю начала нашего учения. Поднялись туда по скрипучим деревянным ступеням внутренней лестницы. Началось богослужение. Но, даже крестясь, трудно было отрешиться от мысли, что здесь, в замке, находилась царская опочивальня, в которой царедворцы задушили своего повелителя императора Павла. Поп кадит ладаном, а в носу будто запах тлена. . .

Не забыть первой ночи в училище. . . Просыпаюсь и боюсь открыть глаза, ошеломленный грохотом обвала. Стены, своды замка рушатся — и все на меня. . . Вот-вот падающие сверху глыбы разmozжат мне голову — и в смертной тоске (такого ужаса я еще не испытывал) жду конца. . .

Постепенно до сознания доходит, что это всего лишь побудка. Рядом с нашей камерой-спальней за дверью чуть свет ударили в барабан. . . Армейский барабан в жилом помещении — это чудовищно! Мы, новички, растерялись, не зная, за что хвататься. Перед отбоем портупей-юнкеры показали, как складывать одежду на табурете. Каждая вещь — гимнастерка, брюки, поясной ремень, носки — должна занять строго определенное место в общей аккуратной стопке: иначе при боевой тревоге промешкаешься. Если юнкер приучен к порядку, ему незачем ночью шарить по табурету: нужные части одежды сами будто вскакивают в руки.

Так нас учили. Но эта ошеломляющая побудка. . .

— Юнкер! — услышал я грозно-насмешливое. Это был голос дежурного офицера, включившего в камере свет. — Куда головой лезете? Это же штаны!

Выпрастываю голову, кидаюсь за гимнастеркой, а на табурете все изрыто: это я в кошмаре разорил укладку.

— В следующий раз, — говорит офицер, — получите взыскание.

И опять в тоске сжимается сердце. Куда я попал? Зачем я здесь? . . О, какое счастье утратил, порвав со студенчеством! Как завидую людям, вольным жить так, как им нравится. Вот они, всего только за окном — на улице, в вагонах трамвая, на извозчиках — и в то же время как бесконечно далеки от меня. . . Я замурован в каменных стенах, отдан во власть барабана. . . От беспомощности я в отчаянии.

Однако проходит несколько дней — и я уже другой. Под грохот барабана наловчился сладко подремывать.

Старшие научили: при появлении в камере дежурного офицера следует вскочить, но не нагишом, а в штанах: тогда считалось, что юнкер исправный, уже одевается. И никакой в этом премудрости — только уловка: уважающий себя юнкер, едва ударит барабан, не поднимаясь, сонно протягивает руку к табурету, всовывает голые ноги в штаны и продолжает лежать. После побудки приятно даже вздремнуть: запретный сон на диво сладок. А когда проследует дежурный офицер — можно спокойно и полностью одеться.

Очень хотелось познакомиться и с замком, и с училищем. И, отвечая пожеланиям новичков, нас привели в Гергиевский зал.

Расселись. С интересом осматриваемся. Над головой массивная бронзовая люстра, рассчитанная на многие сотни свечей. Но сейчас в подсвечниках фарфоровые стаканчики с электрическими лампочками. Изобилие хрустальных подвесок создает впечатление проливного дождя, хлынувшего на этот старинный, быть может даже времен Павла Первого, светильник. Поразили меня красотой лепные карнизы. Прислушиваюсь к суждениям юнкеров-петербуржцев: побеждает мнение, что карнизы выполнены по рисунку самого великого Баженова. . .

Стиль прекрасного зала нарушала громоздкая золоченая рама с портретом Николая Второго во весь его неказистый рост.

На одной из стен скромные мраморные доски. И надо было появиться старичку библиотекарю, чтобы наше внимание сосредоточилось именно на этих памятных знаках. Старичок заговорил об истории Инженерного училища, и поняли мы, что не знать ее и не гордиться своими предшественниками современный саперный офицер не вправе. Больше того, как сказал библиотекарь, знания эти необходимы каждому из нас для духовного развития.



Первые доски сверху, сразу под карнизом. Там мрамор, побуревший от времени, черные надписи не все различимы. Но чем ниже, тем свежее доски — здесь памятные сведения о героях прошлого врублены и позолочены.

Однако нет доски, которую следовало бы раньше всего воздвигнуть на стене. И на особо почетном месте. Ведь фактически одним из первых воспитанников Инженерного училища — тогда, правда, еще школы — был Михаил Илларионович Кутузов. Об этом нам и поведал, начав рассказ, старичок библиотекарь.

Юнкера озадачены. «Но почему же нет памятной доски? Почему?» — пронесся по залу гул голосов.

Библиотекарь понимал, что ответить придется, но что-то мешало ему выговорить нужные слова. Это видно было по блуждающей на лице улыбке. Он вытянул сзади из сюртука клетчатый стариковский платок и принялся вытирать лысину. Его молчание только обостряло любопытство юнкеров. Наконец библиотекарь намеками дал понять, что ходатайство училища о такой доске застряло где-то «наверху», но тут же испугался своей откровенности перед мальчишками и, приложив палец к губам, попросил забыть то, что он обронил.

— Слово чести! — дружно ответили мы, благодарные старику за его доверие.

Библиотекарь продолжал рассказ о Кутузове, и мы узнали, что Кутузов-отец был деятельным сподвижником Петра Первого. Сам инженер, он развивал уже в тогдашней армии инженерные знания и для примера другим приближенным царя привел сына, двенадцатилетнего Мишу, в Инженерно-артиллерийскую школу — прабабку нашего Николаевского училища. Мальчик быстро выделился из среды сверстников трудолюбием и сообразительностью. Проявил склонность к математике.

Несмотря на суровые нравы того времени, когда в учебных заведениях, тем более военных, порой растаптывали ростки талантов, даровитый мальчик был замечен и полюбился начальству. В архиве бывшей школы наш библиотекарь обнаружил приказ от 10 декабря 1759 года. «Оный Кутузов, — гласил приказ, — за его особую прилежность и в математике знание, а паче что принадлежать до инженера имеет склонность, в поощрение протчим сего числа произведен в инженерный корпус первого класса кондуктором». Чтобы представить сейчас, что это такое, надо обратить внимание и на завершающий параграф приказа. Мальчик на пятнадцатом году был объявлен преподавателем

лем математики в школе, где еще состоял учеником! Больше года Михаил Кутузов преподавал, и тут пробудились в нем основные черты личности будущего полководца. В 1761 году, произведенный в прапорщики, шестнадцатилетний Михаил Кутузов получил назначение в Астраханский пехотный полк, где стал ротным командиром. А возглавлял полк Александр Васильевич Суворов. Так сошлись на служебной тропе два военных гения русского народа.

В поколениях юнкеров жили легенды о замечательном воспитаннике училища — Михаиле Кутузове, его увлеченности науками, необыкновенной скромности и вместе с тем деловитости.

— А добрый этот пример,— заключил библиотекарь,— перешел в традицию нынешнего училища. Держитесь этой традиции, господа: без знаний и трудолюбия нет сапера!

Затем старичок повернулся к стене и пригласил нас, следуя его объяснениям, вглядываться в каждую мраморную доску.

Последующие поколения воспитанников училища, как бы приняв от мальчика Кутузова эстафету, вкладывали свою долю труда в развитие инженерных знаний, и эстафета следовала дальше и дальше — из восемнадцатого века в девятнадцатый — и пришла к нам, в двадцатый... Знающих и мыслящих саперных офицеров давало училище русской армии. А имевшие склонность к наукам здесь же, в академии, что тоже под крышей Инженерного замка, становились военными инженерами и учеными.

Изобретения питомцев училища пополняли арсенал военных средств сапера и нередко заимствовались иностранными армиями.

— К примеру,— сказал библиотекарь,— понтон подполковника Андрея Немого. Видите мраморную доску?.. Выше, выше смотрите.

— Уже видим, господин библиотекарь... тысяча семьсот восьмидесятый год.

— Да,— и старик вздохнул,— это год, когда изобретенный понтон удостоился наконец внимания чиновников.

— Понтон,— объяснил он нам,— это особой конструкции лодка. При необходимости быстро переправить крупные силы войск через реку эти лодки служат опорами для наплавного моста. В разные времена понтоны бывали разными, но в восемнадцатом веке вкусы устоялись: армии всех стран обзавелись понтонами в виде продолговатых

медных ящиков. Люди, как известно, цепко держатся за привычное: медный понтон и тяжел, и громоздок, и очень дорог, но целые поколения понтонеров иного и не видели. «Значит,— подсказывала инертная мысль,— лучше и не бывает».

Но у русского офицера родилась идея, которая не давала ему покоя, сверлила мозг, требовала действий. Он затеял медные уродины перелить на пушки, а понтоны шить из парусины. Ткань эта — непромокаемая, прочная — была в любом портовом городе, в том числе и в Петербурге: шла на паруса для кораблей.

Я не в силах воспроизвести мытарства изобретателя. Едва ли не за каждым канцелярским порогом Немой наталкивался на косность, равнодушие, насмешки, даже угрозы. Случалось, за свои домогательства изобретатель-патриот подвергался и побоям: грубые, жестокие были в его пору нравы... И все-таки Немой — молодец! — уже энергично объявил старик, — сломал все преграды и добился своего! Говорю это вам, будущие саперы, в поучение...

Порадовались и мы победе Немого. В 1780 году парусный понтон на распорках был принят на вооружение русской армии. Новинка сразу полюбилась солдатам: вынь распорки — и стащишь понтон на спине, а за медный приходилось браться вчетвером. Парусиновые опоры лучше держат верхнее строение моста — конструктор придал понтону большую подъемную силу. Полегчало понтонерам и в походах: не медь возить — на телеге бывало тесно и одному понтону, а теперь умещались два и три.

Русская новинка стала известна в Европе, после чего и иностранные армии одна за другой освобождались от своих медных корыт...

Все это было очень интересно. Но старик заметно начал уставать. Он все время на ногах — прислонится будто невзначай к колонне, передохнет шумно — и опять мерно шагает перед нами, сидящими.

Но когда кто-то из нас предложил библиотекарю стул, по лицу его пробежала болезненная гримаса: старик, видно, не желал показаться немощным. Не сказав ни слова в ответ, он браво расправил плечи и даже заговорил громче, чем прежде.

— А теперь, господа, перенесемся мысленно в Севастополь. Там высится памятник, а перед нами — мраморная доска. Читаем: «Эдуард Иванович Тотлебен (1818—1884)». Это севастопольский герой.

При содействии адмиралов Корнилова и Нахимова,

прославленных руководителей обороны Севастополя в 1854—1855 годах, Тотлебен всего за два месяца превратил город в крепость. Севастополь выстоял против осаждавших его англо-французских войск 349 дней. Этому немало способствовали фортификационные сооружения, выполненные талантливым военным инженером.

В Севастополе Тотлебен стал инженер-генералом, был ранен и, когда представилась возможность, поехал лечиться за границу. Оказался в Бельгии и тотчас был приглашен к королю. «Наш главный порт Антверпен беззащитен, если случится война», — сказал король и, льстиво отозвавшись о тотлебенской фортификации в Севастополе, пригласил его возвести необходимые укрепления в Антверпене. Тотлебен уклонился от такой чести, сославшись на недомогание, и занялся лечением. Между тем с ним искал встречи молодой бельгиец Бриальмон, военный инженер. Показал разработанный им проект защиты Антверпена. Тотлебен удивился: «Так что же еще надо его величеству?» Оказывается, королевский двор и министры не желали признавать своего доморощенного инженера. Искали иностранных. Но дал рекомендацию Тотлебен — и Бриальмон был допущен к укреплению порта. Бельгиец справился с задачей, а после этого как военный инженер сделал карьеру и в Европе.

Шли годы... Шестидесятилетний Эдуард Иванович подумывал уже о том, чтобы уйти на покой. Но в 1877 году разразилась на Балканах война против турецкого владычества над малыми народами. Восстали болгары, и из России на помощь им потянулись добровольцы. Вступили в войну и русские войска. Пошли на штурм Плевны, главной турецкой крепости. И потерпели неудачу. Штурмы следовали один за другим, русские несли небывалые потери — но безрезультатно.

В Петербурге, в Генеральном штабе, растерялись... Надо менять тактику действия войск. Но в чем именно и как? Решения не находили. Тут кто-то вспомнил старика Тотлебена. Из прославленных руководителей Севастопольской обороны только он еще в живых. И человек изобретательный.

Призвали Тотлебена, и Эдуард Иванович, собравшись с силами, поспешил в действующую армию. Прибыв на место и изучив обстановку, маститый инженер заявил, что единственное оружие для взятия неприступной крепости — саперная лопата. Генералы, провалившие операцию, но чванливо-самоуверенные, приняли это за шутку. Однако

посланцу Генштаба не откажешь. Отрядили в распоряжение Тотлебена солдат, из тыла были доставлены лопаты и кирки. Инженер на расстоянии, недоступном для пушечного выстрела, поставил людей копать землю вокруг турецкой крепости. Воздвигли сплошной вал. За валом укрылся осадный русский гарнизон, и в крепость уже не могли проникнуть ни фуры с боеприпасами и продовольствием, ни пополнения людьми. У турок начался голод, осажденных валили болезни. Вылазки врага с целью прорвать кольцо осады дружно отбивались русскими солдатами... В конце концов комендант казавшейся неприступной крепости Осман-паша сложил оружие.

Однако победа под Плевной еще не принесла освобождения болгарскому народу от турецкого ига. Операции русских войск, совместно с добровольцами из болгар, продолжались. Выдающаяся роль в успешном завершении войны принадлежала русскому генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. (Появляясь в боях в белом мундире на белой лошади, он получил среди солдат прозвище: «Наш белый генерал»...)

Какие события, какие люди!.. С первых же слов лекции я догадался раскрыть блокнот и строчил, строчил в нем, чтобы записки эти всегда были со мной в моей военной жизни...

— Дай списать!.. Дай списать! — подступали ко мне после ребята, и я пускал блокнот по рукам, беря с каждого слово, что его не истребляют.

Между тем юнкера все же усадили на стул полюбившегося нам старика библиотекаря. Отдыхая, тот посоветовал каждому из нас посмотреть картину художника Верещагина «Шипка — Шейново. Скобелев под Шипкой».

Василий Васильевич Верещагин, неотступно находившийся при действующей армии, изобразил ликующих после победы солдат. Только что пали мощные укрепления турок на горном перевале Шипка. Здесь сложил оружие военачальник султана Сулейман-паша.

На картине вдалеке, поздравляя солдат-победителей, молнией пролетает на коне Скобелев... Но батальные картины Верещагина правдивы: на переднем плане жертвы войны — множество убитых русских солдат.

Верещагин, как известно, погиб в русско-японскую войну в Порт-Артуре, на броненосце «Петропавловск». Это был флагманский корабль адмирала Степана Осиповича Макарова, который командовал в войне русским флотом.

Неожиданно броненосец подорвался на японской мине — и не стало ни Макарова, ни Верещагина...

— Однако вернемся в наши дни,— встрепенулся библиотekarь и, встав со стула, указал еще на одну мраморную доску с золотыми буквами.— В фортификацию всех стран мира,— продолжал он,— вошло понятие «русский форт». Появилось оно в конце прошлого столетия, и с тех пор грамотный военный инженер любого государства, сядя за проект новой крепости, прежде всего обозначает на ватмане это сооружение, подобно тому как на шахматной доске ставится фигура короля. Разработал это новое прочное звено в системе крепостных укреплений воспитанник училища и академии военный инженер Константин Иванович Величко, ныне здравствующий.

Конечно, в 1916 году, когда в стенах училища происходила эта беседа, нельзя было предвидеть дальнейшей деятельности К. И. Величко. Уместно сказать, что выдающийся фортификатор приветствовал Октябрьскую революцию, вступил в Красную Армию, где, работая под руководством Михаила Васильевича Фрунзе, содействовал инженерными средствами нашим успехам в гражданской войне.

Вот один из документов того времени (Приказ РВСР от 8 февраля 1922 года):

«...Имя профессора Величко останется в истории наряду с самыми крупными именами в области фортификации. Революционный Военный Совет Республики, отмечая заслуги профессора К. И. Величко перед Рабоче-Крестьянской Красной Армией, в день его 50-летия непрерывной службы от имени РККА объявляет ему благодарность».

На мраморных досках мы не находим имен целой плеяды деятелей русской культуры, вышедших из юнкеров училища, и библиотekarь называет их. Это гениальный Федор Михайлович Достоевский; это один из крупнейших мировых ученых, «отец русской физиологии» Иван Михайлович Сеченов; это писатель Дмитрий Васильевич Григорович с его «Антоном-Горемыкой», «Деревней» и потрясающим чувства детей «Гуттаперчевым мальчиком»; это и Павел Николаевич Яблочков, который во второй половине минувшего столетия своей «свечой» открыл в России дорогу электрическому освещению...

Полный впечатлений от истории училища, я услышал в заключение комментариев библиотekarя:



— По-видимому, эти замечательные люди не проявили особого рвения к военным наукам; возможно, тяготил их и режим училища. Григорович даже не окончил курса, покинул училище: предпочел получить образование не в казарме.

В царской России почти в каждом военном училище складывался свой особенный быт, порою уродливый. Даже в начале нынешнего века не вымерло еще цуканье (видимо, от немецкого слова «zucken» — вздрагивать) — отвратительное право, которое присваивали себе воспитанники старших классов в общении с новичками. «Ты мой раб!» — первое, что, переступая порог училища, слышал в этом случае новичок. А ему бы со стороны старшего товарища дружеское, ободряющее слово — не тупел бы бедняга от страха.

Новичка обязывали чистить своему «господину» сапоги и одежду, застилать кровать, в бане мыть ему ноги. Если «господин» не в духе, кривляясь перед ним, изображая шута, пока тот наконец не улыбнется благосклонно и не процедит: «Пшел вон!» А офицеры-воспитатели? Одни умилялись цуканью, вспоминая собственную юность в такой же мерзкой обстановке; другие холодно оберегали «святость» традиций: этакий воспитатель, бывало, и глазом не моргнет даже тогда, когда новичка с тяжелым увечьем за сопротивление «господину» стащат в лазарет. А в докладе начальнику училища ведь недолго сказать: «Несчастный случай по собственной неосторожности».

Характерно, что цуканье особенно стойко держалось в учебных заведениях привилегированных — там, где обучались сынки родовитых дворян, аристократов; казалось бы, жизнь улыбается этим юношам — и богаты, и знатны, всеобщие баловни. Ан нет — именно в кастовой среде этой находили почву и зависть, и лицемерие, и подлость, и черное человеконенавистничество.

Николаевское инженерное училище считалось одним из наиболее демократичных среди военно-учебных заведений своего времени. Но даже в 1916 году, когда замок заполнился студентами, здесь встречались и лица «голубой крови». Когда мы, юнкера второй роты, построившись, шли на завтрак, обед или ужин, приходилось, чтобы попасть в столовую, промаршировать через камеру первой роты. И невольно каждый косился на диковинку: в нише-алькове, отдельно от общего ряда кроватей, стояла под покрывалом ни разу на нашей памяти не разобранный постель. Покрывало скромное, как у всех. И табличка над кро-

вацию — кусок крашеной жести со сведениями о юнкере — внешне ничем не выделялась. На ней надпись: «Его высочество юнкер...» И дальше, не помню уже, то ли «Петр Владимирович», то ли «Игорь Петрович», — словом, член императорской фамилии.

Мы недоумевали: «А где же он сам, этот Петрович или Владимирович? Почему не бывает на занятиях? Хоть бы дрыхнувшим на постели увидеть!..»

— Вообще это свинство, — заключили юнкера. — У нас от усталости ноги отваливаются; от обилия учебного материала недосыпаешь, прячась с книгами и тетрадками от дежурного офицера в уборной. А этот отрок, не учась, наденет погоны саперного офицера... Да он же киркомотыгу от лопаты и лома не отличит... Тьфу!

Впрочем, если не брать в расчет этого невидимку царской крови, состав юнкеров училища в 1916 году был демократичен. Несколько именитых дворян — например, два барона — старались ничем не выделяться из общей среды, наоборот, как бы даже стеснялись своего знатного происхождения. Мы знали, что эти люди по окончании училища выйдут в лейб-гвардии саперный батальон, только и разницы. Они беспрекословно подчинялись портупей-юнкерам (что соответствовало унтер-офицерам в воинских частях), а этого звания удостаивались наиболее способные из юнкеров, деловые парни, независимо от происхождения.

Став питерским студентом, я совсем забыл о своих бицепсах, трицепсах и мышцах брюшного пресса, укреплении которых интересовался в Перми. Лишь изредка раскрывал книжечку Мюллера с Аполлоном Бельведерским на обложке «Десять минут для здоровья», делал приседания, махал туда-сюда руками и ногами, пока не перехватывало дыхание.

Неудивительно, что, оказавшись в училище, я побаивался гимнастики, и в особенности строевых занятий. Стремился хотя бы мысленно воспротивиться неизбежному: «Ать-два, левой, левой...» Ну к чему это солдафонство? Мы же студенты, неужели мало — обратиться к нашему разуму? Стыдно даже представить себя отбивающим шаг болванчиком!

Но гремит барабан — и вышибает из головы всякие рассуждения.

Словом, началась муштра... Собрал нас, новичков, офицер в одном из залов и отдал на милость и расправу старшекурсникам,

Один из них отделился от группы, вышел на середину зала. Пояс на нем был так затянут, что юнкер походил на осу. Сам белобрысый, какой-то невидный, но его даже товарищи слушались. На погонах я разглядел белые лычки: портупей-юнкер.

— Ста-а-но-ви-ись! . . Р-р-р-рав-няйсь!

«Ну чего раскричался? — с раздражением подумал я. — Не глухие». Поколебался, но, хотя и с опозданием, стал на указанное место. Белобрысый шагнул ко мне и скривил губы. Но замечания не сделал, отступился. Потом, пройдясь по залу, заговорил:

— Рябцы! Вы еще в возрасте младенческом, и на каждом заметно происхождение от обезьяны. . .

В шеренге новичков оживление.

— Ах, не верите? — Портупей-юнкер сделал большие глаза и повернулся к своим. Те поглядели на нас с презрительным сочувствием.

— Они не верят. . . — воскликнул портупей-юнкер и покачал головой. — О, темнота! — И вновь, на этот раз гневно сдвинув брови, он посмотрел на меня. Я понял, что буду казнен.

— Слушайте же, рябцы, — продолжал портупей-юнкер вступительное слово, — Чарлз Роберт Дарвин установил следующее. В эволюции человека от обезьяны случился изъян. Человек во всем превзошел мохнатого и хвостатого прародителя, с этим не поспоришь. Во всем, кроме двигательного аппарата. В особенности с изъянцем у некоторых особей остались конечности, прежде всего нижние, сиречь ноги. . . Один при ходьбе выворачивает наружу пятки — походка, типичная для шимпанзе. Другой из-за обезьяньих рудиментов в позвоночнике горбится или клонится набок — это недоработка природы в эволюции от горицеллы. У третьего в фигуре очевидное родство с павианом. . .

Портупей-юнкер говорил с серьезным видом, уместно вставлял слова из научного лексикона. Дарвина я, например, не читал, но странное дело: чувствуешь, что парень привирает, а совсем не верить ему не решаешься. . .

— За примерами незавершенной эволюции ходить недалеко. . .

Тут портупей-юнкер, пройдясь взглядом по лицам притихших новичков, вдруг так и выпалил в меня:

— Вот вы. . . Фамилия?

— Гри. . . Гри. . . — Язык вдруг перестал слушаться, и я не договорил. С досады я покраснел до слез.

— Рябец Гри-Гри, — скомандовал портупей-юнкер и по-

казал на елочку паркета.— Даю вам направление. Строго держаться азинмута... Ша-агом марш!

Я начал с правой ноги, чем вызвал замечание. Смешался и, постыдно утратив над собой власть, завихлял по паркету, не попадая на елочку.

Старшекурсники засмеялись. А мучитель мой стоял приосанившись и, заткнув большой палец левой руки за тугой, как тетива, пояс, ласково поглядывал на меня. Но это была зловещая ласка. Так повар, лаская куренка, вонзает ему нож в горло.

Я весь горел. «Кособокий я — не верю! Ноги обезьяньи — врете!» — кричала моя душа.

Страстно захотелось пройти все же по елочке паркета.

А портупей-юнкер:

— Отставить!

Я заупрямился:

— Не желаю быть посмешищем!

— Рябец! — На этот раз в голосе портупея сочувствие.— Это данные науки. У вас явления племенного атавизма, и они неопровержимы... Возвращайтесь на место.

«Здорово отцукал он меня,— подумал я с обидой, становясь в шеренгу.— Но сам виноват — поддался нахалу!»

Между тем началось неожиданное представление. Старшие юнкера построились и, выполняя команды портупей-юнкера, принялись выделять удивительные по четкости и красоте перестроения. Я вспомнил «сокольские часы» в реалке — у нас, тогдашних ребят, зрела потребность изгибаться телом, ходить и прыгать легко и красиво, а кончилось все тем, что учитель пения захлопнул однажды крышку рояля, вернул нас в класс, и под камертон возобновилось заунывное пение малопонятных и чуждых нам псалмов Давида.

Юнкера показывали примеры шагистики. Казалось бы, что может быть проще: встать, повернуться, пройти — ведь это же самой природой дано человеку. Э, нет, вижу — шаг шагу рознь! Вот подана команда — и два десятка юнкеров, вытянув носок, вскинули левую ногу, чтобы начать движение. Но где они — двадцать ног? В воздухе словно одна на всех, общая: так геометрически точно выполнен угол подъема... Чтобы с места взять крупный шаг, два десятка парней наклонились вперед — а по силуэту будто один-единственный юнкер выполняет команду.

Поворот кругом — и опять перед нами, зрителями, словно не отдельные и различные парни: худые и полненькие, рослые и поменьше, курносые, узколикие, щекастые, — но

механические фигурки, на мгновение общим ключом заведенные. . .

Загляденье — до чего все это неожиданно, необычно! Я почувствовал, что уже трудно оставаться зрителем, — зашекотало под коленками, как бывало в мальчишестве, когда на меня, бека, летел мяч и требовал пушечного удара. . . Некоторые новички, видать, от такой же щекотки сунулись вперед. Но последовал окрик:

— Отставить! Рябцам стоять на месте. . . Только смотреть!

Так прошел первый урок строевой подготовки.

Однако в чем его смысл? И рассудил я так: в училище знают, что студенты, которых вынуждают стать военными, резко настроены против солдатчины. Эти настроения, конечно, могли бы вытравить из нас силой — есть для этого дисциплинарный устав, есть карцер. Но в Николаевском инженерном нашлись умные люди, которые посчитались с народной мудростью: «Насильно мил не будешь». И решили не ломать новичкам костей, а завлечь их на строевые занятия красивым соблазном. . .

С добрым чувством вспоминаю я начальника училища. Генерал Федор Иванович Зубарев слыл умным педагогом. Рассказывали, что с училищем связана вся его жизнь. Сперва был юнкером, потом офицером-воспитателем, затем командиром роты, командиром батальона и наконец возглавил и училище, и академию.

И, конечно — хотелось думать, — это он, Федор Иванович Зубарев, научил юнкеров, наших строевых наставников, тому, как подойти к студентам: не делая поблажек, требовать что надо, только с умом. Заинтересовывать, а не пугать. Соблазнять красивой осанкой и ловкостью движения, внушая, что достигается это лишь строевым воспитанием.

Старшекурсники продолжали вести занятия. Заключались они в выколачивании из нас, людей штатских, привычек ходьбы, непригодных для вступления в строй, и, наоборот, во вколачивании в ноги каждого, в душу, в сознание уставной правильности шага, стойки, поворота. Разбили нас на мелкие группы. «Отставить! Отставить! Отставить! . . .» — гремело во всех уголках зала. «Ну и бестолков ты, — ругал я себя, — ноги дрыгают самопроизвольно. . . Да возьми ты их в руки!» И я топал, грохая тяжелыми казенными сапогами, топал до остервенения.

Муштра изо дня в день. Казалось, мы не учимся, а лишь затаптываем наши надежды стать красивее. В теле

то тут, то там появлялась ломота. Ноги гудели, как телеграфные столбы. Ночами то один, то другой, охнув от боли, просыпался. Мы, новички, избегали даже говорить о строевых занятиях, как в семье не говорят о постигшем ее большом горе.

Однако к наставникам у нас претензий не было. Старшекурсники добросовестно делали свое дело, а в обращении были подчеркнута корректны: ни слова грубости.

На занятиях регулярно появлялся офицер. Вот от него нам, страдальцам, доставалось. Встанет спиной к колонне, прикоснется мизинцем к холенным усикам и покрикивает: «Строже, господа юнкера, с этими неумехами, строже! Наука гласит: тяжело в учении — легко в бою».

Я возмущался: «Как он смеет трепать заветы великого полководца!» А потом рассудил: добавь только два слова, чтобы получилось: в бою... с самим собой! — и смысл строевой муштровки оправдан.

А пока на первых порах — ох как было тяжело... Наконец-то просвет! Явился офицер — и с одного взгляда на него мы, новички, почувствовали облегчение: сегодня не злой. Кажется, с доброй вестью... И офицер объявил:

— Господа молодые юнкера. Нахожу, что вы достаточно усовершенствовались в ходьбе, чтобы подняться на новую ступень: будем усваивать правила отдания чести. — И добавил: — После этого — воскресный отпуск в город.

Шумно прорвалось наше радостное чувство. Ведь месяц отсидели взаперти. Легко ли было видеть, как старший курс еще в субботу, праздничный, проодеколонив воздух камеры, покидал училище и лишь к десяти вечера в воскресенье вновь появлялся среди нас. А какие до поздней ночи сыпались веселые и невероятные, дразнящие нас, рябцов, рассказы...

Но хватит завидовать: теперь и мы сами не споткнемся о порог, выйдем порадоваться свободе.

Незадолго до дня отпуска на утренней перекличке роты юнкер-фельдфебель объявил:

— После завтрака новичкам — в гимнастический зал на построшку шинелей.

Посмеиваясь над диковинным сочетанием слов «шинель» и «постройка», мы с аппетитом уплели за завтраком котлеты с неизменной фасолью, выпили по кружке чуть сладкого чая и поспешили наверх, в зал. Здесь уже была наготове команда солдат-портных: прислали из гарнизон-



ной швальни. Проворные руки с каждого сняли мерку — и вот она, обнова: шинель по фигуре, в рамке синего канта черные петлицы и черные же погоны с накладной серебряной лентой и трафаретом училища на них.

Обманув бдительность дежурного офицера, притащили мы шинели к себе в камеру, оделись в них, расправив складки, туго подпоясались — и надо было видеть, как засияли лица облачившихся!..

Каждый вертелся так и сяк, стараясь увидеть себя с головы до ног в зеркале для бритья. Умиляясь, поглаживали жесткий ворс сукна, иные даже нюхали полу или рукав, прищуриваясь от удовольствия.

Я и сам поймал себя на том, что исследую шинель. Все тугие казенные швы проглажены утюгом, и как ни поверни шинель — нарядно.

Слыхали мы, что летом юнкера носят шинель внакидку. Сейчас март — а как буду выглядеть в мае? Я отстегиваю хлястик, оставляя его висеть на левой пуговице, и шинель раздается в стороны колоколом. Накидываю ее на плечи и застегиваю, как полагается, на один верхний крючок. Под шинелью просторно. Рук не видно, и это, представляю себе, придаст мне некоторую загадочность, что выгодно при общении с девушками. Пробую отдать честь. Подкинутаая рукой пола шинели взмывает вверх волной. Эффектно: будто крылом взмахнул — как Демон пред Тамарой... «Эй, студент, — подтруниваю я над собой, — в тебе странные перемены: готов, кажется, обниматься с казенной шинелью! Где же твое бывшее презрение ко всякой солдатчине?»

Однако этот голос на меня уже не действует — он слышится из вчерашнего дня...

Одновременно с постройкой шинелей нам, новичкам, построили и выходные сапоги. Хромовые юнкерам не полагались — в них шикуют офицеры, но за дополнительную плату сделали.

Большинство, к нашему общему удовлетворению, получило право на отпуск. Но были и провалившиеся на отдаении чести. Неудачники сразу как бы откололись от товарищей, желчно замкнулись. Но ведь сами виноваты. Бывало, на строевых уроках еще кое-как перемогаются, а того нет, чтобы в свободную минуту попрактиковаться самим, подправить с помощью товарищей то, что на уроке не получалось. Ленивы. Отмаются на строевых и сразу в уголок, за книжку, либо на кровать — поваляться, пока не сгонит де-

журный офицер... Но, конечно, ребятам обидно: все в отпуск, а им куковать в опустевшем здании.

Расскажу о том, как происходило увольнение в отпуск. Теснимся перед комнатой дежурного офицера, жарко дыша друг другу в затылки. Попробуй справиться с волнением, если сегодня дежурит какой-то новый офицер, да он еще не в духе: кричит, ругается.

Двое уже вылетели. Мы — к ним. «За что?.. Почему?» Оказалось, один запутался в рапорте из шести слов, и ему приказано вновь явиться, но после всех. А второй не пожелал даже нам сказать, на чем провалился. Но, видать, очень нуждался парень в отпуске — огорчение его выдавали дрожащие губы на мертвенно побелевшем лице. Побрел раздеваться, а мы, перепуганные, долго глядели ему вслед...

Третий вылетел от офицера со словами: «За без штыка!»

Тут каждый схватился за левый бок — на месте ли мой-то?.. Юнкеру присвоено оружие — штык от винтовки. Отсюда — штык-юнкер, то есть рядовой. Штык в кожаном чехольчике подвешивается слева к поясу. (У портупей-юнкера иное: не штык на поясе, а палаш с медной рукоятью и офицерским темляком.) И вот нашелся вахлак: забыл личное оружие. Только офицера рассердил...

Не помню, как я сам оказался перед офицером; он вперил в меня глаза раздраженного человека. Но я не дрогнул, наоборот — весь собрался, напряжился.

— Юнкер Григорьев просит разрешения идти в отпуск!

Минута без ответа. За эту минуту я обмирал, умирал и вновь воскресал. Наконец ленивое сквозь дым папиросы:

— Идите...

Раз-два — отбил я поворот кругом, оторвал руку от козырька с такой силой, что показалось — остался без руки; но тут уже не до поисков утерянного — только бы выскочить наружу, на крыльцо, на простор, где глаз не упирается в стены хотя бы и знаменитого замка.

Опомнился я у конной статуи Петра, что воздвигнута возле замка, прямо перед его воротами.

— Пронесло, Петр Алексеевич, пронесло! — И я подмигнул августейшему всаднику. — Поздравьте, я уже в отпуске!

Оборачиваюсь. Хочется взглянуть на парадные ворота, из которых я впервые вышел. Ворота глубокие, словно врезаны в тело замка. А какова архитектура! В обрамлении ворот — арсенал рыцарства. Мечи, кольчуги, копья и про-

чие доспехи — все сделано из камня, но с такой художественной силой, что, кажется, повея ветерок — острым звуком отзовется дамаск мечей, зашелестят угрюмо железные кольца кольчуг, колокольным звоном прогудят массивные шлемы. Загляденье, что за ворота! И трудно даже представить себе, что они были когда-то завалены хламом, загорожены опрокинутой караульной будкой.

«Дворец удавленника!» В мистическом страхе царская семья покинула замок,

...грозно спящий средь тумана  
Пустынный памятник тирана,  
Забвенью брошенный дворец.

*А. С. Пушкин*

Впрочем, мне эта история сейчас ни к чему. Хватит и о себе забот. Как бы, думаю, в юнкерской форме по неопытности не проштрафиться в городе. И с надеждой на покровительство я взираю на бронзового Петра.

Как потом я узнал от ребят, юнкера обращались к этой конной статуе постоянно — делясь кто радостью, кто бедой. Спрашивали советов, давали обещания, случалось, и надували венценосца, но он — и мореплаватель и плотник — неизменно был благосклонен к юнкерам-инженерам.

Постояв у памятника, я мысленно приготовился к различным встречам, особенно с юнкерами других училищ.

Юнкер обязан был козырнуть офицеру, но также и юнкеру. Впрочем, не всякому. . . Вот как нас, новичков, напутствовали старшекурсники перед отпуском:

— Встречается юнкер пехотного училища. . . Как поступить? Изловчись и козырни первым. В знак уважения к пехоте — ведь на поле боя она решает все. Встречается юнкер-артиллерист. И тут надо не зевнуть — упредить встреченного с отдаением чести. Однако смысл упреждения уже иной. Теперь это только знак вежливости. Стремительно вскидывая руку к виску, юнкер-инженер как бы говорит: «Ты артиллерист, я инженер — оба мы рода оружия умственного. Но я почитаю за особое удовольствие, как равный равному, все же первым отдать честь».

Но вот какой-то юнкер едет в коляске на резиновых шинах. Развалился на кожаных подушках так, что колени выше носа, а сабля в блестящих металлических ножнах выставлена напоказ. Это пшют из Николаевского кавалерийского. И не подумайте, что среди пешеходов он вас, скромного инженера, не видит. Глаза таращит, полный вождения, чтобы ему, самовлюбленному нахалу, инженер

отдал честь. Тогда с эфеса сабли медленно поднимется рука в белой перчатке и как бы швырнет тебе приветствие-подачку в ответ... Нет, нет... На улице столицы — и так оплошать? Да это худший позор, какой только может пасть на погоны юнкера-инженера!.. Старшие научили, как поступать. Не отворачиваться от коляски с кавалеристом. Но скорчить на лице такую мину, словно горчицы нюхнул. А правую свою руку не оставлять без внимания — не то вдруг ненароком сама собой подскочит к козырьку.

Может статься, что юнкеру-инженеру встретится воспитанник Пажеского корпуса. Господа эти фланируют по Невскому, попадают на аристократических улицах — Сергиевской, Моховой, Шпалерной, Миллионной, увидишь их на набережных Невы, особенно в кварталах великокняжеских дворцов. Погоны у пажа особенные: будто пирожные из кондитерской на плечах, только вместо крема густо положено золото, а посредине втиснут, тоже золотой, вензель царствующего монарха. Ходят пажи, из особого к себе уважения, не торопясь; мыслительной деятельности на их лицах незаметно. Да и к чему обременять мозг, если юнцу уже на пороге жизни сама судьба отвешивает поклоны. По выходе из Пажеского корпуса родовитому молодому человеку — графу, князю или барону — предстоит либо беспечно толкаться в свите на царских выходах во дворце, либо сразу же стать значительным чиновником в том или ином департаменте или министерстве.

Пажа при встрече замечать не следует. Для юнкера-инженера это насекомое.

Так выглядел кодекс чести, бытовавший в среде юнкеров Николаевского инженерного. Сейчас, когда для меня это лишь воспоминания юности, вижу, насколько наивным было домашнее законодательство юнкеров, хотя в основе своей оно разумно исходило из многовековой традиции военного инженера-труженика... Мальчишество! Но незабываемы минуты, когда мы, юнцы, почувствовали себя рыцарями, берущими этот кодекс чести девизом на щит!

Я сразу влюбился в военные науки. И в профессоров влюбился. Ведь только крупные ученые способны каждую лекцию, каждое научное явление сделать для слушателей праздником. А преподавали нам, вчерашним студентам, профессора Военно-инженерной академии.

Вспомнилось детство, когда в жизнь мою вошел замечательный натуралист Кайгородов и своими книжками,

словно прикосновением волшебной палочки, открыл мне глаза на окружающий мир природы, полный чудес, каких и в сказках не вычитаешь... Вспомнился и другой писатель (англичанин или англичанка — фамилия в голове не удержалась), его книжка «Что рассказывала мама» тоже открывала мне миры не менее увлекательные, но уже через труд людей. Будто умный и добрый товарищ взял меня за руку и повел под землю; здесь я увидел маслянисто-черный камень; мне сказали, что это — каменный уголь, объяснили, для чего применяется, и показали, как трудятся шахтеры. Потом я побывал (всего лишь глядя в книжку) на заводе, где плавят металл, на фабрике, где со станков бежит ткань, одевающая людей; узнал, как искусные руки человека делают такую тонкую вещь, как иголка... Впечатление от военных наук — хотя мне уже скоро двадцать — совсем такое же яркое, захватывающее.

И вот мы на лекции. Дежурный юнкер прокараулил профессора у входа в класс, замешкался с докладом, заставив всех нас покраснеть, но вошедший полковник с усталым лицом лишь улыбнулся неловкости новичка. Зато когда профессор поздоровался, мы (чтобы показать: не лыком шиты!) рявкнули во все горло, да еще с привизгом: — Здравия желаем, господин полковник!

В расписании занятий значится: «Мосты и переправы». Мне, путейцу, надо было проучиться в институте пять лет, чтобы строить мосты. А здесь пришел в аудиторию человек в скромном армейском кителе с академическим значком и принялся творить чудеса. Это ли, в самом деле, не чудо — сделать расчет моста сразу на берегу реки в полевой книжке! В институте проект моста готовится месяцами и за это время успевает обрасти горой чертежей... Кто же этот чудодей, который пленил наши сердца? Никаких ораторских приемов, слова цедит из-под усов. Цепко держит мел в сухой, как бы состоящей из одних сухожилий и хрящиков руке, пишет на доске, и не поймешь — скрипит ли это мелок или сама рука. Изредка оборачивается к юнкерам, чтобы спросить: понятно ли? «Понятно», — отвечаем мы, удерживаясь от жаркого желания поаплодировать профессору, это ведь не публичная лекция для всех.

Перед нами профессор Н. Т. Ушаков, мостовик. Формулы, глядящие с доски, просты и изящны, не сложнее двух-трехчленного квадратного уравнения. Казалось, Ушаков, прежде чем войти в аудиторию, сгреб громоздкие многочлены, над которыми мы корпели в институтах, уложил их под пресс и сдавливал каждую формулу до тех пор, пока

не обнаружилась самая ее суть. Это было как ядрышко, очищенное от скорлупы и пленочек, — великолепное творение большого ума в подарок саперу, строящему мост под огнем врага.

Между тем ход мыслей проектировщика в условиях мирного строительства и на фронте принципиально одинаков. В обоих случаях прежде всего надо знать — для чего мост, под какие грузы, характер преграды, вызвавшей необходимость перекинуть мост. Обычно это река. О ней и надо собрать сведения: ширина, глубина, скорость течения, состояние дна реки и берегов, на которые встанут опоры моста.

Но вот курс лекций прочитан. Перерешали мы множество задач с применением ушаковских расчетных формул, они прозрачны, работать с ними — наслаждение. Приближался решающий момент — проверка знаний. В день зачета профессор объяснил обстановку: действующая армия, перед нашими наступающими войсками возникла преграда — река, неширокая, но капризная, с вязким дном. Строительный материал: бревна, доски. Рабочая сила: саперный батальон. Требуется соорудить мост с таким расчетом, чтобы наряду с пехотой и конницей переправить тяжелую артиллерию. (Справка для расчета: груз сосредоточенный, давление двести — двести пятьдесят пудов на ось.)

Профессор добавил, что пример не умозрительный, а взят из инженерных донесений с фронтов текущей войны. Это сразу в наших глазах повысило значение задачи: каждый почувствовал себя не за классным столом и не перед ящиком с песком и палочками вместо бревен, а как бы в сумраке зачинающегося фронтового утра, саперным офицером, от которого сотни и тысячи наших людей ждут переправы — без задержки, без промедления, чтобы противник не успел наступлению воспрепятствовать.

— Можете подсказывать друг другу, — сказал профессор, — спорить, совещаться. Забудьте, что это зачет, это предстоящая вам работа.

Юнкера, опасаясь нарушения дисциплины, не сразу набрались храбрости, чтобы встать с мест, а тем более схватиться в споре. Но профессор достал портсигар, вышел из класса — и тут сразу языки развязались.

— Вязкое дно... Это не зря сказано. Сваи бить не приходится... Какие же опоры поставить?

— Эх, а хорошо бы сваи! Чего лучше — свайный мост. Просто и надежно.

— Хочешь легкой жизни на фронте — не выйдет.

Перебрасываясь несозревшими еще мыслями и подзадоривая друг друга, мы наконец решили сообща: река неширока, достаточно одной промежуточной опоры. Бревен хватает, сделаем сруб, утопим посреди реки и завалим его изнутри камнем.

Тут же ребята взялись за карандаши — подсчитать, какова по площади должна быть подошва сруба, чтобы при нагрузке в двести — двести пятьдесят пудов он не увяз в тине, а прочно стоял на дне реки.

Тем временем возвратился профессор.

— Ряж? — сказал он. — Правильное решение.

Он прошелся по комнате, остановился перед ящиком с песком и сложил из палочек клетку.

— Ряж, — повторил он, — это правильно. Но... — И профессор принялся ударять пальцем сбоку по клетке. Палочки начали расползаться. — Но... я предупреждал — река коварная. Внезапный паводок! — уже резко отчеканил он. — Ветер, волны. Течение убыстрилось, и ряж под мощным напором прибылой воды...

Мы все, затаясь, не сводили глаз с ящика, где рука Ушакова расправлялась с найденным нами решением.

— А на мосту, — объявляет профессор, — люди, кони, артиллерия!

И он, заложив руки за спину, наклоняется поочередно к каждому из нас и всматривается в озадаченные лица.

— Что предпримем, господа, а? Мы с вами головой за переправу отвечаем!

Пошли суматошные советы. Ушаков пренебрежительно отмахивался:

— Не на базаре мы, не на базаре... чтоб шурум-бурум!

Кто-то из ребят подтолкнул меня: «Ну-ка смекай, путеец...» И я оказался у доски. Ушаков тотчас вложил мне в руку мелок.

— Ряжа уже нет, — напомнил он. — Следовательно... пролет моста увеличился. Значит...

— Значит... значит... — принялся я твердить, пытаюсь понять профессорскую подсказку. Наконец у меня вырывается:

— Прекращаю движение по мосту!

Профессор было кивнул в знак согласия, но тут же заметил иронически:

— Насовсем?

Я понял, что надо сказать «нет». Смекаю: «Ряжа нет,

пролет стал вдвое больше. Значит, значит... чтобы мост не рухнул...» И громко:

— Ставлю подкосы из бревен, уперев их в берега!

Профессор удовлетворенно улыбается и тут же возражает:

— Но длина моста — шесть сажен, а бревна трехсаженные. Подкос здесь — как гипотенуза в треугольнике: длины бревна для подкоса не хватит.

— Тогда завожу между концами подкосов ригель.

Ушаков:

— Решение было бы правильным. Но, на вашу беду, оставшиеся бревна тонки, и ваш подкосно-ригельный мост не выдержит заданного груза...

— Выдержит! — протестую я, начиная злиться на профессора: «Только и знает что усложнять задачу». — Выдержит, — настаиваю я. — Из тонких бревен сделаю толстые...

— Как это?

— Собью попарно.

— Чем? Собственным поясным ремнем?

Я отмахиваюсь от насмешливой шутки.

— Не раззява я, господин полковник. При мне на возу полевая кузница и припас материала. Кузнец да плотник живо собьют каждую пару бревен болтами — и не пикнут мои подкосы, будут работать как миленькие!

Профессор Ушаков редко улыбался на занятиях. А тут, гляжу, одобрительная улыбка. Похвалил меня за напористость.

Учебная наша группа получила у строгого профессора зачет.

Наоборот, весело, порой даже озорно держался профессор Виктор Васильевич Яковлев: светлая борода, усы, небрежно прибранные волосы. Бывало, войдет в класс — все вскакивают, а дежурный юнкер, рванувшись со всех ног, начинает докладывать: «Господин полковник! Учебная группа номер...» Зная повадку профессора не дослушивать рапорт, дежурный даже ноги расставляет, преграждая ему путь на кафедру. «Группа такая-то, — спешит дежурный, переходя на скороговорку, — готова для занятий фортификацией. Налицо столько-то. Отсутствуют по уважительной причине...»

Но где же полковник? Дежурный ловит себя на том, что продолжает рапорт пустому месту. В классе хохот.



А профессор уже на кафедре. Смеется вместе с классом. И весь урок остроумен, весел. Вот он обратил взор к иконе в углу, сделал скорбное лицо: «Боже милостивый, когда же мы перестанем иссушать молодые души этими казенно-суконными рапортами!» Или: «Ну почему бы не приветствовать появление обожаемого профессора стихотворной строкой из Пушкина, Лермонтова, Тютчева — ведь есть же на свете слова живые!..»

Мы, юнкера, смущены: уместно ли говорить такое?

Но профессор, по-видимому, знает и чувствует границы дозволенного вольнодумства. А мы старого озорника, конечно, не выдадим.

Начинаются занятия. Курс долговременной фортификации очень сокращен, и резонно: нам, офицерам военного времени, крепостей не строить, достаточно иметь о них представление. Зато полевую фортификацию (то есть законы и способы рытья окопов, ходов сообщений, устройства пулеметных гнезд и артиллерийских позиций, рубленых из бревен, с каменной обсыпкой блиндажей для ближнего боя и для укрытия солдат), законы установки проволочных заграждений, лесных завалов и других препятствий надо было знать твердо, как таблицу умножения, — к этому и были направлены наши усилия на занятиях у Яковлева. Профессор уснащал материал примерами — неожиданными, яркими. На его лекциях не заскучаешь!

Был и другой профессор фортификации — генерал Цезарь Антонович Кюи. Однако юнкерам при мне он не преподавал. Крупный военный ученый, Цезарь Антонович имел душу музыканта. Он был широко известен как композитор. Написал несколько опер: «Анджело», «Вильям Ратклиф», «Сын мандарина», а его романсы постоянно исполнялись в концертах.

Отзывался Кюи и на просьбы юнкеров сочинить музыку к тому или иному училищному празднику. Например, юнкера сложили текст, прямо скажем, неуклюжий: «Сегодня все мы до единого собрались радостно сюда, чтоб справить нашу годовщину и вспомнить прежние года». Обратились к Цезарю Антоновичу, и композитор, как подлинный педагог, всерьез написал на этот текст кантату, которая в торжественной обстановке была исполнена хором юнкеров в сопровождении юнкерского оркестра.

Однажды Цезарь Антонович встретился мне, уже портупей-юнкеру, на улице. Прежде чем поравнялись мы, я, как полагается, шелкнув каблуками, встал перед генералом. Существовала среди военных заповедь: «Ешь глазами

начальство». В училище эта заповедь наполнилась юношеским жаром и гласила: «Сгрызи начальника и проглоти, в особенности если он любим». Так я и сделал — кинул на генерала Кюи зверски-плотоядный взгляд; Цезарь Антонович не дрогнул, напротив, глянув на меня сквозь очки в тонкой золотой оправе, улыбнулся в бороду и, приложив руку к козырьку, ответил поклоном.

Был в училище телеграфно-телефонный класс. Хаживали мы туда, изучали средства современной войсковой связи, а заодно начальник класса знакомил нас со своим маленьким музеем. Вот гелиоскоп, попросту — зеркальце на треноге. Военные сведения прибор передавал, пуская солнечные зайчики. Вот и другие устарелые, но любопытные вещи.

Начальником класса был капитан Карпов, приветливый молодой человек с нежно-красивым лицом. За глаза мы называли его Зиной. Придет иной из воскресного отпуска — в глазах мрак от несостоявшегося свидания или от уколов кокетливой девицы — и спешит за утешением к капитану. Зинка в сердечных делах был всеобщим нашим наперсником. Впрочем, когда уж очень досаждали ему стенаниями, он вскакивал и говорил зычно: «Да что я вам — ворожея, что ли? Отставить посторонние дела! Марш к аппаратам Морзе. Внимание — диктую депешу...»

В этих случаях, чтобы он гнев сменил на милость, следовало проявить повышенное внимание к музейным экспонатам в уголке, хотя бы к тому же гелиоскопу.

— Вполне надежный прибор, — с удовлетворением объяснял капитан. — Разумеется, в соответствующей обстановке, когда ясное небо, солнце. Применялся гелиоскоп в прошлом веке на Кавказе, а позже — и в русско-турецкой войне.

Любопытное сооружение возникло при Николае I для передачи депеш из Петербурга в Варшаву и обратно. Царь был обеспокоен волнениями в Польше, лишенной самостоятельности и расчлененной между тремя государствами. Электрических телеграфов в России еще не было, и для спокойствия царя из Петербурга проложили к крамольной Варшаве телеграф оптический. На протяжении почти двух тысяч верст расставили башни; каждая выглядела как каланча, вздымавшаяся над лесами, полями, деревнями. На вершине башни крылья, как у ветряной мельницы, с той, однако, существенной разницей, что крылья на башнях могли сближаться между собой и раздвигаться на заранее

известный угол. На этом и была построена азбука для передачи текста депеш. На башнях дежурили вооруженные подзорными трубами солдаты-махальщики: каждый видел своего соседа слева и соседа справа и, заметив движение крыльев, тотчас повторял это движение; затем отбивал поворот кругом и ждал, когда сигнал переймет следующая башня. За одним сигналом следовал второй, третий, четвертый... Каждое сочетание крыльев обозначало какое-нибудь слово (солдату, понятно, неизвестное) или часть слова.

К постройке оптического телеграфа были привлечены военные инженеры, предшественники наши по училищу, и это открытие, разумеется, повысило нас в собственных глазах. А в день ближайшего же отпуска юнкера поспешили к Зимнему дворцу. Вот она, башня оптического телеграфа номер один. Единственная, которая уцелела. Если глядеть из Адмиралтейского проезда — она будто павильончик на крыше дворца, среди ваз и статуй.

Добрые наши отношения с Зиной никак не снимали с юнкеров необходимости всерьез изучать телефонно-телеграфное дело. На зачете, в частности, требовалось сесть за аппарат, бойко отстучать ключом текст депеши, а также по точкам-тире на ленте прочесть смысл ответной. Ведь каждый из нас мог угодить в войска связи. Училище готовило офицеров всех военно-инженерных специальностей.

Вспоминаю зубрежку военных уставов... Бр-р... Хуже зубной боли! Лишь впоследствии, уже офицером, я понял, что уставы для существования армии столь же необходимы, как костяк в теле живого организма. И проштудировал их заново, уже осмысленно.

Появлялся в училище и вел с нами занятия по тактике полковник Генерального штаба. Мундир с иголки, серебряные аксельбанты, густо намаженные волосы, как лакированная крышка на голове. И — плохо скрываемая при входе в класс снисходительность большого барина, вынужденного читать лекции людям, далеким от штабной работы. Учил нас генштабист, что такое полк, дивизия, армия, каково их административное устройство, какие задачи выполняют в бою пехота, кавалерия, артиллерия. С особым удовольствием называл великих полководцев, начиная с Александра Македонского и кончая Наполеоном, приводя примеры их победоносных операций... Суворов и Кутузов почему-то выпадали из его внимания. Говорил генштабист красиво; казалось, тончайший аромат французских духов шел не от мундира, а из-под его закру-

ченных усов вместе с изящными словами. Слова изящные — а в речи холод. . .

Не сразу мы поняли, что человек этот нас, будущих саперов, презирает: ведь мы не блестящие лейб-гусары, кавалергарды или драгуны, а всего лишь люди с лопатами и топорами, чернорабочие войны. То и дело мы слышали: «Это, пожалуй, опустим. . .» Или: «В вашей службе это не понадобится — вам ведь не управлять войсками. . .»

Между тем тактика действий войск, как мы почувствовали, это прежде всего сфера высокоорганизованного человеческого мышления. В беседах между собой юнкера признали, что даже сражения чемпионов на шахматной доске по глубине интеллектуальных усилий уступают сражениям полководцев. Ведь у шахматистов жертвами падают всего лишь деревянные фигурки, а на поле боя — живые люди. . .

Тактика — наука побеждать. Но разве саперу она не по разуму? Конечно, щеголь с серебряными аксельбантами не прав! Пример — Кутузов, вышел из саперов.

Обучали нас, юнкеров Николаевского инженерного, кроме всего прочего, верховой езде. Саперному офицеру, по закону, наряжается в строю лошадь. Преподавателем верховой езды был ротмистр. Среди юнкеров держался слух, что его вышибли из гвардии. За дуэль. Так или иначе, но кавалерист был всегда под мухой, разговаривал злобно. Но случилось кому-то из наших увидеть его на конюшне, среди лошадей. Совсем другой человек. Ворковал, как голубок, целовался с конягами, а те совсем по-свойски обшаривали у него карманы. . . Тронуло нас это открытие — и все мы прониклись чувством симпатии к ротмистру-неудачнику.

На занятия ходили в цирк «Модерн». Деревянное, посережшее от времени и непогоды здание цирка на Петербургской стороне почти вплотную примыкало к только что отстроенной столичной мечети с бирюзовым куполом, двумя минаретами и великолепным порталом; скульпторы Арабского Востока для украшения портала разработали мотив ячейки пчелиного сота — и целой, и надломленной, и косо срезанной; вдобавок вдохновение художника — и родилось явление большого искусства. . . Редкий прохожий не задержится, чтобы полюбоваться мечетью. А рядом — оскорбление для глаза: неуклюжий, словно собранный из старых досок балаган.

В этом здании с громким названием цирк «Модерн» мы, юнкера, и собирались для верховой езды. Днем представлений не было, и владелец цирка, как видно, сдавал помещение нашему училищу. Ходить нам было близко — только через Неву.

На арене, пощелкивая бичом дрессировщика, встречал нас ротмистр. Бич этот в его руках имел особое свойство: если юнкер, взобравшись в седло, робел тронуть лошадь, кисточка бича словно раскалялась — во всяком случае, незадачливый всадник чувствовал ожог на спине или ниже спины; тут же его оглушал зычный ротмистров окрик:

— Что вы сидите, как г. . . на лопате!

Лошадь сама собой срывалась с места, принималась привычно рысать по кругу, а юнкер, в ужасе от мысли, что свалится с седла и попадет под копыта, творя молитву, хватался за гриву. . .

А ротмистр:

— К-к-к-ку-да-а?.. Домой потянуло, к мамочке?.. Убрать руки! Выпрямиться! Держаться в седле только шенкелями!

Это было самое мучительное. Стремена убраны, упереться ногами не во что, выворачивай колени внутрь, прижимай к бокам лошади. А если не прижимаются?.. Тогда, подкидываемый на рысях в седле, начинаешь терять равновесие, заваливаешься набок — и. . . Уже зажмурился, чтобы не видеть собственной гибели. Но судьба смилостивилась — попадаешь не под копыта лошади, а в сильные и сноровистые руки солдата-конюха.

И опять на коне. И опять ожоги и окрики. Исчерпал последние силы — остается, кажется, одно: умереть. . . Но в последний момент слышишь спасительное:

— Все! Урок окончен. Приготовиться следующей группой! — И ротмистр, волоча бич и закуривая, удаляется с арены.

Лошади, умненькие, остановились, предоставляя нам, с позволения сказать, всадникам, как попало сползти на землю. Сползти — а с места не тронуться. Ноги стоят врозь и не желают идти. . . Только отстоявшись и размяв руками икры и бедра, заставляешь себя, как на ходулях, проковылять к выходу. . .

Но неунывающая молодость! Хохоха и подтрунивая друг над другом, мы представляем, сколько бы смеха вызвал наш конный урок, проходи он во время вечернего

представления. Гвоздь программы! Никакие клоуны так не рассмешили бы зрителей. Эх, хозяева цирка, где ваши коммерческие соображения?..

И опять строевые...

Со старшекурсниками, которые, спасибо, поставили нас на ноги, мы дружески расстались. Занятия повели офицеры. Взамен одиночных начались учения взводные и ротные. Потом роты свели в батальон.

Шеренга... Стоишь, как впаянный, между товарищами. Ни ты без шеренги, ни шеренга без тебя в твоём сознании уже не существуют. Ты как бы растворился в строю, но от этого не потерял себя — наоборот, тебя вдруг осеняет открытие: военный строй — это не арифметическая сумма людей, а нечто большее. Это кремь и огниво одновременно. Когда люди сомкнуты плечом к плечу, в действиях их как бы сама собой высекается искра, выплавляющая единую слитную волю. А где спаянность, там и каждый в отдельности чувствует себя силачом.

Может показаться парадоксом, но через эту усиленную, по несколько часов в день, работу ног, рук и шейных позвонков каждый из нас совершенствовался не только физически. Происходили перемены глубинные, все дряблелое и аморфное в характере обучаемого как бы смывалось теми семью потоками, в которые повседневно вгонял нас ротный командир. А после такого омовения, поостынув, юнкер с удивлением — по большей части радостным — обнаруживал, что он уже не тот, каким был вчера, позавчера и тем более в рябцах.

Скажу о себе. За девять месяцев пребывания в училище я был как бы разломан (иногда болезненно) на кусочки. Затем из этих кусочков здесь мастерски сложили человека иного, новую личность.

Сделались мы людьми организованными, дисциплинированными — словом, военными.

1916 год. Душное лето третьего года мировой войны. Из ворот замка, минуя взявшего на караул часового у полосатой будки, печатая шаг, выступает колонна юнкеров. А кто впереди со знаменем?.. Да это же я сам — старший портупей-юнкер, знаменщик училища. Рослый, молодецкватый, один из лучших в училище гимнастов, вполне довольный и собой, и жизнью девятнадцатилетний парень.

Выйдя под музыку духового оркестра из замка, мы — «левое плечо вперед» — сворачиваем на Садовую улицу. Шаг берем размашистый — впереди простор Марсова поля. Справа, в зеленых бережках, струится навстречу Лебязья канавка. Это всего лишь серебряный кант, отделяющий нас от могучей толпы деревьев Летнего сада. Сквозь листву виднеются мраморные статуи. А быть может, это кокетливые девицы в светлых платьях на прогулке?..

Вот одна из них наставляет на нас, юнкеров, бинокль — и мы, распалившись, грохаем песню (оркестр тотчас подстраивается к мелодии):

Бескозырки черные,  
Сапоги казенные —  
Это николаевцы-  
Юнкера идут!..

Песня полна задора, в ней прославляются «съемки планомерные, съемки глазомерные» и прочие дела будущих войсковых инженеров. Заканчивается все душесипательным куплетом пианиссимо:

Дамочки и барышни  
Взорами печальными  
Вслед уходящим  
Глядят юнкерам...

У набережной Невы, против Летнего сада с его парадной фельтеновской решеткой, нас поджидает зафрахтованный училищем пароход. Вновь вступает училищный оркестр, и мы, знающие себе цену юнкера-саперы, степенно занимаем места, чтобы проплыть два-три часа вверх по Неве до пристани Усть-Ижора.

Там ожидает нас благоустроенный лагерь и соседство с лейб-гвардии саперным батальоном. Уже известно, что в батальоне дарованные за боевые походы серебряные трубы. Историческая реликвия. Послушаем трубачей-гвардейцев на вечерних зорях, узнаем, как звучит старинное серебро.

Но еще интереснее предстоящие нам, юнкерам, дела собственных рук. А программа на лето обширная. Придется по-солдатски, поплевав на ладони, поработать и лопатой, и киркой, и ломом. Будем рыть окопы различного профиля, причем настоящие, в масштабе один к одному. На лагерном полигоне постреляем из винтовок боевыми. Отправляясь на глазомерные съемки местности, получим кроме планшета, компаса и визирной линейки барометр-ане-

роид. Прибор общеизвестный — он предсказывает погоду; постучишь ногтем по стеклу — и стрелка ткнется носиком либо в «Ясно», либо в «Пасмурно». Но в руках сапера анероид преобразуется: показывает на местности высоту холмов, глубину низин. (Неожиданное открытие: значит, даже на этажах обыкновенного дома атмосферное давление разное!)

Далее построим в лагере звено полевого моста — тут и бревна придется поворачивать, и топором помахать поплотники, делая на бревнах врубки для их сплочения. Устраивая на Неве учебные переправы, поплаваем на поплавках Полянского, а какой это случай искупаться лишний раз!.. Заглянем и под землю-матушку. Работа посложнее, чем у крота. Следует прокопать тайный ход под укрепления противника, заложить крупный фугас, взорвать и, не теряя ни мгновения, с группой саперов ринуться вперед, чтобы засесть в образовавшейся воронке. Разумеется, с оружием. Это называется «венчать воронку». Страшновато, конечно, ведь враг пойдет в атаку, а воронку надо удерживать за собой; страшновато, но и соблазнительно: за «венчание воронки» согласно капитулу орденов солдаты награждаются георгиевскими крестами, а офицер — орденом святого Георгия; этот белый эмалевый крестик на черно-оранжевой ленточке — высший боевой орден империи, мечта честолюбца, он возводит в дворянство.

Особенно увлекательными, конечно, будут занятия под девизом «Петергофские фонтаны — на берегу Невы». Девиз для эффекта придуман юнкерами (в окрестных деревнях полно дачниц).

Когда, всплыв тут и там гладь реки, в воздух под канонаду взрывов поднимаются мощные и в то же время как бы кружевные столбы пены, восторг охватывает создателей феерии. И этот восторг поддерживается аплодисментами многочисленных зрителей с крутых здешних берегов...

Все это из рассказов уже вышедших в офицеры старшекурсников. Для нас, только еще собравшихся в лагерь, это пока возжеленное будущее... Но вот отвальный гудок — и пароход поплыл. Приближается громада Литейного моста. А труба у здешнего речного парохода непомерно длинная, и впечатление такое, что под мостом ему не пройти. Но трубу, ухватившись за железную тягу, валит матрос. Миновали мост — и опять труба как труба, и дым вверх...

Полевые цветы, аромат трав... Солнце, чистый воздух,



под ногами мягкая земля... Как это не похоже на Питер, где маршируешь по каменной или торцовой мостовой! Здесь и Нова иная — в высоких песчаных берегах, с незамутненной водой... Лагерная программа, пожалуй, напряженнее, чем в городе, но, наперекор этому, ребята здоровеют. Иные даже солнцем расцелованы. Над такими потешаются: румянец у петербуржца — это по меньшей мере моветон!

Однако близится окончание училища. Мы все уже хорошо знаем друг друга, все интимнее наши беседы. О чем же мы, теперь старшие юнкера, толкуем в ночной тишине барачных или в редкие свободные часы днем — под сенью деревьев Саперной рощи, этого заманчивого островка прохлады между лагерем и железнодорожной станцией того же названия?...

О чем же толки? Чаше всего о жизни и смерти с точки зрения офицера. Конечно, смерть ужасна, все живое на земле протестует против уничтожения. Когда я был рябцом, сама мысль о том, что могу погибнуть от пули, снаряда или удара шашкой, повергала меня в ужас, и первые ночи в училище я, залезая головой под подушку, обмирал в неизбывной, казалось, тоске.

Но вот я уже не новичок и не рядовой юнкер, а старший портупей,— воспитываю рябцов в героических традициях училища. Что же, мне схлюздить перед лицом смерти?... Как бы не так. Это же уродина, да еще дура: схватила косу, которой траву косить, и на человека замахивается... Да я пинком ее отброшу!

Храбрись не храбрись, однако, по совести говоря, умереть или остаться в живых — для меня безразлично. Это было бы ложью: каждая клеточка моего тела (а их миллиарды) стремится жить. Вон сколько внутри меня голосов против смерти. Но это голоса инстинкта самосохранения, так сказать, с галерки бытия. А где противодействие этим миллиардам? Существует ли оно?

Спорщики, ища опору в высказываниях исторических личностей, набирали цитаты из военной литературы. Старичок библиотечкарь вместе с юнкерами выехал в лагерь, и в его домике оказался удивительно удачный подбор книг. Пошли по рукам труды генерала и ученого Михаила Ивановича Драгомирова. Это был боевой генерал. Прославился он в русско-турецкую войну 1877—1878 годов: обманув бдительность противника, переправил через Дунай огромную массу войск. По военным канонам прошлого века пе-

реправа такого масштаба в зоне военных действий признавалась неосуществимой.

Высокообразованный военный, Драгомиров был страстным последователем Суворова. Он разделял взгляды великого полководца и в стратегии, и в тактике, и прежде всего — в воспитании солдата. Драгомиров ратовал за гуманное обращение с солдатом, за то, чтобы офицер видел в солдате не «серую скотину», а достойного уважения человека. Неустанно, вплоть до смерти (он умер в 1905 году), Михаил Иванович боролся с ретроgrадами в армии и в самом Петербурге, стойко перенося клевету и нападки.

Человек крупного военного таланта, он не мог не выдвинуться. С соизволения царя Драгомиров был назначен начальником Генерального штаба, развил энергичную деятельность, но, будучи человеком передовых взглядов, у руководства вооруженными силами империи не удержался. Убрали Драгомирова в тень, дали в командование всего лишь дивизию, но Михаила Ивановича меньше всего интересовала карьера. Став начальником дивизии, Драгомиров воплотил в жизнь свои идеи о воспитании солдата, и даже противники гуманного генерала вынуждены были признать, что созданная им дивизия представляет собою пример другим.

В своих печатных трудах Драгомиров размышляет о принципах создания боеспособной воинской части, о действиях и психологическом состоянии людей в бою; убедительно показывает, что солдат, молодецки прошагавший перед начальством на параде, может оказаться в бою негодным воином, если на него не потратить силы разумным воспитанием... Все это мы, юнкера, и читали, и конспектировали. И уж, конечно, недобрым словом поминали шеголя в серебряных аксельбантах, который, подавляя зевоту, выдавал нам какие-то огрызки тактики.

Когда вышла в свет эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир», Драгомиров, прочтя роман, обнаружил в нем неточности военного характера. Выступив в печати, он не поколебался обратить критические замечания против великого писателя. Независимость его суждений была непреклонна.

Михаил Иванович воспитывал не только солдата, непрестанно воспитывал и себя. Уже в годах, будучи начальником дивизии, он не позволял пробуждаться темной силе в организме — инстинкту самосохранения. На боевых стрельбах пехоты вдруг появлялся в зоне огня, где свистели пули, останавливаясь то у одной мишени, то у другой... После отбоя благодарил солдат за меткость, но строго

взыскивал с тех, кто из опасения, как бы не попасть в своего генерала, отводил ружье в сторону.

Драгомиров и пример его жизни и деятельности восхищали нас, спорщиков, искателей истины. А лично я, кончая училище, твердо усвоил следующее: если случится погибнуть в бою, то как офицер обязан (и это высший для меня нравственный закон) умереть так, чтобы и в смерти своей, пересиливая страдания тела, до последнего вздоха послужить для подчиненных примером самообладания, мужества и верности знамени.

# Часть Вторая

И вот я — саперный прапорщик. Одет щегольски. На мне вошедший в моду в дни войны английский френч — свободного покроя, с накладными карманами, из отлично-го табачного цвета английского материала; серебряные, с черным просветом погоны сапера не прикреплены на плече, как обычно, при помощи пуговицы и шнурка, а вшиты; это модно и удобно — погон не топорщится на плече и не ломается. Брюки на мне французского покроя: зеленовато-синие галифе.

Новинка и в обмундировании солдат. От Соединенных Штатов Америки — третьего своего союзника в войне против Германии — Россия в числе прочего получала армейские ботинки, им сносу не было, но обувь для нашего солдата непривычная: ему бы сапоги да портянки. Однако на третьем году войны сапог для армии, как и многого другого, уже не хватало.

А офицеры щеголяли. Мы, прапоры, заказали сапоги у Вейса, первоклассной столичной фирмы. Получил я сапоги вместе с колодками — деревянными дубликатами моих ног. Ложась спать, надлежало вставлять это разборное полено в сапог и расpirать его клином — чтоб и морщинки не было ни на переду, ни в голенище. Утром, когда требовались сапоги, распорное деревянное устройство убиралось в чемодан. Несколько дней меня забавляло это любовное обращение с сапогами, но подошло время собираться в дорогу, и я выбросил поленья: не тащить же их с собой на фронт!

Другое дело шпоры. Было приятно, что они присвоены саперному офицеру, — недаром же мы помаялись в манеже. В училище традиция: никаких покупных, шпоры — только на заказ, и только от Савельева! Это был редкостный мастер своего дела. Он ставил серебряные колесики, подбирая их на слух по толщине и диаметру для одной и для другой ноги: от этого шпоры издавали при ходьбе пе-

реливчатый звон, который мог быть тона мажорного или минорного, смотря по вкусу заказчика.

Офицерская форма! Не скажу, чтобы для меня, новоиспеченного прапорщика, она сделалась предметом обожания, однако пылинки на рукаве не допускал...

Шпоры, френч, галифе... А что в голове у меня было, что внутри?... Попытаюсь ответить от лица шеголеватого, надушенного прапорщика того времени.

Устойчивых политических взглядов к концу 1916 года, когда я надел офицерские погоны, не приобрел: разрозненные мысли, разрозненные чувствования... При царском дворе и в правительстве творилось такое, что от смердящих гнойников, казалось, уже невозможно в столице дышать. Было стыдно за царя: он, на мой взгляд, перед всем миром позорил мое отечество. Убрать бы его — но как это сделать, я не имел понятия. Считал, существует особая категория людей — политические деятели, сидят в Думе, им и карты в руки. Мечталось, чтобы у нас была республика, как во Франции в 1789 году... Далее, мой взгляд на войну. Раз уж взялись воевать, так нечего срамиться — расколошматить Германию, и все!

Что еще прибавить к портрету прапорщика, которого отправляют в действующую армию?... Я чувствовал себя знатоком военно-инженерного дела. Был исполнен патриотического духа — победить или умереть за Россию. Но предпочитал победу. Надеялся, что мы, молодые, явившись на фронт, сумеем изменить неудачный ход войны и что богиня Славы уже готовит победную ветвь, чтобы увенчать наши головы...

Захотелось попрощаться с Петроградом... Питер! Для меня он еще полон тайн, загадок — и всё же я мыслю себя петербуржцем. Влюблен в этот неповторимый город. Но суждено ли мне вернуться к берегам Невы? Увы, никто не скажет...

Пригласил я знакомую со студенческой поры курсистку, Екатерину из Аткарска, провести со мной прощальный день. Был на исходе декабрь, стоял бодрящий морозец. Прошлись по Невскому. Кое-где на боковых улицах мерцали огнями жаровни-снегоотталки. Дворники в белых фартуках с бляхами на груди заматали и уносили туда снег с проспекта, подбрасывали дровец.

Шагаю, Катю не могу даже под руку взять. На Невскомлюдно, приходится почти непрестанно вертеть го-

ловой, чтобы не упустить отдать честь встречным офицерам. Позавидовал двум гвардейцам-часовым, что стоят по обе стороны ворот в Аничков дворец, где проживает мать царя Мария Федоровна. Гвардейцы, каждый у своей полосатой будки, глядят в глаза друг другу, и нет им ни до кого дела, кроме самой старухи. «Лучше покататься»,— решаю я, да и у спутницы моей, догадываюсь, та же мысль. Кокетливо заслоняясь муфтой, она мурлычет модную песенку: «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом... Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем...»

— Тройку отставить,— шутливо командую я,— тем более что не ночь, а утро.— И предлагаю спутнице завернуть к Гостиному двору. Здесь чередой стоят автомобили для проката. Уловив мое намерение, Катя сопротивляется:

— Коля, что вы! Это же безумно дорого!

— Дорого для студента и курсистки,— мягко замечая я, с удовольствием сознавая, что при мне туго набитый кошелек, и уточняю: — Но не для офицера.

— Было бы достаточно извозчика... Ну, правда же! — твердит она, впрочем, не очень настойчиво — и протест ее я оставляю без внимания.

Шоферы прокатных автомобилей, еще издали заметив во мне добычу, кидаются навстречу. Я терпеливо переживаю беспорядочный гомон зазывающих голосов и, посоветовавшись со спутницей, выбираю автомобиль веселой окраски с открытым кузовом.

Устроив даму и сядясь, я спросил о марке автомобиля.

— «Санбим»,— почтительно, но вместе с тем с чувством собственного достоинства сказал шофер.— У нашего хозяина только «санбимы», выписаны из Английского королевства.

В экипаже мы обнаружили полость из медвежьего меха и с удовольствием укутали ею ноги.

Порякивая клаксоном, автомобиль выбрался на торцы Невского. Пропустили мимо лакированную карету, Катя попросила шофера дать возможность проехать и извозчику, который пугливо настегивал лошадку, чтобы поскорее убраться с главного столичного проспекта,— и мы поехали.

Прощаясь с Питером, захотелось побывать в любимых местах. На Сенатской площади я вышел на мостовую, козырнул Медному всаднику на вздыбленном коне, постоял перед ним минуту, сел обратно.

— Трогайте. Теперь, пожалуйста, на Забалканский.

Попросил шофера придерживаться ход, пока проезжали

мимо здания Путейского института. Было странно видеть, что так же входят в подъезд и выходят на улицу люди в черных шинелях, отороченных зеленым кантом, с серебряными вензелями на плечах... А где же я среди них? Взгрустнулось о потерянном...

Катя поняла мое состояние и принялась развлекать меня, смеясь от холода в муфту. Напомнила о студенческой вечеринке, где мы познакомились, но из-за тесноты в комнатухе даже потанцевать нам не нашлось места, только натыкались на другие пары... Ничего смешного в этом я не усмотрел, напротив, теперь стало грустно уже и от расставания с девушкой, с которой так и не завязалось прочного знакомства.

Миновали Константиновское артиллерийское училище и поравнялись с Технологическим институтом. Вот здесь мне стало весело. Временами в своем самостоятельном студенческом житье-бытье, нерасчетливо тратясь на театры и концертные знаменитости, я скатывался к полному банкротству: пообедать не на что. А в Путейском институте — держи фасон — для студентов ресторан с крахмальными скатертями, салфетками и массивными столовыми приборами «фраже»: истратить надо двадцать — двадцать пять копеек, да и чаевые официанту оставить... Но я заметил: даже если карманы пусты, почти всегда, перетряхнув вещи, облазив комнату и перебрав учебники на полке, обнаружишь дар небес: где копейка завалялась, где две — и насобираешь алтын, а то и пятак. И ты спасен!

В Технологическом, в глубине двора, ютилась столовка, видимо, на каких-то товарищеских началах содержавшаяся студентами для самых бедных, несостоятельных своих коллег. Состояла она из одной комнаты с дощатым выскобленным полом, длинного стола и кухоньки. Из раздаточного окна улыбалась посетителям курсистка в кружевном передничке — вероятно, член товарищества. За три копейки каждый мог получить здесь большую миску наваристых щей или борща с куском мяса, а за пятак — плюс к этому миску заправленной маслом гречневой или пшенной каши.

Пообедаешь плотно — и сыт. А если захочется и впрок пожевать — нажимай на хлеб; он не в счет — свежий, душистый, в плетеных корзинках.

Конечно, путеец здесь редкий гость — в студенческом мире это аристократ! И когда я, бывало, в минуты невзгод переступал порог хлебосольной трапезной — хотелось стать незаметным в своей путейской форме, замешаться в толпе. Дадут обед — а легко ли его скалькулировать всего

в пятак? Наверняка студенты Техноложки изворачивались, чтобы свести концы с концами: искали и находили доброхотных жертвователей на столовую, обращались к артистам театров, чтобы сколотить программу благотворительного концерта, и тому подобное. Но как радушны в столовой! Кормят каждого, кто входит, — и действительно нуждающегося студента, и того, кто спускает деньги по легкомыслию...

Однако где же шуточный рассказ? Замыслил я потешить спутницу забавным приключением гордого путейца, а смеяться-то нечему: мало смешного в том, что я, бездумно поистратившись, позволял себе на чужой — да еще общественный — каравай рот разевать... В глазах Кати — сдержанный упрек мне. Была она, как и я, из провинции, и жилось ей в Питере трудно: сама себя содержала, да и за право учения ведь надо было немало платить на Бестужевских курсах...

Тронулись дальше в неловком молчании. И тут явилась мне очистительная идея: пожертвование сделать на столовую в Техноложке. И — никому ни слова. Сразу полегчало на душе.

Утешившись этим, я взял свою даму под руку, и в великольном «санбиме» мы поехали дальше. Попрощался, придерживав шофера, с Инженерным замком, с Летним садом, который теперь впору бы назвать Зимним, — все бело, а старики деревья как бы дремали в просторных снежных тулупах. Мраморные обитательницы сада, не сходя с мест, укрылись в деревянные домики. Каждая в свой.

У памятника Суворову, что заключает Марсово поле, я снова сделал остановку. Великий полководец здесь изображен не старичком с хохолком на голове. Скульптор Михаил Иванович Козловский воплотил его символически в образе античного юноши с обнаженным мечом. Суворов как бы предостерегает недоброжелателей России от попыток переступить границы нашего государства. Мысленно, как военный, я вверил генералиссимусу свою жизнь, свою судьбу.

Между тем моя спутница явно утомилась от мало интересовавшего ее моего прощального визита Питеру. Даже зевнула в муфту. Еще раз пытаюсь развлечь девушку. Показал на обширный балкон Инженерного замка, приметный издалека. Полгода назад, в начале мая, дежурный офицер по училищу, заполошно прервав занятия в классах, вытолкнул нас, юнкеров, на балкон приветствовать го-



сударя; со свитой и конвоем из лейб-казаков Николай Второй проезжал мимо, направляясь на Марсово поле.

На этом огромном плацу серела одетая по-фронтовому солдатская масса. Было ясно, что царь решил учинить смотр войскам и, как говорится, благословить их оружие. Впереди царя в открытой коляске, запряженной четверкой вороных, ехала царица с дочерьми — все в белом, нарядные. Для дам это была прогулка — не больше. Вокруг коляски топтались верховые офицеры, беспокойно поглядывая на решетку Летнего сада, за которую пристав с городовыми едва успели загнать прохожих.

Царь ехал верхом сразу за коляской: спокойный, невозмутимый.

С балкона из глоток юнкеров грянуло «ура!». А я — будто спазм какой-то в горле — не в силах был заставить себя выговаривать это слово чисто, получалось «дура-ак!». Как потом выяснилось в курилке, где юнкера обменивались впечатлениями, не один я — еще несколько юнкеров испытали такой же горловой спазм. . .

— Кукиш в кармане, — сказала Катя насмешливо. — Вы не обижайтесь, Коля, но в этом ничего не было революционного.

— А я и не революционер какой-нибудь! — отрезал я. И переменял разговор: — Пожалуй, пора уже и обедать. . . К Палкину! — приказал я шоферу.

Обширный зал ресторана, что на углу Невского и Владимирского, был полон, и звуки музыки терялись в шуме голосов. Не успел я, держа под руку свою даму, оглядеться, как ко мне устремился, виляя между столиками, выложенный господин во фраке. Догадываюсь — это метрдотель. С одного взгляда на меня он понял, как сделать мне приятное.

— С производством в офицеры, господин. . . — Он увидел на груди у меня памятный знак училища — мальтийский крестик и восторженно сложил руки лодочкой: — О господин инженерный офицер! Примите наше поздравление, а также и вы, мадемуазель. — И он поклонился моей спутнице. Катя, не бывавшая в дорогих ресторанах, от этого внимания, хотя и деланного, смущенно покраснела.

— Шампанского, — коротко распорядился метрдотель официанту. — Обед господа выберут а-ля карт, а на десерт — свежую землянику! — И с тем исчез: сорвал с нас куш в виде шампанского и особенно земляники (чертовски дорогой для зимы сюрприз), и больше мы этого ловкача не интересовали.

Ошеломленная Катя порывалась что-то сказать, но официант уже усаживал ее на стул. А я, прежде чем сесть, обязан был испросить на это разрешение у старшего по чину офицера. Такого и отправился искать, оглядывая публику. «Да вот же ротмистр!» — обрадовался я, увидев за одним из столиков нашего учителя верховой езды. Но тот, узнав меня, с досадой поморщился: не мог я не заметить перед ним винную батарею, догадаться, что человек в запое. Я замялся, но сделал по направлению к офицеру еще шаг.

С полным ртом, заторопившись и от этого закашлявшись, ротмистр сердито замахал на меня рукой. Понять его можно было двояко: «убирайся прочь» или «явись к другому офицеру». Тут я увидел в зале полковника, углубившегося в обеденную карту. На лице его играла улыбка. Перед ним в ожидании заказа томился официант. Судя по тучности полковника, он был любителем хорошо поесть и, видимо, испытывал наслаждение уже от того, что мог неторопливо выбрать блюда на обед. Я подошел, деликатно звякнув шпорами. Полковник не отозвался. Звякая вторично, позвончее — никакого впечатления.

Официант сдержанно вздохнул. Постоял я рядом с официантом — но сколько можно маячить перед чревоугодником? Решил про себя: «Обойдется и так». И возвратился к своему столику.

Принимаюсь за закуски, пригласив свою даму отведать раковых шеек в пикантном соусе, икры, грибов. По моему знаку официант, вооружившись салфеткой, выхватывает из льда в ведерке бутылку, выстреливает пробкой, и наши бокалы с шипением наполняются пенно-золотистым вином.

— Коля... — У моей спутницы испуганное и расстроенное лицо. — Коля, не пора ли вам пересчитать прогонные деньги? Боюсь, что вы забыли, что сегодня уезжать...

— Лучше чокнемся, — перебиваю я. — Помянем-ка наши студенческие вечеринки, с которыми и лукуллов пир не сравнить, не то что здешний. Помните: «Помолимся, помолимся, помолимся творцу, и к рюмочке приложимся, потом и к огурцу...» А о деньгах не тревожьтесь, на дорогу мне хватит...

За земляникой, которая принесла свежий аромат лесных полей, я услышал, как поплыли звуки вальса. Танцы! Без колебаний я оставил деликатес. Наконец-то довелось мне потанцевать с Катенькой! Вальсируем... Но что это — по ногам бьет шашка... Скандал — забыл с непривычки ее

отстегнуть... И как хлещет, проклятая: вот-вот сунется между колен, и растянусь на паркете... За ближайшими столиками уже смех, иронические аплодисменты...

Сам не помню, как я вывел свою даму из круга... Вернулись к столику. Гляжу на счет: «Ого, потрянул-таки меня фрачник!» Злость меня взяла и обида на судьбу, на ротмистра, полковника, на ресторан, на самого себя. И, наперекор всему, чтобы не выглядеть дураком, я выгреб из кошелька остатки денег и сунул на чай официанту. Ошеломленный, тот в поклоне согнулся пополам — да так и остался стоять: прямым углом треугольника.

Катю я проводил на Васильевский остров в трамвае. Ехали как чужие — ни у нее, ни у меня не нашлось и слова сказать.

На вокзале билет я получил воинский, бесплатный. Заметил посыльного в красной шапке — он дожидался поручений. Красная шапка — это скороход. В Питере они на каждом людном перекрестке: за небольшую плату мигом доставит, куда скажешь, письмо, записку, букет цветов, театральный билет... Однако зачем он мне, этот посыльный, почему с красной шапки я не спускаю глаз?.. Вспомнил! Да ведь пожертвование собирался сделать! Столовке у технологов! Пошарил я в карманах — пусто. Смущенный, отвернулся от красной шапки, уже увидевшего во мне заказчика.

А с чем ехать? «Ничего, не помру», — утешал я себя, сядя, согласно офицерскому билету, в вагон второго класса с мягкими местами. И всю дорогу перебивался кипятком. Спасибо железнодорожникам: на каждой станции — нагретый куб, и платы не спрашивали...

Определили меня на службу в один из саперных батальонов на Юго-Западном фронте. И едва устроился на новом месте, как послали меня вперед, в расположение действующей дивизии. Потребовались там запасные оборонительные сооружения.

Сборы у младшего офицера недолги. Потуже ремень, да кобура с револьвером. Но саперный набор для рекогносцировки — это целый магазин. Получил я свежий лист полевой карты (не очень надежной — территория другого государства); на шею — бинокль, на руку, вдобавок к часам, — компас; под мышку — планшет с чистым листом ватмана; остальное — визирную линейку, угломер, транспортир, перочинный нож, карандаши, резинку — в полевую сумку. По карманам — папиросы и спички.

Верхом доехал до заставы, оставил караульным солдатам коня и, назвав пароль, зашагал дальше. Брезжил рассвет, но идти пришлось в тумане — словно сквозь молоко. Ты противнику не виден, и это хорошо, но и собственные глаза в бездействии — это уже плохо. Впрочем, когда всходишь на пригорок — веселее: не так прохватывает сырость, как в низине. А главное, это я тут же заметил, где местность повыше — туман отслаивается от земли. Заглянешь под него, как под дырявое одеяло, — и кое-что уже видать. От пригорка к пригорку, держа перед собой планшет и нацеливаясь через визирную линейку вдаль, я и начал глазомерную съемку местности. Приходилось приседать, а то и ложиться на землю — извозился весь, но с этим на рекогносцировке считаться не приходится.

Увлечшись делом, я и не заметил, что туман поредел. Вдруг бабахнуло над головой — да так, что в ушах зазвенело и перехватило дыхание. Но миг — и напряжение разрядилось: надо мной — крутое белое облачко с цыплячьей желтизной. «Шрапнель», — сказал я себе, радуясь, что цел остался. Я знал приметы шрапнельного снаряда: лопнув в воздухе, он выбрасывает сноп в сотню пуль, но не вниз, а вперед, и только там, на пространстве обширного эллипса, пули ударят в землю.

Знал приметы, да от неожиданности сердце екнуло. Привычки еще нет — впервые я попал в места, где непосредственно идет война.

Продолжаю работу, но стал осторожнее. Удивило то, что немцы из пушки и раз, и два, и три ударили по мне, отдельному человеку. Не поскупились на снаряды. А у нас, то, сам видел на батарее: в действии одна пушка из четырех, остальные в чехлах. Снаряды на строгом учете у командира батареи. Артиллеристы коротают время за префрансом.

Ползал я, продолжая съемку, ползал — да чуть в яму не свалился. Едва успел отпрянуть... «Да это окоп... Чей же?» На двухверстке, которая у меня с собой, ничего не обозначено. Вынул револьвер, держу наготове, прислушиваясь, что там в окопе... Начинаю различать... Матюгнулся кто-то. Счастливый случай — наши!

Лежу, удобно опершись о тыльный валик. Интересно посмотреть передовой окоп, как он есть, не в учебнике. Вижу — мелковат, до полного профиля не доведен, только для стрельбы со дна, но оборудован чистенько: нигде не завален, одет внутри жердями. Есть ниши для боеприпасов и для солдатской утвари. Окоп размером на взвод,

значит, хозяином здесь унтер-офицер. Видать, к солдатам внимателен.

Пока я начертание окопа переносил на планшет, послышалось пение — здесь же, в окопе, только за траверсом, завели что-то церковное... Любопытно. Не вставая, чтобы опять не сделаться мишенью для немцев, я ползком передвинулся вдоль валика и увидел: вот они, певцы. Бородастые пожилые солдаты, держа фуражки по правилу «на молитву» — в левой полусогнутой руке, поют и крестятся, истово закатывая глаза к небу. Хор уже сладился, а ведь поглядеть — старики. Иные совсем лысые, у других крупные глубокие морщины или худоба старости...

Сосредоточенные на молитве, люди меня не замечали, а я сразу же обратил внимание на неряшливость в одежде солдат. Странно: окоп аккуратный, а люди одеты плохо. Гимнастерки грязные, видать, давно не стираны, задубели даже — и ни одной целой: то в дырах, то с лоскутками оторвавшихся заплат. Подпоясаны кто чем: у одного — форменный ремень, у другого — веревка, у третьего — обрывок телефонного провода... Портки и того хуже. Обуты солдаты на босу ногу в «американки» без шнурков.

«Что же это такое? — подумал я, озадаченный. — Говорим: «Доблестный русский солдат», а люди в рваньё!» Пришли на ум разговоры о темных проделках интендантов... Но мне плевать на интенданта. Я вижу перед собой солдата. Оторвалась пуговица — пришей новую. Иголка с ниткой у тебя в фуражке. Протерлась дыра на локте — поставь заплату. Вот как поступает исправный солдат. Пример — мои саперы во взводе. А здесь, среди пехотинцев, каждый будто нарочно старается выглядеть поплоче, побезобразнее... И в рачительности здешнего унтер-офицера я уже усомнился.

Но вот на фуражке ближайшего ко мне бородача замечаю не только солдатскую кокарду. Повыше кокарды, на тулье, блеснул большой латунный крест. Ага, новый солдатский знак. Мне довелось видеть его в батальоне. Начальник вещевого довольствия приносил, показывал любопытствующим. Крест из-под штампа, и на всех четырех его крыльях выбито: «За веру — царя — и — отечество». Бляха обозначала, что это ратник, то есть человек, когда-то бывший солдатом. С горькой иронией ратникам дали на фронте прозвище «крестonosцы». В канцеляриях воинских начальников, которые ведали мобилизацией, ратников подразделяли на разряды, и эти, которых я вижу в окопе, похоже было, разряда самого последнего — после

них в деревне хоть шаром покати: ветхие старцы на печи, женщины да дети... Значит, некому уже и хлебом кормить Россию...

Так я размышлял — и тут же пугался своих мыслей. «Но, быть может, это опытные, стойкие солдаты? — поспешил я найти оправдание присутствию бородачей в окопе. — Воевали, конечно, в русско-японскую (когда мы были позорно биты); иные, возможно, ходили еще на приступ турецких крепостей при Скобелеве... Но это же дремучее прошлое — и вооружение, и законы войны, конечно, изменились!»

Нет, не вижу оправдания разорению деревни. Словно мало в стране молодых. Да прикажи хоть мне — и я только в Питере набрал бы не одну дивизию здоровенных молодцов. Из дезертиров. Их и ловить не надо — все на виду: слоняются по Невскому, кусят в ресторанах. Это сынки богатых родителей — помещиков, купцов, фабрикантов, крупных чиновников. Папаши тайком откупили их от солдатчины и определили на местечки, где пули не летают. Это были организации, в изобилии возникшие в войну, например «Союз городов», «Союз земств» и тому подобные союзы и комитеты. Все они поначалу намеревались облегчить участь солдат в окопе. Казна одевает солдат, обувает, кормит, а общественная организация, мол, сверх порции и мяса ему добавит, а в кашу — маслица, да и портянки, мол, лишние окопнику не помешают, особенно зимой, и фуфайка, и одеяло.

Однако среди благонамеренных деятелей союзов оказались люди бесчестные. Под видом помощи солдату стали сбывать в армию гнилое сукно, зацветшую крупу, протухшие мясо и рыбу, наживая миллионы.

Этих господ в военной форме в насмешку прозвали земгусарами. Самоуверенные, наглые, они, добившись права носить погоны наподобие офицерских, проходу не давали солдатам на улице, требуя, чтобы те отдавали им честь. Комендант города журил земгусаров за самоуправство, а что толку? Богатей всегда прав.

Вот этих субчиков я бы и повымел из ресторанов да пивных. Мол: «В руках у тебя кий — клади его на бильярд, получай винтовку!» Или: «Сидишь за бутылкой шампанского — встать! Вот тебе граната «бутылка» — и марш на фронт!»

Негодую, возмущаюсь... Но никто же не пошлет меня выловить мордастых дезертиров хотя бы в Питере. Видать, устройство мира — не моего ума дело...

...А бородачи в окопе поют и поют. Я неверующий, еще мальчишкой разругался с богом начисто, но послушать складное пение всегда приятно.

Перед молящимися — «иконостас». К жердям приколоты бумажные иконки размером с почтовую открытку. На них лик Христа либо богоматери, святителя Николы и других угодников. Это нарядные картинки под лаком. Говорили, что иконки доставляют в действующую армию как подарок императрицы солдатам: чтобы воевали усерднее, с молитвой на устах.

Кое у кого из бородачей в руках затеплились восковые свечи. Еще торжественнее стало в окопе. Иные падали на колени, клали земные поклоны. Голоса окрепли, моление шло уже по полному чину.

А вот и начальство. Из-за траверса окопа вышел унтер-офицер и остановился, чем-то озадаченный. Грудь в георгиевских крестах. Я вгляделся: два серебряных, третий золотой. Вот он, доблестный русский солдат! На душе повеселело... Одет человек, в полную противоположность ратникам, не кое-как, а с тщанием. Даже выгоревшая на солнце гимнастерка сидела на его ладной фигуре без морщинки, туго подпоясанная ремнем с начищенной до жара бляхой. Брюки, сапоги — чистенькие, исправные — дополняли обмундирование. И весь вид его как бы говорил: даже живя в земле, ночуя в норах, можно соблюдать себя, было бы желание.

И усы мне понравились: были с надломом у краев рта и лихо закручены кверху. Любовался я геройским унтер-офицером, а сознание отравляла мысль: «Много ли вас, голубчики, уцелело за годы войны? То-то пыхтим да кряхтим теперь, не можем немца одолеть...»

Облик доблестного воина я схватил за какие-нибудь секунды, а в рассказе получилось длинно... Но продолжаю. Внезапно появившись в окопе, унтер-офицер при виде молящихся гневно нахмурился. На бронзовом от загара лице его хищно сверкнули белые зубы. Я почувствовал: «Быть беде...» Но того, что произошло на деле, не в силах было предугадать никакое воображение...

Унтер-офицер кинулся на ратников.

— К атаке был приказ, — гремел он, — изготавиться к атаке! А вы что — прохлаждаться? Да? Прохлаждаться?.. — И он — р-раз! — одного по уху. Р-раз — другому в подвздошное место. Бил наотмашь, валил людей с ног, упавших пинал сапогами, топтал... А бородачи — ни зву-

ка протеста или упрека. Одни падают, другие продолжают петь.

Я опешил. Только что глядел, любуясь, на героя войны — и вдруг нет человека: передо мной взбесившийся каннибал.

Что делать?.. Вмешаться — но как? «Атака» — значит, всякий прочий посторонись.

Я не успел с решением, а унтер-офицер поразил меня еще больше. Растолкав тех, кто еще держался на ногах, он дотянулся до самодельного иконостаса и принялся сдергивать с жердей бумажные иконки. Он тут же разрывал их в клочки, помогая себе зубами, бросал под ноги и затапывал в землю... Не мое дело защищать религию — но люди, люди!.. Бородачи, до этого безропотно сносившие побои, взвыли. В ужасе они закрывали лица руками или отворачивались, только бы не видеть надругательства над своими святынями.

— Богохульник! — закричали. — Антихрист! Сатана! Да разразит тебя... — Голоса слились в вопль, страшный своим фанатизмом...

Унтер-офицер, попятившись, выхватил из кобуры наган.

Тут уже не помедлишь. Я вскочил.

— Прочь! — заорал я на унтер-офицера. — Прочь руки! Избивать солдат... Да как ты смеешь!

О, с каким наслаждением я врезал в глаза озверевшему унтеру это «ты»!

Окрик произвел впечатление. Унтер съежился весь, не поняв, откуда прогремел обличительный голос. А увидев над краем окопа меня, незнакомого офицера, с виноватым видом козырнул.

— Под суд пойдете, — строго объявил я. — За рукоприкладство!

Унтер-офицер сосредоточенно наморщил лоб, словно пытался проникнуть в смысл мною сказанного. И вдруг расхохотался:

— Дошло, вашбродь, дошло! Значитца, спасибочки, сегодня меня еще не убьют? Под суд же надо идти!..

Умыл меня, как говорится. Потом:

— А вы бы, вашбродь, ротному на меня пожаловались, нашему поручику! Он недалече, у своей землянки к атаке приготовления делает... Рад будет гостю! — с откровенной издевкой добавил унтер. Потом злобно глянул на меня и отвернулся к своему жалкому воинству.



— В ружье! — сдавленным от ярости голосом отдал команду, и ратники, суетясь, разобрали винтовки.

— Патрончик бы, господин унтерфцер, а то стрéлить нечем. . .

Унтер повернулся к нишам для боеприпасов, сунул руку в одну, сунул в другую. . .

— Полу-чай! — И он пнул ногой вывалившуюся цинку. В ней — ни патрона.

Усмехнулся:

— Пуля, братец ты мой, дура, да и стрелок ты прошлогодний. . . — И тут же повернулся ко мне. Мое присутствие явно раздражало унтера. — А вы бы, вашбродь, не стояли каланчой. Здесь пчелки летают. Как бы не жальнула, поберегитесь.

Это прозвучало насмешкой, как вызов неокопному жителю. Передо мной был воин, привыкший чуть ли не повседневно играть со смертью и оставаться в выигрыше. И, естественно, он презирал тех, кто не попадал в эту горячую игру.

А вражеские пули и в самом деле давали о себе знать. «Черк!» — в воздухе. «Черк!» Иные вдруг принимались злобно гудеть по-шмелиному. Это, догадался я, рикошеты: ударит пуля о что-нибудь твердое — вокруг полно камней, — отскочит в сторону и пошла вибрировать, оттого и густеет звук. . .

Не случись унтера, возможно, я и «поберегся» бы, то есть распластался бы на земле. Но престиж офицера — я нашел в себе силы выдержать встречу с «пчелками», и, разумеется, с поднятой головой.

Между тем атака близилась. Вспарывая воздух, стремительно пронесся в сторону немцев снаряд, и лишь после этого докатился с батареи звук пушечного выстрела. Заговорили пушки. . . По рассказам бывалых военных, артиллерийская подготовка, открывая бой, всегда заключает в себе нечто величественное. Я быстро нацелил бинокль и увидел вдалеке как бы из воздуха родившийся крутой белый клубок. «Шрапнель! — узнал я разрыв снаряда. — Отлично! Теперь уже немцам по головам!»

Еще выстрел — и второе облачко, подальше. Третий раз: «Бум-м. . .» — не иначе как угадали. . . Попадание! Хотелось закричать: «Так их, еще огня, еще! . .» Но на этом и кончилась артподготовка. . . Разволновавшись, я сел на камешек, закурил. «Какая досада, ведь не расчистили же путь нашей пехоте, зряшные выстрелы!»

Тут я услышал сигнальные трели офицерского свистка.

Унтер-офицер востепенел, прихлопнул фуражку на голову, выругался — на этот раз без злобы, как бы только для прочистки голоса.

— Слуша-ай... И запоминай! В атаке приклад держи под локтем, штык жалом вперед, колоть в грудь или в брюхо... Понятно? — И он поддел за ремень винтовку для себя. — Ну, пехтура, с богом!

Ратники, задрожав, суматошно крестились. Гляжу — и сам унтер истово осеняет себя крестным знамением. Вдобавок к этому он извлек через ворот нательный крестик на шнурке, поцеловал и бережно заправил обратно на грудь... Вот и пойми человека — и безбожник, и верующий одновременно!

— Впереед! — горланил уже унтер. — Подбирай зады, подбирай!... — И прикладом своей винтовки, будто лопатой, принялся выгребать ратников из окопа. Но люди упреждали его усилия: с проворством, какого трудно было ожидать от пожилых крестьян, ратники покидали окоп. Только потрескивала под их ногами жердевая стенка. Вылезет бородач на бруствер и поспешно обернется, чтобы подать руку менее ловкому товарищу. А снизу уже другой подсаживает следующего...

Спешили как на праздник. И это было загадкой. «Одно из двух, — рассуждал я, — или люди не понимают, что впереди гибель. Или... Жуткая логика: оторванные от родимой земли, от жены и детей, эти люди извелись на царевой службе до последних человеческих возможностей... И радуются, что наступает их мукам конец...»

Гляжу в бинокль. Камни, кустарники... наших атакующих уже не видать. Вдруг на немецкой стороне будто гром зарокотал среди бела дня. И разразился снегопадом... Шрапнель — сколько же ее там, в воздухе...

«Только бы вытерпеть этот ужас, только бы вытерпеть», — бормотал я, продолжая сидеть, обхватив голову руками.

Через полчаса, когда бой уже утих, ко мне подошел какой-то непонятный человек.

— Прапорщик, вы, кажется, ранены?

Человек был в солдатском, и я не сразу разглядел в подошедшем офицера.

Ага, на солдатских погонах нарисованы химическим карандашом звездочки — по три на каждом.

— Господин поручик! — козырнул я, вставая, и представился.

Офицер выслушал меня, кивнул — и поморщился, види-

мо, от боли: шея и половина головы у него были забинтованы, сквозь белую марлю пятнами проступала свежая кровь. Помолчал с гримасой на лице, потом через силу улыбнулся:

— Спасибо, что пришли. Предупрежден о вашей рекогносцировке. Запасные позиции в дивизии только намечены. Надо их развивать инженерно. Иначе немцы тут нас сковырнут, как прыщ.

Поручик, знакомясь, подал мне руку, и я догадался, что это командир роты пехотного полка. Именно с его унтер-офицером у меня произошло столкновение, но о мордобитии я умолчал — из чувства брезгливости.

А про атаку, которой я оказался свидетелем, и заговорить было страшно. Все же любопытство взяло верх, но поручик настоятельно отводил мои вопросы: казалось, он считает достойными внимания только дополнительные саперные работы, о которых упомянул.

— В штабах не часто набираются ума, чтобы помочь нам, окопникам, против немцев, — усмехнулся пехотинец с горечью. — Пока перед нами стояли австрияки — еще можно было держаться нашими силами и на плохих позициях. А немецкий солдат — это серьезный господин...

— Конечно... конечно... — бормотал я, всякое мгновение готовый перебить поручика: узнать о результатах сражения. Но он не давался. Продолжал свое:

— Мы, господин войсковой инженер, хоть и похожи на медведей в берлоге, а спячке не предаемся. Я вот схему нацарапал — кое-какие мыслишки, как усилить оборону полка... Желательно взглянуть?

И поручик, не наклоняя головы, нащупал у себя на боку полевую сумку; не глядя, порылся в ней и потащил листочек бумаги, но невзначай извлек колодку георгиевских крестов: два серебряных, третий — золотой. Да ведь это того самого унтер-офицера кресты...

«Убит!..» — понял я и в то же мгновение будто наяву увидел унтер-офицера, услышал его насмешливое: «Спасибочки, вашбродь, значитца, сегодня меня еще не убьют? Под суд же надо идти!»

И у меня вырвалось произвольное:

— А может быть, он еще поправится?.. Если ранен...

Поручик нахмурился и не ответил. Подбросил колодку крестов на ладони, словно прикидывая, что она весит.

— Жене пошлем, в утешение... — И голос у офицера дрогнул, когда он прошептал едва слышно: — Эх, Тимоша, Тимоша... Меня уберет — а сам...

Невзначай, но я как бы подслушал признание, мне не предназначенное. Сказал — только бы не молчать:

— А как его фамилия?

Пехотинец холодно:

— А какая разница? Зачем это вам?

Я честно признался:

— Сам не знаю зачем...

— В таком случае,— усмехнулся офицер моему просто-душию,— извольте: Ярочкин была его фамилия. Ярочкин Тимофей Мироныч. Из крестьян Тверской губернии.

— Ярочкин, ярочка...— повторил я вслух и подумал: «Кажется, в деревнях так ласкают ягненка... И в самом звучании что-то пастушеское, свирельное, светлое...» Я знал себя: мог наумиляться до слез — и поспешил прекратить беседу.

Вижу, и поручик устал от меня: побледнел, лицо покрылось потом... Ведь раненый!

Он подал мне руку, прощаясь, но я довел его до землянки. Денщик, готовивший ротному обед, кинулся мне на помощь, и мы вдвоем уложили ослабевшего человека на постель.

Отдышавшись, поручик сказал:

— Не считите за попрошайничество... Но без помощи саперов мы сегодня пропадем... Жарища-то какая. А захоронить надо без малого полторы сотни трупов...

— Это «крестоносцы?» — И я почувствовал, что цепенею... Каких-нибудь час-полтора назад в окопе были люди — разговаривали, пели, прося милости у бога... И вот окоп пуст, а ночью саперы выроют где-то впереди другой, быть может, такой же, и сгребут в него то, что было людьми, и зароят... О, каким тоскливым стало все вокруг... Как видно, с языка у меня сорвалось что-то резкое, потому что поручик грозой глянул на меня и приказал сесть.

Денщик подставил табурет. Я плюхнулся на него.

Поручик долго молчал, потом заговорил, глядя в потолок:

— Желаю вам только добра, милейший. Примите совет старшего товарища. Горячий веник в бане хорош, а горячий человек всюду плох. Далее, глаза у вас не для того, чтобы все видеть, и уши не для того, чтобы все слышать. Коль скоро вы офицер, то вправе знать лишь то, что дозволяет начальство. А о сегодняшнем забудьте. Иначе наживете неприятностей.

Но я не в силах был унять себя — говорил и говорил...

Поручик болезненно поморщился:

— Ну, перестаньте же докучать мне. Хватит уже.

Он закрыл глаза, отдыхая, потом с помощью денщика приподнялся на подушке:

— Возвращаюсь тем не менее к своей покорнейшей просьбе: пришлите на ночь хотя бы роту саперов с надлежащим инструментом. Вернутся полным счетом. Немцы стрельбу не откроют, поймут — санитарное мероприятие.

Я шагнул через порог землянки. Сердце словно омертвело в груди. Подбадриваю себя: «Только бы до конца добраться, а там ветерок обвеет голову. . .»

— А эскизик-то мой? — напомнил поручик, и выскочивший следом денщик сунул мне исписанный листок с чертежиком. Я убрал его в сумку.

Во взводе, куда, усталый, разбитый, я возвратился с рекогносцировки, встретил меня сапер Ребров. Человек шахтерской закалки, он был неутомим: даже на отдыхе всегда находил себе дело. Затеял, к примеру, подарить мне охотничье ружье собственной конструкции и всякую свободную минуту слесарит.

Увидев меня, старый солдат отошел от верстака и, медленно снимая фартук, уставился мне в глаза.

— Чего-то ты сам не свой, ваше благородие. С передовой, вижу, воротился благополучно. Или душу тряхнуло?

Этот солдат, который в полтора раза старше меня, живет народной мудростью, и я люблю его обстоятельные рассуждения о жизни, о службе, прислушиваюсь и к его советам. . . Короче, я рассказал про пережитый мной кошмар. Ребров задумался, вздохнул.

— Эх, життя, життя. . . — Помолчал и добавил: — Слышал я по солдатской нашей почте про карусель эту. . . Да все не верилось. А вижу — правда. . . — И он рассказал про то, о чем идет солдатская молва.

Вот суть рассказа. Пригонят партию ратников в окопы, а обмундировка им — со вчерашних мертвецов. Назавтра и эти погибают в атаке от немецкого огня. Но, прежде чем зарыть, их вытряхивают из портков и гимнастеров. Готова обмундировка для следующей маршевой роты. . . Так и крутится карусель, пока форменная одежда на людях не истлеет. И казне, мол, экономия, да и к рукам интендантов кое-что прилипает из новеньких комплектов. . .

Мурашки побежали у меня по телу. . .

А Ребров:

— Карусель, она и есть карусель, ваше благородие. . . Да вы не расстраивайтесь! — И сапер опять надел фар-

тук.— Буры лучше достаньте. Ствол-то запаять требуется с казенной части. Предоставите мне буру — на завтра и ружье готово. А охота в здешних местах, видать, знатная... — Он улыбнулся, обнажив крепкие зубы.— Так что ни пуха вам ни пера!

Развлек меня солдат, спасибо ему. А к ночи трепанула меня лихорадка. Позвали доктора. Этот пожилой человек, участник русско-японской войны, многое повидал на полях Маньчжурии, но воспоминаниями с нами, молодежью, делиться не желает. Будто зарок молчания дал. Осмотрел он меня, выслушал — и первое слово: «Что с вами случилось — не спрашиваю. Военные ваши дела меня, врача, не касаются. Примите валерианы». И с этим удалился.

«Вот такому живется — слаще не надо,— подумал я.— Полеживай да почитывай романы. А голову врача от случайного снаряда саперы укроют...»

Я лежал в жару. Мысли путались... Вспомнил о рекогносцировке. Она не удалась, да и дело это не одного дня. Кое-какие данные о рельефе местности на участке одного из полков я все же представил; не забыл приложить и эскизик укреплений, составленный пехотным поручиком... Офицер этот мне и понравился и не понравился. Культурный, воспитанный, в целом — симпатяга. А сказал глупость: если глаза не для того, чтобы видеть, а уши не для того, чтобы слышать, то что же — человеку превратиться в крота? Но кроту зрение и в самом деле не требуется, а слух у него ого какой!..

Захотелось пить, и денщик, подавая воду, шепнул: «А Ребров с ротой ушедши, лом взял да лопату...» Да, да, ведь саперы как раз сейчас могилы роют в каменистой почве. И я подумал эгоистически: «Лучше лихорадка, чем быть там... хоронить да еще раздевать перед ямой...»

Не оставлял меня в покое и Ярочкин. Но ведь с мертвым не поговоришь.

Задумался я... Что вообще представляет собой унтер-офицер в нашей армии?

По рангу — самый маленький начальничек, а на деле во многом вершитель армейской жизни, тем более что офицеры избегают общения с солдатами. В пехоте он лучший стрелок, в кавалерии — лихой рубака, в саперах — знаток ремесел. А солдата ведь учат на примере, показом. Кстати, он и объясняется с рядовым лучше, чем офицер: оба из простолюдинов, их сближает язык. Словом, для рядового солдата нет в армии лица главнее, чем «господин унтерфцер».

Однако унтер-офицер не только знаток и мастер своего дела. Прежде всего он верный, убежденный слуга царю. В этом его воспитывают, формируют его сознание в специальной школе — «учебной команде». Он, как правило, крестьянский сын, человек верующий, живет «в страхе божием». Это облегчает труды воспитателей: попа и специально подготовленных офицеров. Под их воздействием будущий унтер проникается убеждением в справедливости существующего строя. А коли царь правит Россией с соизволения всевышнего («помазанник божий»), то и повиноваться каждый обязан царю как самому богу.

Вот постоянно читается молитва: «Спаси, господи, люди твоя». Здесь в уста молящихся вложен призыв: «...победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу...» «Победы!» — в учебной команде это главная статья воспитания будущего унтер-офицера. «Победы!» — и человек уже считает, что так сама жизнь устроена: Россия богом предназначена побеждать других, захватывать чужие земли, грабить народы... Вот и готов, созрел унтер-офицер: отличный, умелый воин, он ведет солдат сокрушать врага, добывать царю победу.

Таков, надо думать, и Ярочкин. Точнее, таким он был, пока не обнаружил, что при всей его доблести в бою — жизнь для него обернулась обманом. За два года с лишком Германия не разбита, наоборот — грозной тучей висит над Россией. Солдат, которых Ярочкин обучал, давно нет в живых, даже могил не найти — растоптаны. А в маршевых ротах, которые иногда приходят на пополнение полка, обидно глядеть — неумелое мужичье, пушечное мясо. Винтовки, худо-бедно, еще есть — не все переломаны или износились, — а стрелять нечем: цинка патронов в роте — богатство; ротный под голову ее кладет, чтобы не растащили. Пулемет в роте один, да и тот словно умом тронулся: когда надо — не стреляет или своих калечит. От батарейцев поддержки при атаке не дождешься...

Кто же он такой, Ярочкин? Императорской российской армии старший унтер-офицер и кавалер? Или мученик — но за какие же прегрешения, господи?.. Выпала ему черная доля быть мясником. На убой гоняет — только не скот, а людей. Мясник...

И вот он, унтер-офицер Ярочкин, заблудший, истрадавший, на моих глазах взбунтовался против бога, в которого верит, принялся уничтожать и осквернять иконы. Так велико было охватившее человека отчаяние, что самая страшная кара мстительного бога, грозящая отступнику

веры, не испугала его; но господь, увь, не разразил его на месте. Тогда он уже в бою, в последний прощальный раз, блеснул солдатской доблестью: заслонил своим телом от немецкой пули командира роты, и можно быть уверенным — умер со счастливой улыбкой. . .

Треплет меня лихорадка, и в бреду, что ли, возникает передо мной допытчик. Слышу его рассуждения. Говорит:

— Случай с Ярочкиным я бы обобщил: в судьбе его отразился неизбежный крах царской армии. . . Но позволь вопрос тебе, прапорщик: окажись ты на месте этого унтер-офицера, повел бы ты несчастных крестьян на убой?

— Повел бы.

— Во имя призрачной победы?

— Нет,— сказал я.— На мне воинская присяга офицера. Повел бы людей на немецкие пушки и пулеметы, чтобы вместе с ними сложить голову.

Мнимый собеседник с любопытством:

— Трагическая безысходность?

— Ну, зачем так мрачно? . . Заказал бы я полковую музыку, развеселил «крестоносцев», кто-нибудь из них, может, и камаринскую сплясал бы, и мы дружно протопали бы последние шаги нашей жизни. . .

Собеседник рассмеялся:

— Шутить изволите. . . А если всерьез?

— Шучу. С издевкой над собой. А всерьез. . . — И тут я очнулся. На сердце тоска, хоть плачь. Затосковал я по Забалканскому, 9, по лекциям, студенческой чертежке, по своей рихтеровской готовальне. . . Затосковал по семинарам Рынина (впоследствии крупного ученого, энтузиаста воздухоплавания). У него я решал задачи по начертательной геометрии, восторгаясь возможностью (я немного рисовал) не только при солнце видеть и класть тени, а хоть в самое ненастье математически точно расположить их — и на фасаде здания, и на лице и фигуре мраморной статуи в Летнем саду. . . Замечательная эта графическая наука изобретена в прошлом веке французом Монжем, и содержание ее широко: теория теней — лишь один из разделов начертательной геометрии, но именно этот раздел раньше всего пленил меня. . .

Да что говорить — живу мыслями о Петрограде. Сяду работать над военной картой, задумаюсь, глядь — а на полях уже набросок шарообразного фонаря. Да это же фонарь с Банковского мостика, узнаю я, того, с крылатыми львами, что на Екатерининском канале! Проектировал тень на нем для зачета у Рынина. . .



А призрачный собеседник уже опять тут как тут:

— Понимаю, понимаю. В Николаевском инженерном был изготовлен столичный офицерик — ладная фарфоровая фигурка. Однако при обжиге, сиречь при столкновении с буднями войны, на фарфоре появились трещины. А что будет дальше — фигурка развалится?.. Не так ли?

Я возмущен. Кидаю в призрак подушкой, и он исчезает. Успокаиваясь, начинаю удивляться: чего только не принесут бредовые мысли... Ведь это я сам вообразил себя фарфоровой фигуркой с трещиной. А как стало мутно... Но если уж брать аналогию, то уместно сказать: недолго продержался в батальоне фарфоровый офицерик — вскоре его совсем раскокали...

Расскажу про солдата Ибрагима. Немолодой уже сапер был призван из запаса. Редкого мастерства плотник. Едва в столицах открывался по весне строительный сезон, как к Ибрагиму, в его татарскую деревушку Муллы, где-то близ Елабуги, спешили гонцы от подрядчиков. Ведь как дело обстояло: подрядишь дельного мастера — к нему в артель уже не прибьется шушера. И в Ибрагиме не ошибались. Как прослышат в плотницком мире, что Ибрагим, к примеру, подрядился ныне работать в Москве у такого-то подрядчика, — шушера отваливает в сторонку, а идут в Ибрагимову артель плотники, знающие работу, опытные: из ярославских мест, из тамбовских, ивановских и костромских.

И вот сапера Ибрагима в батальоне, где я офицером, подвергли порке. Страшное, постыдное наказание... Даже читать о палочной дисциплине прошлого века бывало не вмоготу. И в училище твердили нам, что физическое воздействие на солдата в любой форме — позор для офицера, не говоря о том, что оно строго карается законом. И тем не менее порка... Экзекуцию провели тайно, ночью, руками прохвоста офицера и безгласных исполнителей-солдат.

Как же открылось, что Ибрагима высекли? Через фельдшера и санитаров солдатского околотка. Ибрагим, отлежавшись после порки, вышел с топором к кухне, положил правую руку на деревянную колоду и одним ударом отхватил кисть руки. После этого, обливаясь кровью, дотащился до околотка и кинул отрубленное на стол фельдшеру: «Вот вам, собаки, доедайте меня!» Татарин был страшен. Сперва все разбежались, потом, опомнившись, схватили Ибрагима, силком перетянули культю резиновым

жгутом и наложили бинт, чтобы человек не изощел кровью. По приказанию командира батальона его посадили под арест. Через сутки, по приговору военно-полевого суда, Ибрагима расстреляли за членовредительство.

Все это взбудоражило батальон. Стало известно, что гибель Ибрагима — на совести его ротного командира, картежника и пьяницы. Этот господин заказал плотнику для личного обихода какой-то рундучок. Ибрагим, как всегда, взялся за дело неспешно, со всем старанием. А тот с перепою, страдая головой, начал к человеку придирааться. Ляпнул: «Ни черта ты, ашаш — свиное ухо, не умеешь!» Ибрагим побледнел, затрясся, собрал заготовки в охапку и выбросил прочь. Ротный ему кулаком в зубы. И тут же, разъярившись, кинулся к полковнику, командиру батальона. Подлая душонка, не постеснялся, наврал на солдата, что тот взбунтовался. Полковник, он у нас был скор на руку, тут же распорядился: примерного солдата наказать примерно.

Кое-кто из офицеров грязненько полюбопытствовал: как, мол, произошла экзекуция, чем били?.. Я сторонился этих людей. Подошел ко мне Ребров. В руках поломанные ножницы для резки колючей проволоки, а они громоздкие, видны издали. Но заговорил не о починке ножниц, шепнул: — Сказывают, Ибрагима-то не розгами пороли, которые в логу с вечера нарубили. А похлестче — трассировочным шнуром...

Я перебил шепот нарочито громким замечанием:

— Что вы мне хлам суете, Ребров? (Тыфу, сорвался на «вы»...) Сходи в кузню. Если ножницы можно починить — починят.

Трассировочный шнур — это прочная веревка, на которую через определенные расстояния (четверть аршина, пол-аршина) напрессованы медяшки; употребляется для трассировки, то есть для обозначения на местности будущих окопов и для замера выполненных земляных работ. Теперь, как проведаль Ребров, трассировочному шнуру нашли дополнительное применение...

Офицерское собрание постановило отчислить (попросту выгнать) пьянчугу из батальона за издевательство над солдатом и поклев на него. О решении составили протокол, но полковник не внял голосу офицеров. Представленный ему на утверждение протокол скомкал и бросил в печку. И еще позвал офицеров — предложил поглядеть, как документ сгорает...

Остается сказать, что пороть солдат распорядился вер-

ховный главнокомандующий, дядя царя, его высочество Николай Николаевич. Как полководец этот господин обнаружил полнейшую беспомощность. Но его обеспокоило, что из-за длительной войны дисциплина в армии расшаталась настолько, что военно-полевые суды едва успевают проворачивать дела о расстрелах солдат. Как быть? Расстрелянного солдата обратно в строй не поставишь — а кому воевать? Окопы пустеют. И голову его высочества осенила мысль: подлежащих расстрелу солдат не расстреливать, а пороть, после чего возвращать в строй. Приказ был разослан как особо секретный только в собственные руки командирам полков, отдельных саперных батальонов и приравненных им воинских частей. Своей находчивостью Николай Николаевич очень гордился. Иные солдаты, не вынеся позора, после порки кончали самоубийством. Но об этом никто никому не докладывал, как о происшествиях, не заслуживающих внимания.

Командир саперного батальона Фалин был человек нелюдимый, желчный, и когда свирепел, то, как говорится, хоть ноги уноси. После гибели Ибрагима я жил в постоянном страхе. Внутри холодело при мысли, что полковник может указать на меня перстом и распорядиться: «На этот раз экзекуцию выполнит прапорщик. Не скажу, что он мне подозрителен, сей бывший студент. Но хочу удостовериться — выполнит ли мой приказ с достоинством, присущим офицеру?»

Я избегал показываться на глаза полковнику, был бы рад, если бы он вообще забыл о моем существовании. По счастью, у саперного офицера немало дел вне батальона, хотя бы те же рекогносцировки, участие в качестве сведущего лица в оборонительных работах, когда за них берется пехота, и так далее.

Но повезло мне так, как и во сне не снилось. Потребовались саперы для усиления каких-то работ в Карпатах, и я попал туда в составе своей роты.

Интересно было увидеть Карпатские горы. Знал я наши Уральские, сурово величественные. У главного перевала, через который идут поезда, столб с надписью: «Европа — Азия». Как просто: обыкновенный деревянный столб! Пассажиры заранее собираются у окон, чтобы не пропустить обозначенный столбом географический рубеж. Урал и Зауралье... Старинные, заложенные еще при Петре Первом заводы из местной руды выплавляют чугуны; из чугуна по-

лучают сталь, а из стали катают рельсы, балки. Знамениты и художественные изделия заводского Урала — например, каслинские скульптуры из чугуна. На реках скрипят драги, вонзаясь ковшами в придонную целину, а из грязи, поднимаемой на поверхность, тут же извлекают крупинки золота. А какие камни-самоцветы рождаются там, в недрах гор! Все это я перевидал сам, будучи еще школьником.

Карпаты — иное. Во всяком случае, та часть этой обширной горной страны, которую немецко-австрийские и наши войска, столкнувшись, превратили в театр военных действий. На перекрестках дорог здесь всюду высокие кресты с католическими распятиями. Редко кто из прохожих не остановится перед фигуркой Христа в терновом венце, не опустится на колени, не сложит молитвенно руки. Иной раз, проезжая верхом, минешь перекресток, обернешься издали, а перед крестом все еще скорбная фигура — обычно крестьянка в черном, сухая и неподвижная, как му-мия. . .

Люди исполнены здесь веры строгой.

Работал наш батальон пока что над сооружениями запасных оборонительных позиций; звуки артиллерийских выстрелов долетали издалека, приглушенными, — и была возможность и урок выполнить, и природой полюбоваться. . . Какие могучие дубы, горные сосны! Деревья словно шатер сплели, оберегая тебя от острых в здешних местах лучей солнца, а ты со своим взводом солдат, взрывая скалы, обращаешь в прах эти девственные уголки природы.

Шевельнется в тебе что-то совестливое, опустишь безвольно чертежник. Задумаешься, пытаешься понять себя, а кто-нибудь из саперов тихонько покажет тебе на чашу леса. Глянешь, а на тебя уставился молодой олень. Черные губы и ноздри на коричневой мордочке чутко шевелятся, в огромных глазах и страх, и любопытство. А солдат уже вскинул винтовку. «Не надо!» Не даю сделать выстрел, отвожу ружье и радуюсь, что олень беззвучно исчез из виду. . .

Студеный горный ручеек. Как хорошо напиться из ладоней, смочить тяжелую от жары голову. . .

— Ваше благородие, а это можно? — И солдат вытаскивает из-под камня в ручье серебристую рыбину в красных крапинках.

— Ловите, — отвечаю, — ловите. . .

Пусть, думаю, солдаты полакомятся форелью — не всякий и едал этот деликатес.

Иной раз на пути наших фортификационных работ встречалась железная дорога. И колея, и рельсы против российских выглядели игрушечными. На предупредительную надпись на переездах «Уважайте на потяг!» («Берегись поезда!») саперы добродушно отзывались: «Уважаем, уважаем — не сковырнем невзначай вашу зализницу!»

Заглянул я к жителям этой горной страны, навязался гостем в гуцульскую хату. Русского офицера приняли добром, запросто. Усадили за семейный стол «вечерять». Стол был дощатый, выскобленный добела ножом и еще влажный от ковшика кипятка. Хозяйка опрокинула над столом сковороду, и из нее целиком выпала большая кукурузная лепешка. Свежая, еще фырчащая от жара, аппетитная. Вслед за этим на столе оказалась миска кислого молока. Я не знал, как за эти вкусные вещи приняться, и, чтобы не сделать неловкого движения, подождал, пока началась общая трапеза. Вслед за другими принялся отламывать пальцами куски, макать в миску — и в рот.

Пужинал на редкость вкусно. От предложения платы воздержался, почувствовав, что этим я обидел бы крестьянскую семью. Взамен подарил гуцулу коробку столичных папирос «Лаферм № 6», и он, искренне довольный, принялся попеременно курить то из своей традиционной трубки, то прикладываться к зажженной папиросе.

— Добре, добре, дякую. . .

— На здоровье,— отвечал я. Приятно, когда не остаешься у человека в долгу.

Точную географию места назвать уже не могу, забылось, но вижу мысленно реку Прут. Неширокая, глубокая и стремительная, она привлекала в знойные дни прохладой и хрустальной чистотой.

В районе реки Прут, в некотором отдалении от ее правого берега, пришлось уже основательно покопаться в земле.

Держались слухи, что здесь, на фланге русско-германского фронта, готовится наше наступление, которое должно завершить победой затянувшуюся и осточертевшую всем войну. А раз наступление, то, по законам военной грамоты, войска должны иметь за спиной инженерно оборудованные тыловые рубежи. Один из них и создавался близ реки Прут.

Ожидали, что штурмующие войска возглавит Алексей Алексеевич Брусилов, что для нас, саперов, строивших для

нужд операции укрепления, было особенно лестно. Генерал командовал нашей Восьмой армией. А главное — за Брусиловым утвердилось слава талантливого полководца, в войсках ему верили, его любили.

Жили мы, несколько младших офицеров, в брошенном владельцем доме, и отсюда каждый — кто верхом, кто на велосипеде — отправлялся поутру на свой рабочий участок. Солдаты стояли летним лагерем в палатках; леса и перелески делали лагерь неприметным для противника. И работали саперы на совесть — весь табельный инструмент блестел так, что его и чистить не приходилось: в полотно лопаты, казалось, видишь себя как в зеркале.

Копались мы в земле, копались, да, видно, что-то делали не так, как надо, потому что производителя работ вдруг убрали. Из штаба Брусилова прислали другого.

Первая встреча с новым инженером была для нас полна неожиданностей. Остановилась около нашего домика извозничья пролетка с солдатом на облучке. Экипаж выглядел неказисто: что-то на нем приколочено, что-то стянуто проволокой. Откидной кожаный верх, уложенный гармошкой позади узкого сиденья, был бурый, в заплатках. Когда седок, слезая, опустил ногу на ступеньку, экипаж накренился, и солдат на облучке, чтобы сохранить равновесие, поспешил отклониться в противоположную сторону.

Приезжий не вызвал особого интереса. Никто из нас, офицеров, в первую минуту его и не рассмотрел. Решили: опять какой-то интендант. При домике навалили горы колючей проволоки, нагромодили ящиков со скобами, чулан забили инструментом, и теперь нам досаждали интенданты — люди скрипучего характера, придиры, каждого подозревавшие в том, что мы чуть ли не проглатываем проволоку на манер шпагоглотателей. Само собой, эти ревизоры не пользовались у нас гостеприимством. Приехал, ну и приехал — копайся в своих штабелях. . .

Только глядим — на пороге отряхивает сапоги от пыли подполковник; погоны у него с саперными черными просветами, а повыше звезд перекрещенные топорики. . . Военный инженер!

Застигнутые врасплох и обманувшиеся непрезентабельным видом экипажа, мы несколько мгновений из разных углов нашей общей рабочей комнаты молча пялились на вошедшего. Потом кто-то заполошно гаркнул: «Смирно! Господа офицеры!» — и кинулся встречать подполковника рапортом.

Тот остановил рапортовавшего на полуслове и поспе-

шил протянуть ему руку. «Карбышев», — назвался подполковник.

— Карбышев... Карбышев... — говорил он каждому из нас, внимательно взглядывая в глаза, когда мы по очереди стали подходить к нему, чтобы представиться. Обычно начальствующее лицо, принимая подчиненных, не называет себя, до этого не снисходит. Называть себя обязан представляющийся, а так как начальник фамилию может и не запомнить, то, чтобы обратить на себя внимание, важно было позвончее щелкнуть каблуками. Иные на этом даже карьере делали...

Подполковник Карбышев, знакомясь с нами, то ли невзначай, то ли намеренно пренебрег ритуалом, и это нам, вчерашним студентам, не могло не понравиться: на память пришла обстановка аудиторий, где не только студент студента, но и профессор — хотя бы и первокурсника — называл уважительно коллегой.

Познакомились — и Карбышев, не входя в разговоры, шагнул к нашему совместному рабочему столу, попросил убрать чертежные доски и развернул на столе карту. Пригласил нас всмотреться в обозначения на карте, и каждый узнал свой строительный участок. Мы невольно переглянулись: «Когда же это он успел объездить многоверстную линию укреплений?» Никто из нас и не видел его на месте работ. Однако еще больше нас озадачили расставленные на карте вопросительные знаки: к установленной таблице военно-топографических символов они отнюдь не принадлежали.

Что же это такое? Новый инженер бракует нашу работу?.. У офицеров и лица вытянулись: столь многообещающе начатое знакомство, казалось, начинает омрачаться...

А Карбышев — как ни в чем не бывало:

— Садитесь, господа, садитесь!

Расселись вокруг стола — в степенном молчании, как на похоронах.

Карбышев был в поношенном армейском кителе и, быть может, поэтому не нацепил академического знака, который имел вид внушительного вензеля. А вот белый, наш — училищный, крестик у него на груди. Состоял крестик как бы из четырех ласточкиных хвостов. В центре его — ювелирное, накладного золота, изображение крепости с бастionsами.

Крестик у Карбышева — крестик и у меня на груди такой же. Однокашник! Я почувствовал к подполковнику то-

варищескую близость, и мне уже захотелось вникнуть в его объяснения: неспроста же он исчеркал карту вопросительными знаками!

Однако инженер упредил меня:

— А вы, прапорщик, что на это скажете?

Застигнутый врасплох, я не сразу понял, что происходит у стола. Куда девалась сковавшая было офицеров холодная замкнутость. Никто уже не сидел как вросший в стул, — люди вскакивали, тянулись к карте, и там, на ее поле с голубыми змейками рек и зелеными разливами лесов толкались и сталкивались между собой пальцы спорщиков. Шум поднялся в комнате, прорывалась уже и запальчивость в голосах, а подполковник сидел, откинувшись на спинку стула, раздумавшийся, улыбающийся, явно довольный развязанной им битвой у карты. В руке он держал карандаш — тупым концом книзу — и, следя за высказываниями, временами в знак одобрения той или иной мысли с силой ударял карандашом по столу, восклицая: «Именно так!» или: «Смелее формулируйте!»

Все это и в самом деле выглядело уже не как встреча подчиненных с начальником, а напоминало студенческий семинар.

— Так каково же ваше мнение? — опять повернулся он ко мне. А я только еще силился уловить нить спора.

— Разрешите, — говорю, — еще немного послушать. . .

А Карбышев нетерпеливо:

— Идите сюда!

Я пересел к подполковнику и тут из его уст услышал такое, что все в голове перемешалось. . . Полевая фортификация — эта фундаментальная наука, питавшая в Николаевском училище наши военно-инженерные взгляды, — эта наука вдруг подвергается сомнениям!

Я в испуге глядел на подполковника. Потом, несколько преодолев оцепенение, запротестовал.

— Пожалуйста, доводы? — стал подзадоривать Карбышев. — Ваши доводы?

И тут, сказав с апломбом несколько слов, я, к своему удивлению, растерял доводы и вынужден был уступить в споре. Последнее слово осталось за Карбышевым; глянув на меня с веселой улыбкой, он звонко ударил о стол карандашом.

Здесь хочется, насколько позволяет память, воспроизвести некоторые мысли, высказанные Карбышевым за этой беседой у карты; они взволновали нас, молодых офицеров, свежестью, смелостью, гибкостью анализа и выводов.



Стараюсь припомнить и характер речи Карбышева, меткие сопоставления, которые сложное тут же превращали в простое и понятное.

Карбышев сказал, что в огне текущей войны сгорели в существенной своей части и каноны полевой фортификации. Говоря это, он ввел в свою речь новые для нас, его слушателей, понятия: «опорный пункт», «узел сопротивления».

Карбышев растопырил пальцы.

— Представьте себе,— сказал он,— что каждый палец — солдат. Вот так, рядом, мы их и сажаем в окоп. Образуется шеренга, и тянем мы ее, тянем на много верст. Но шеренга хороша на параде... А здесь,— продолжал Карбышев,— на театре военных действий, при мощных огневых средствах, которыми характерна нынешняя война, оборона шеренгой не выдерживает удара, в чем мы на горьком опыте и убеждаемся.

Теперь Карбышев сжал пальцы в кулак. Сказал жестко:

— Ведь вот парадокс — любой мальчишка понимает, что защищаться следует не в растопырку, а кулаком! А мы, взрослые дяди, только перепачкавшись кровью тысяч и тысяч людей, доходим до этой премудрости.

В комнате затихли. Никто из нас не слышал таких обнаженных, ошеломляющих суждений о предмете фортификации... А Карбышев вновь схватил карандаш и решительно, даже, как показалось мне, с ожесточением принялся водить им по карте, очерчивая тут и там высоты, господствующие над местностью. Работая, говорил отрывисто: «Опорный пункт для взвода... Еще для взвода... Здесь расположим ротный гарнизон...» Положив на карту руку, как пианист на клавиши, он объединил группу высот и высоток как бы в аккорд. Сказал: «Узел сопротивления...»

Дальше, когда дело дошло до инженерных подробностей, мы увидели под карандашом Карбышева как бы серию небольших, из подручных материалов, окопов-крепостей — в бою самостоятельных и вместе с тем по-братски поддерживающих друг друга ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.

Карбышев опять помянул недобрым словом шеренгу, и сказанное им дальше особенно всех взволновало. Шереножные каноны, говорил он, утвердились во всем — и в фортификации, и в тактике обороны, и в наступлении. «По порядку номеров рассчитайсь! Направо равняйся!» — слы-

шим мы не только на плацу, но и в науке. Солдат обезличен, он не мыслящий воин, а номер такой-то...

Карбышев помолчал.

— А ведь он богатырь, русский солдат... — продолжал он, как бы с удовольствием прислушиваясь к звучанию этих слов. Но тут же хмуро добавил: — Богатырь, да скованный по рукам и ногам нашей армейской системой. Ведь это не праздные слова были, когда Суворов называл своих солдат чудо-богатырями. Разумеется, суворовскую, по внутренним своим связям во многом патриархальную, армию на сегодняшнюю нашу почву не перенесешь. Нынче армии массовые, многомиллионные, да и эпоха не та. Но убежден, что живая вода, которая способна поднять и распрямить солдата, воскресить его природный дух и могущественную силушку, — не только в сказках...

Так он говорил, Карбышев. И мы, затаясь, жаждали услышать: в чем же, в чем эта живая вода? Только ли в преобразовании фортификации? Да, мы поняли, что в фортификации рождаются новшества, которые перед каждым солдатом в обороне открывают путь к осмысленным действиям, будят в нем смекалку, стойкость, суворовское «сам погибай, а товарища выручай». И мы с восторгом присоединились к выводам Карбышева, когда он заявил, что обороноспособность войск, опирающихся на систему опорных пунктов и узлов, при правильном руководстве боем удвоится и даже утроится...

Мы ждали какого-то главного слова. Не терпелось узнать, в чем же заключается поток живой воды, — ее так жаждала в дни безвременья наша юность, но Карбышев выводы свои уже закончил. Он встал, сложил карту, и, перейдя на официальный тон, приказал каждому из нас с утра быть на своих строительных участках, запасшись колышками для разбивки новых позиций. Потом предложил для точности сверить часы и уехал.

Мне вспомнились лекции профессора Яковлева. Возникла обида: почему то, что сейчас перевернуло наши мозги, не было предметом лекций? Но тут же я мысленно возразил себе: курс полевой фортификации, который нам был преподан, не выходил за рамки техники инженерных сооружений. Как видно, такова в училище ускоренная программа.

Провожая подполковника, все мы вышли за порог и тут заметили, что при плохоньком экипаже у него отличные лошади. Это были, по-видимому, степняки. Когда солдат на облучке стал натягивать вожжи, обе лошади в

предвкушении бега даже всхрипнули, и по телу их прокатилась волна возбуждения. А как коняги взяли с места — искры из-под копыт! Мгновение — и экипаж скрылся из виду.

Стояли мы, толковали о лошадях. Мол, неудивительно, что подполковник, направляясь к нам, при этакой-то резвой упряжке проскочил по линии оборонительных работ невидимкой. Кто-то сострил: «Да у него же пегасы крылатые, неужели не заметили?» И в изобилии посыпались шутки. Не все было остроумно, но мы старательно смеялись над каждым пустяком. Это была, конечно, реакция взбудораженного сознания. Все находились под впечатлением встречи с Карбышевым.

Однажды Дмитрий Михайлович принял наше приглашение на уху. Сели за стол. От вина он отказался, а уху принялся нахваливать:

— Хороша ушица, хороша, с янтарем!

Сварена была уха из окуней, и кулинарное достоинство этого блюда как раз и обнаруживали плавающие на его трепещущей, издающей аппетитный аромат поверхности островки жира — «янтарь».

Лестно было услышать похвалу гостя. Гляжу — один, другой из сидевших за столом моих друзей-офицеров заделались от удовольствия, да и сам я испытал еще не знакомое мне, но, как оказалось, приятнейшее чувство хозяйки, чье искусство достойно оценено.

Наши денщики, с напряженным любопытством поглядывавшие через щелочку из кухни, услышав добрый отзыв подполковника об ухе, пришли в такую аффектацию, что восторженной толпой ринулись в дверь показаться гостю, да в проеме ее и застряли, образовав так называемую «тесную бабу».

Словом, обед начинался удачно и даже весело. Теперь и мы, хозяева стола, не спеша, соблюдая благовоспитанность, взялись за ложки.

Хлебнул я ухи — да так и оцепенел с открытым ртом. Будто огня хватил, пылающей взрывчатки, которая вот-вот и глаза мне вышибет из орбит. Не переводя дыхания, я схватился за графин, только бы запить ожог от ухи, тут же поняв, что она не столько горяча, сколько зверски пересолена.

Денщики, учуяв неладное, втянули головы в плечи и мигом убрались за дверь. А сидевшие за столом, перестав

есть, сконфуженно, с побагровевшими лицами, кашляли. Все, кроме Карбышева. Дмитрий Михайлович как ни в чем не бывало продолжал есть. Но когда теперь он приговаривал: «Хороша ушница, хороша», — у меня сводило скулы и мурашки пробегали по телу. «Да как он может? — поражался я и мучился за гостя. — Даже не поморщится... Бросил бы к черту!»

Но Карбышев доел уху, ел через силу — только бы не огорчить нас, радушных, но беспомощных устроителей обеда.

А случилось вот что. Готовили уху для почетного гостя денщики все вместе: не сговорились — да в хлопотах и толчее каждый и кинул в кастрюлю щепоть соли. Вот и получилось: у семи нянек дитя без глазу.

По условиям оборонительных работ Дмитрий Михайлович бывал в нашем офицерском общежитии частенько. Устраивались удобно у стола и под его руководством прорабатывали на карте то, что затем следовало выполнить в поле.

И чуть ли не на следующий день после злосчастной ухи, глядим, приехал инженер уже не один, а в экипаже рядом с ним сидела женщина в форме сестры милосердия — белая крахмальная косынка с красным крестиком и такое же одеяние под плащом-пыльником. Экипаж был на этот раз другой, более удобный и прочный. «А он галантный кавалер, — подумал каждый из нас про подполковника. — Не решился посадить женщину в свою обшарпанную пролетку, раздобыл другую».

Однако что у нас делать медичке? И мы встретили ее, предупреждая:

— Простите, сестрица, но больных у нас нет.

Женщина переглянулась с Карбышевым, рассмеялась, а потом сказала:

— Вот и хорошо. А теперь познакомьте меня с вашим псаром.

Пришлось сказать, что у нас несколько поваров, имея в виду, что все наши денщики по большей части теснятся у плиты на кухне.

Гостя в удивлении остановилась, позволила себя рассмотреть, и тут все заметили, что она красива.

— Как же так, господа? Несколько — это значит ни одного, с которого можно спросить. В таком случае разрешите мне, женщине, ознакомиться с вашим хозяйством! — И сестра отправилась на кухню.

Как она там распорядилась — сказать затрудняюсь. Но

только уже на следующее утро, спеша на работу, мы не глотали, как обычно, что попало всухомятку, а были приглашены нашими кулинерами к горячему завтраку. А когда сестрица побывала у нас на кухне еще раз и еще, мы, садясь за вкусный обед, вспоминали случай с несъедобной ухой уже только как курьез, как веселый анекдот...

Звали заботливую женщину Лидией Васильевной. Оказалось, это жена Карбышева.

И еще вспоминается случай из тогдашней моей саперной службы в Карпатах... Случай, в сущности, мелкий: однажды недоглядел за солдатами, и они кое в чем напортили в работе — казалось бы, невелика беда. И не такое с годами забывается... А тут пустячок — да не забылся. Больше того — послужил уроком на всю жизнь. Преподал этот урок мне, молодому офицеру, Дмитрий Михайлович Карбышев.

А дело было так. Растрассировал я на одной из высот окоп, получил одобрение Карбышева и поставил саперов с лопатами. Отмерил каждому урок, а сам с биноклем, компасом, уклономером, который подвешивается, как безмен, на пальце, и, разумеется, с картой отошел в сторону, на соседний, свободный еще от работы рельеф. После импровизированного семинара, на котором Карбышев увлек нас новыми идеями в фортификации, каждый искал случая самому, без подсказки инженера, сформировать опорный пункт, а то и узел сопротивления — конечно, самый совершенный, самый неприступный из всего того, что мы до сих пор выстроили под руководством Карбышева. Дмитрий Михайлович только поощрял такую инициативу молодежи.

Вот и я, лазая по холму и хватаясь за кустарники, чтобы не скатиться под откос, мысленно строил свой Верден, двойник французской крепости, прославившейся своей стойкостью в этой войне.

— Господин прапорщик, — слышу, — вас подполковник требуют!

Гляжу — мой сапер. Махнул мне и побежал обратно, чтобы опять взяться за лопату.

Я пошел на зов, не допуская и мысли, что случилось что-нибудь неладное. Карбышева я увидел не возле саперов, копавших окоп, а внизу, на равнине, или, говоря по военному, в предполье создаваемых укреплений.

Подхожу, козыряю. Докладываю подполковнику:

— На опорном пункте номер такой-то поставлен взвод саперов. Окоп на переднем скате, поэтому в насыпном бруствере не нуждается. Землю относят в тыл...

Карбышев быстро взглянул на меня, словно удивленный тем, что слышит, и молча кивнул в направлении этого пункта номер такой-то.

Глянул я на плоды трудов своих саперов — и в глазах потемнело. Чудовищно! Зеленый, покрытый травкой откос холма обезображен выкинутой наружу землей. . . Стою, не смея шевельнуться. Недоглядел за саперами, не объяснил толком, что землю следует аккуратно в мешки — и прочь, подальше от окопа. А теперь — черт знает что! — как с бородой окоп: протянулись вниз полосы из песка, глины, камней. Не скрыт окоп от врага, не затаился в траве, а будто орет на всю окрестность: «Гляди, немец, вот я, лупи из пушек, не промахнешься!»

Ух, как я был зол на себя. Какие уж тут Вердены — простенькую работу запорол!

— Да,— сказал Карбышев в раздумье,— не маскировка у нас с вами получилась, а демаскировка. . .

«У нас с вами». Ушам я не поверил. Ждал от начальника взрыва негодования, разноса, а вместо этого лишь упрек, даже половина упрека. . .

А у Карбышева опять уже только деловой вид, обычный для него, словно и не произошло ничего. Он сел на придорожный камень, предварительно пучком травы смахнув с него пыль, а садясь, этак уютно покряхтел, как делают это уставшие люди в предвкушении отдыха. Снял фуражку, вытер лоб платком, на минуту с блаженным выражением на лице зажмурился. Потом, встрепенувшись, положил перед собой на колени планшет с картой под целлулоидом.

— Ну что ж,— сказал он, переходя к делу,— надо исправлять ошибку.— И, внимательно взглядевшись в меня, добавил с улыбкой: — А вы очень-то не огорчайтесь, прапорщик. С кем не случается. . .

Подари мне небо в это мгновение все блага жизни, какие существуют, подари самое солнце — я не был бы так счастлив, как от этой потрясшей все мое существо улыбки. Я рассмеялся — безотчетно, по-ребячески. Вот уже хохочу без удержу. . . Глядя на меня, простодушно смеется и Карбышев.

Он тут же решил на карте, как исправить ошибку. К сожалению, не без ущерба для дела: пришлось несколько перекомпоновать узел сопротивления, чтобы выключить из него демаскированный склон.

Так Дмитрий Михайлович Карбышев преподавал мне урок самообладания. А смысл урока был таков (что я рас-

кусил не сразу): допустил в работе, в жизни промах, и страдаешь, свет не мил. А по существу — малодушничает, стремясь, чтобы боль с души твоей сняли сторонние руки. Нет, ты перетерпи свою боль — это потруднее, чем принять наказание со стороны, зато, если совладаешь сам с собой, — считай, что укрепил свою волю кусочком стали.

Имя Дмитрия Михайловича Карбышева в Великую Отечественную войну прогремело на весь мир. Советский народ признал его своим героем. Крупный ученый, обновивший науку фортификации, профессор, преподаватель Академии Генерального штаба Красной Армии, генерал, Дмитрий Михайлович не изменил своей привязанности к рядовым труженикам войны с лопатой, топором, киркомотыгой. Когда на фронте Великой Отечественной были для нас трудные дни, Карбышев поспешил в огонь войны, к войсковым саперам, чтобы, изучая повадки врага, помочь им совершенствовать работу.

Но не уберегли его. Немецко-фашистские генералы, пленив Карбышева, ликовали: попался в руки знаменитый фортификатор! Но Карбышев отказался работать на захватчиков, не изменил Советской родине... И всем известно, как его казнили: обливали, обнаженного, на морозе водой, пока человек не превратился в ледяной столб...

# Часть третья

Вот и кончились для меня светлые дни пребывания в Карпатах... Горное солнце, как известно, богато ультрафиолетовыми лучами, оно целебно. Когда смотрю на Карпаты уже издалека — солнце это в моем сознании сопрягается с обликом Дмитрия Михайловича Карбышева. Дни общения с этим глубоко интеллигентным, с открытой душой человеком оставили впечатление праздника труда, исканий и находок в науке.

Но вот я вместе с ротой возвратился в батальон. И словно из солнечного края попал в мрак ненастья. Никому ни до кого нет дела, каждый озабочен лишь собственной персоной. Впрочем, по первому впечатлению, и здесь был праздник. После того как свергли царя, все в войсках бурлило. Всенародная радость — не сразу и насытишься счастьем жить без самодержавия, столь это счастье огромно. Солдаты в батальоне то и дело сбегались на митинги, случались и заезжие ораторы, при этом каждый расхваливал свои взгляды на будущее России. Поди тут разберись, какой строй принять для государства, чтобы всем стало жить хорошо!

Полковника Фалина уже нет. Исчез к чертям. Узнав об этом, я готов был «ура» прокричать. Убежало за ним и его прозвище: «Филин»; «Филин Фалин» — называли за глаза этого держиморду. Взамен появился новый командир батальона. Вступил он в должность по мандату Временного правительства. Сияет в улыбках, а на груди красный шелковый бант такой величины, что, казалось, не бант прицеплен к человеку, а человек к банту. Саперы и самого его, как только rozpoзнали, прозвали «Бантик». Молодой, а уже подполковник. Между тем пороху не нюхал, хотя пошел четвертый год войны. Это всех удивило, и в батальоне распространился слух, что Бантик удостоен подполковничьих звезд за особые (о которых вслух не говорят) заслуги перед кем-то из Временного правительства.

Бантик сразу же отгородился от офицеров батальона.



Офицерским собранием пренебрегал; опытных старослужащих офицеров обидел, не вняв ни одному из советов этих боевых, заслуженных ветеранов войны. Бантик, как оказалось, озабочен одним: снискать симпатии солдат, даже черня в их глазах офицеров. Однако тут-то он и погорел: актерства не хватило.

— Сует руку: «Здравствуйте, присаживайтесь», — рассказывал Ребров. — А я, может, не согласен на такое обращение. Ты мне не кум, не сват, и уголь вместе не рубали. Чего же в приятели навязываешься? Поставлен командиром батальона — так и соблюдай свое звание. . .

— Гордей Иванович, — вставил я, — а можете передать ваш разговор? Мне это интересно.

Солдат ответил не сразу. Нахмурился. На грубом, словно вырубленном из каменной породы лице его заходили желваки — значит, сердится. Похоже было, что с Бантиком они в самом деле не ладили. Это меня беспокоило. Мы же не знаем человека: может быть, он мелочен, мстителен?

Ребров на мое замечание улыбнулся и поглядел на меня с хитрецей.

— Бог, как говорится, не выдаст — свинья не съест, господин прапорщик. . . Эх, побалакать бы нам с вами с глазу на глаз. . .

— Так расскажите же о разговоре с Бантиком. — И я поискал глазами, куда бы сесть. Около кухни увидел колоду для раскалывания дров. «Та самая, — мелькнула мысль, — где Ибрагим свою руку. . .» И я уже не в силах был оторвать взгляда от темного пятна когда-то впитавшейся в древесину крови. Странное, болезненное любопытство сковало меня. . .

А Ребров:

— Почекайте-ка. . . — Заставил меня посторониться. Тут же тяжеловесную колоду взвалил себе на плечо и за поленицей выбросил. С глухим шумом колода покатилась в овраг. А сам он прихватил из поленицы два кругляша.

— Эти-то стулья почище будут. — Ребров смахнул с кругляшей пыль. — Седайте, господин прапорщик.

Сели друг против друга, в сторонке от движения людей.

— Тютюном солдатским не побрезгуете?

Свернули мы по сигарке, закурили.

— Руки я ему не подал, — объявил Ребров и строго посмотрел на меня: одобряю ли? — «Выбачайте, — кажу, — господин подполковник, помыть не управился. Вестовой-то

ваш так и сдернул меня с верстака: мол, не задерживайся, геть, живо! Вот я и грязный...» А Бантик глазки наставил на меня — и сверлит, сверлит, как сверлышком. Понимаю: бывшему высокоблагородию желательно высверлить, что у солдата на уме... Сели, вот как сейчас мы с вами. На столе чай, печенье городское. И начинает Бантик меня обхаживать. «Вы, говорит, господин Ребров, хотя и в малом звании — всего ефрейтор, но солдаты к вам прислушиваются, человек, выходит, вы разумный. Оттого и пригласил я вас для до-ве-ри...» Ну, понимай, для разговора.

— Для доверительного? — подсказал я.

— Во-во, для этого самого. Ну, и водит меня, водит, как рыбак шуренка, чтобы тот поглубже жало заглотнул... «Россия, говорит, воспряла ото сна, это еще поэт предсказывал... И пришло время вступить России в свое великое будущее. Малого, мол, не хватает: наша доблестная армия обязана сломить Германию!» И дает, значит, мне поручение: уговаривать в батальоне солдат — воевать до победы.

А я ему:

— С чужого голоса, господин подполковник, говорить не умею. Вот вместо меня пригласили бы сюда краснобая...

Подполковник как одернет меня:

— Что вы городите!

А я ему:

— Если горожу, то дозвоьте и догородить. Есть же у вас главноуговаривающий — ему бы с руки... Подполковник как топнет да кулаком по столу как стукнет:

— Прочь! Чтоб про господина Керенского, верховного главнокомандующего армией революционной России... Да я вас...

Тут Ребров, по его словам, выскочил из кабинета с таким проворством, что кусок печенья в горле застрял.

Мысленно аплодирую Реброву, но выдать свое восхищение им не вправе: я офицер, и военная субординация для меня — закон.

Ребров поплевал на докуренную сигарку, затоптал ее в песок. Бросил и я свою.

— А вы, господин прапорщик, сами-то за войну до победы или как?

Вопрос застиг меня врасплох. Разумеется, совсем недавно еще я был за победу. К этому обязывали офицерские погоны, этого намеревался достичь, отправляясь в действующую армию; верил, что мы, молодежь, пополняю-

щая офицерские кадры, способны переломить ход зло-  
счастной войны... Да, так было. А сейчас?.. Мрак после-  
довавших затем разочарований в устройстве армии, в ее  
командовании, в бессмысленности боевых действий, где ви-  
дишь повальное истребление собственных солдат и толь-  
ко...

Ребров с виду спокойно ждал ответа, а я путался в  
мыслях: «Кто я в самом деле? Как понять себя? Что ска-  
зать солдату и другу, чтобы честно?..» И вспомнился  
Дмитрий Михайлович Карбышев. Сразу сказал себе: «Как  
он, так и я». И принялся перебирать наши встречи на  
окопных работах в Карпатах. Новые идеи в фортифика-  
ции... Да, это Карбышев. Заботы о надежном укрытии  
солдата в обороне... Да, это тоже он. Вера в то, что в  
сегодняшнем приниженном, забитом, замордованном сол-  
дате — дай ему только расправить плечи — воскреснет  
суворовский чудо-богатырь... Да, да... Но речь Карбы-  
шев держал об обороне отечества. И ни слова о завоева-  
нии чужих земель. «Война до победы» — нет, такого мы не  
услышали из уст Дмитрия Михайловича!

Я попросил у Реброва еще табаку на закрутку. Он пре-  
дупредительно раскрыл передо мной кисет. Я вновь заку-  
рил, и вдруг мне стало так жалко себя, парня в погонах и  
в шпорах, жестоко обманутого жизнью, что я, давясь ды-  
мом, взмолился:

— Гордей Иванович, не надо... Не пытайте меня... Будь  
оно все проклято! Ничего я не хочу. Никаких побед, ника-  
кой войны...

А в мыслях: «О, если бы мне снова надеть студен-  
ческую фуражку. Быть может, она даже ждет меня, при-  
прятанная отцом...»

Наш подполковник обнаружил способности оратора.  
Красиво выступал на митингах. Но ни публичные, обра-  
щенные к саперам батальона речи, ни беседы с ними же с  
глазу на глаз — ничто не сломило в солдате недоверия к  
этому человеку с великолепным шелковым бантом. Его  
призывы к войне до победы окончательно сделали его в  
батальоне чужаком. И Бантик это понял. Убрал печенье и  
стал заводить в батальоне строгости.

Солдатская почта принесла весть, будто в армии вос-  
станавливаются военно-полевые суды...

И вот Керенский развернул наступление... Помню  
только, как мы бежали из Карпат. Каменная дорога пре-

вращена в пыль, словно не телегами разъезжена, а измолота мельничными жерновами. Пыль всюду. Едем как в белесом тумане; пыль слоями опадает с одежды, противно скрипит на зубах. Зной, духота. На дороге панически теснятся обозы, пушки, фургоны с ранеными, экипажи с начальниками... То и дело вспыхивает злобная перебранка, и, глядишь, то подвода, то зарядный ящик и даже пушка, вытолкнутые из толпы, опрокидываются в канаву, калеча лошадей...

Я сижу на возу среди ящиков с пироксилином. Это страшнее, чем на пороховой бочке. Пироксилиновая шашка в основе своей из хлопка: высыхая, волокнца отслаиваются, и пыль — черт его знает, в какой момент! — способна взорваться. Проезжаем селами, и я с нетерпением меряю взглядом расстояния от колодца до колодца: вылить бы на ящики с пироксилином пять-шесть ведер воды! Пироксилин гигроскопичен, жадно впитает воду — и можно бы успокоиться, даже вздремнуть на возу. Но у колодцев драка, воду мигом вычерпывают. Заглянешь, когда дойдет твоя очередь, в глубину сруба, а там только грязь маслянисто отсвечивает... Единственная для меня победа в июльском наступлении Керенского — это то, что я на своем пироксилиновом возу не взлетел на воздух.

— Пишись, господин прапорщик, на вольную жизнь, — как-то сказал мне Ребров. — И дробовичок прихватишь, что я смастерил, поохотишься.

Я принял это за горькую шутку. Но Ребров, старослужащий батальона, уже рассказывал мне, что с начала войны всякий год по весне приходит в батальон затребование от УПВОСО (Управление военных сообщений) на подрывные команды. Эти команды — легкие на подъем, мобильные, каждая не больше полувзвода — получают задание: обезопасить от ледохода стратегические мосты на прифронтовых реках. Командировка длится месяц-полтора, подрывники живут самостоятельно — батальон далеко, УПВОСО еще дальше. Чем не вольная жизнь?

Ребров назвал мне фамилии саперов, которые уже бывали на ледоходах, дело понимают. Большинство оказалось из моего взвода. «Знакомые ребята, — подумал я, — это уже половина успеха в деле, на которое отваживаюсь». И, не мешкая, подал рапорт своему ротному. Комро-ты внес кое-какие изменения в список, одобрительно остановился на фамилии Ребров, сказав, что ефрейтор — чело-

век знающий, самостоятельный: «Ставьте его старшим в команде и своим помощником. Не подведет». И тут же вздохнул:

— Завидую вам, прапорщик. Будет весна, и вы — как птица на перелете. . .

. . . Выгрузилась моя подрывная команда со своими ящиками, тюками снаряжения и бочками с порохом в городе Каменец-Подольске. Тут же на вокзале наняли лошадей, и добрались мы до местечка Жванец, на берегу Днестра. Река широкая, многоводная, хотя и поменьше Камы. Сразу я и мост увидел. Мост деревянный, но, видно, ставился прочно и надолго — на сваях; перед устоями кусты свай, покрытые железом, — ледорез. Прошелся я с подрывниками по мосту, прислушиваясь к замечаниям опытных людей, и понял, что мост задаст нам хлопот: конструкция балочная, пролеты узкие, и, когда река тронется, только гляди — как бы не натворили бед ледяные заторы!

Сойдя с моста, всей командой сели закурить. Тут я услышал, что еще до ледохода следует раздробить повыше моста ледяные поля.

Как это делается — я не знал.

Ребров хитро прищурился и предложил мне самый быстрый способ порушить ледяное поле. Надо выйти саперам на простор реки и разбросать заряды динамита. Бах-бах — и в толще льда образуются воронки и трещины. Ледоход ломает лед. Это один способ.

— Работенка веселая, — подмигнул мне старый сапер, — дух захватывает. Но только на ловкача — с динамитом шутки плохи.

Докурив сигарку, продолжал:

— Теперь слушайте про другой способ. Там динамит, тут порох. Там бегом, тут с шилом в руках начинается работа. . .

И Ребров рассказал, как сладилось это дело еще в предыдущие года.

Саперы садятся шить картузы из картона. Сшил цилиндр размером чтоб голову просунуть — пришей донце и кидай готовый картуз в сторону. Там посажен некурящий. Перед ним раскрытая бочка пороху. Порох саперный, крупный, как грецкие орехи, не распыляется. Некурящий сапер зачерпнет деревянным совком пороху — и в картуз. Насыплет полпуда, пуд — смотря по тому, какой требуется фугас. Полный картуз передается третьему. Тот закладывает в порох запал Дрейера, выводит наружу электрические провода и пришивает на картузе картонную

крышку. А четвертый сапер — смоловик. Промазывает картуз со всех сторон смолой, чтобы не проникла в порох вода.

Рассказ свой Ребров завершил вопросом:

— Так який способ выберем? Перший чи другий?

Он заулыбался, и все подрывники, вижу, глядя на меня, улыбаются. «Ага,— смекнул я,— это солдатский экзамен командиру. Нельзя не выдержать!» Спешу припомнить пройденное в подрывном классе училища, а заодно устройство «Петергофских фонтанов» на Неве...

— Оба способа применим, сообразуясь с обстановкой.

Глянул на лица саперов — экзамен выдержан. Осталось приступить к делу.

За день подорвали фугасами ледяное поле, что повыше моста; на второй день — пониже. Саперы взгромозились верхом на ледорезы, встречали баграми крупные льдины и направляли их под мост. Когда вода очистилась, мост, казалось, стоит посреди зеркала.

К слову сказать, при установке фугасов я ухитрился провалиться в полынью — в шинели, сапогах, в зимней шапке. От холодного по всему телу компресса не мог и слова вымолвить, не то что закричать. А ведь мгновение — и меня утянуло бы под лед. Это мгновение опередил Ребров. Я успел увидеть только его в ужасе расширившиеся глаза и рот, зло выкрикнувший:

— Лови багор! Держись...

Ребров выволок меня на затрещавший лед. Отдышался я лишь в караулке на берегу. Здесь было жарко натоплено. Я выбрался из мокрой и липкой одежды, и Ребров жесткими своими мозолистыми ладонями, окуная их в миску со спиртом (полный бочонок стоял в углу), принялся растирать мое тело, пока я не взмолился: «Гордей Иванович, пощади, весь горю, как бикфордов шнур!»

Не ответил — все еще сердился... Наконец убрал руки, но лишь для того, чтобы наполнить из бочонка манерку... Пришлось хватить спиртяги.

Заснул я сном богатырским. С трудом продрал глаза, услышав шепот. Из слов забежавших погреться саперов понял, что на дворе глубокая ночь.

— А гремит что такое? — не понял я. И услышал взволнованно-торжественное: — Днестр тронулся — пошел... Дыбится, едва управляемся...

Ребята распили кружку спирта, утерлись рукавами и побежали обратно на мост. А я — к окну.

В черноте ночи словно праздничная иллюминация.

Взад-вперед, как живые (людей не видно), бегают по мосту огни. Догадываюсь: факелы. Из-под моста несутся льдины, в темноте почти неприметные. Но вот одна со стеклянным шумом взгромодилась на другую, подоспели третья, четвертая — и уже затор в пролете моста. Это опасно — мост расшатывает... «Динамитом бы по затору, эх, не прозевали бы!» И меня, закупоренного в караулке, словно услышали: взблеск пламени, караулка вздрагивает от мощного взрыва, и ледяная гора, расколовшись, ныряет в воду. Пролет очищен.

Спешу одеться, чтобы бежать на мост. (Спасибо Реброву, все мое уже сухое, сложено по-солдатски — стопкой.)

Едва я из караулки — как на мосту забил колокол, прихваченный нами с собой. Тревога!.. Что-то там, слышу, с треском рухнуло. Крики — и резанули слух слова: «Утонет, утонет... Эй, за бревно хватайся, слы-ышь!..»

И вижу я — на середине реки что-то темное... Уже после различил, что плыл куст свай, вывороченный из ледореза, с цеплявшимся за скользкие бревна сапером. И тут меня будто воздухом подхватило — и я уже в дежурной лодке. Это был тяжелый четырехвесельный рыбацкий баркас, по-местному — «дуб». Но я же, черт побери, с Камы! Схватился за весла и — без роздыха, без роздыха — вдогонку за тонущим человеком. «Держись! — кричал я в темноту. — Не тони! Иду на помощь!..»

Немного погодя я уже выхаживал в караулке спасенного мною человека. Это был парень из нашей подрывной команды. Посиневший от ледяной воды, он твердил в беспамятстве: «Багор-то, багор я упустил... Поймайте...»

А я ему — кружку со спиртом:

— Пей, не помрем без твоего багра!

Прибежал Ребров, обнял меня, благодарит за спасение солдата.

Я отшутился:

— Это Кама пришла на выручку Днестру!

Уступил Реброву заботы об искупавшемся, а сам поспешил на мост. Мост стратегический — и саперы дружной работой уберегли его от повреждений ледоходом и высокой весенней водой. Приятно было получить от УПВОСО благодарность. А главное — там, наверху, оценили надежность моей подрывной команды. Для следующей командировки меня УПВОСО затребовало уже персонально. На этот раз я с подрывниками попал на реку Южный Буг. Было это в октябре 1917 года.

Кто мог представить себе в то время в нашей армей-

ской глуши, в тысяче с лишним верст от столицы, чем явится для России и всего мира этот холодный октябрь семнадцатого года! В Питере грянула Октябрьская революция... Впереди — гражданская война, интервенция, невиданные лишения и — годы, годы борьбы...

А пока я со своими солдатами отправляюсь в глубину Украины. Ехали долго, и, когда добрались до места, уже установилась зима.

Южный Буг неширок: с берега на берег камешек забросишь. Пробивая пешней лунки, измерили толщину льда — крепко; и здесь, на юге, оказывается, берет мороз. Но мост — коротышка, всего о двух свайных устоях.

Ребров сплюнул: «Курам на смех! И чего мост военным значится? Какая в этих местах война?» Но я не огорчился малостью предстоящей работы. Конечно, здесь не повторится днестровское ледовое побоище, но отдохнуть подрывникам ведь тоже неплохо.

Войска сюда не заворачивали, пользовались мостом крестьяне, приезжавшие на базар в здешнем городке, — и я очень удивился, узнав, что существует комендант моста. Он явился ко мне с визитом. Это был молодой, но весьма чопорный господин в форме земгусара. Мы поговорили, чинно стоя друг перед другом, а напоследок комендант пригласил меня «пожаловать к обеду» и вручил визитную карточку.

Проводил гостя и гляжу: на карточке — золотой обреза, княжеская корона и громкая фамилия родовитого помещика.

Солдаты засудачили:

— Его сиятельство в комендантах... Чудно... Может, и метлу в белы ручки берет, мост-то надо прибирать от конского навоза... Аккуратный господин: устроился так, что и война мимо прошла!

В княжескую усадьбу я не поехал. Пообедал из котла вместе с саперами.

Наутро подрывники прислали Реброва ко мне делегатом.

— Ребятам непонятно, зачем мы здесь, — заговорил делегат, неловко переминаясь. — С передовой уже увольняют по чистой. По мосту-то вон сколько вчера прошло, сами видели... Кому, значит, по домам, а нам, подрывникам, все еще службу служить?

Я возмутился: герои Днестра, и вдруг — сговор против службы. Особенно больно кольнуло меня, что и Ребров заодно с остальными,



Я резко оборвал делегата. Сказал: уговаривать не стану, можете, мол, расходиться по домам, если потеряли совесть и ни в грош не ставите меня, командира.

— И в самом деле,— заявил я, едва скрывая обиду,— вам, солдатам, и делать-то тут нечего: ледяное поле пустяшное, фугасы шить и заряжать я у вас научился... Скатертью дорога, один управлюсь!

Полные сутки митинговали подрывники в хате, отведенной воинским начальником для постоя. А я слонялся по городишку, где, кроме как на базаре, и людей-то не было видно. В конце концов солдаты все же решили разойтись по домам.

Грустно мне было расставаться с подрывниками. Свыкся с каждым из этих мужественных, простых и сердечных людей; чувствовал себя как бы в крепкой семье, где на младшем по возрасту скрещиваются заботы старших братьев... Бывшие солдаты уходили от меня крестьянами и рабочими. Все — украинцы, иным до дому и ехать не пришлось: котомку за спину, сапоги туда же — и пошел шагать босиком по пыльному шляху.

С Ребровым обнялись, расцеловались. Звал он меня с собой в Горловку:

— Инженером найметесь. На шахту.

А я еще и не думал о деле. Кончилась душевная каторга, которой обернулась для меня в армии царская служба, и хотелось просто пожить в свое удовольствие, ни перед кем ни в чем не обязываясь, наслаждаться обретенной свободой.

— Гордей Иваныч, я же еще студент, не инженер. Да и в шахтных делах ничего не смыслю, приведете меня, а люди скажут: «Три года воевал наш Ребров, а трофеев у него — пол-инженера!..»

Не понял моей шутки или не пожелал принять. И странно, нам, между которыми в армии установилась отеческо-сыновняя близость,—сейчас, когда каждый предполагал сам собой, вдруг стало не о чем говорить...

Ушел Ребров, а я глядел ему вслед, пока его крупная, плотно сбитая фигура сделалась неразличимой. Еще раньше перестал видеть винтовку, притороченную к вещмешку. Что-то осталось между нами недосказанным... Что же именно? И почему словно камень лег на сердце?.. Упущенного не воротишь. А ведь были попытки со стороны шахтера открыться мне, быть может, в чем-то очень важном для нас обоих. Но всякий раз я замыкался в себе, не

смея переступить преграду: офицер — солдат... Как глупо...

Только дробовичок и остался на память о неразгаданном друге.

Проводил я своих саперов, разошлись солдаты по домам. Но ведь и я не бездомный: и Питер не выходит из мыслей, и родная Кама...

А домой не попасть. Внезапно между Украиной, где я оказался, и Россией возник кордон.

Случаются же чудеса на свете! В городке, до которого, как говорится, три года скачи — не доскачешь, в канцелярской рухляди обнаружился теодолит. Каков аккорд звуков: «Те-о-долит!» Прибор-дружнице, мы с тобой знакомы по институтской практике в поле.

Однако уместно сказать, где я и что я теперь. Застрял — и, кажется, надолго — в маленьком захолустном городишке на Украине. Служу в земской управе. Оказалась вакансия дорожного техника, а для этого моих путейских знаний больше чем достаточно.

Но продолжаю исследовать теодолит... Беру в руки зрительную трубу. Отскабливаю мышиный помет. Набравшись духу, заглядываю в окуляр, потом с другого конца трубы — в объектив... Целы оптические стекла! Можно работать.

Вглядываюсь в детали мерительные и не могу отказать себе в удовольствии произносить названия вслух: «Нониус... лимб... алидада...» Слова-то какие сладкозвучные — и здесь музыка! Чудо, что уцелели уровни. В стеклянную трубочку пойман пузырек воздуха, но в самой-то трубочке спирт. Повезло теодолиту — не добрался до него любитель выпить!

Дали мне мальчугана в подручные, и я, взгромоздив треногу с теодолитом на плечо, отправился за город... В чем обязанности дорожного техника? Ясно: поддерживать в проезжем состоянии местные дороги и мосты на них.

Взялись мы с хлопцем за дело. Для начала я показал ему на коровье стадо вдалеке, потом дал поглядеть в трубу. А он как шархнет от окуляра и рукой глаза прикрыл. «Неужели укололся?» И я в тревоге стал трубу ощупывать, подозревая какую-нибудь острую, не замеченную мной заусеницу: на приборе, брошенном как хлам, всякое могло образоваться.

Но, по счастью, ни рваного металла на трубе, ни ранки на лбу или на глазу мальчугана.

— Не хóчу больше! — И хлопец вырвался из рук, когда я, решив все же доставить ему удовольствие, снова подвел его к окуляру. И с такой он обидой посмотрел на меня, что я понял: «Осуждает...» Видимо, у мальчугана свое твердое представление об окружающем его мире, и он не желает, чтобы корова приобретала размеры слона.

Впрочем, отношения наши быстро наладились. Босоногому моему помощнику уже нравилось вертеться у загадочного прибора. Охотно он и прочь отбегал, когда я давал знак взять в руки вешку или рейку. Издали он смело пялился в нацеленное на него черное око трубы.

За месяц мы одолели полевые работы. Сел я за камеральные, и меня не покидало ощущение душевной приподнятости, которое вспыхнуло во мне, едва я набрел на теодолит. Листая пикетажный журнал и готовя чертежики к отчету, я ловил себя на том, что придерживаю руку с рейсфедером, чтобы полюбоваться штрихом, лежащим на бумагу. Сделаю вычисление — и передо мной не только цифровой результат: вместе с цифрами — одобрительная улыбка Гюнтера, вдохновенного и смешного нашего профессора... А сколько радостей пережито в поле! Бывало, выстукиваешь ветхий дорожный мостик и уже готов списать его на дрова, как вдруг от бревна звон — здоровая лесина! И это со звоном, и то... Да мост еще починить можно — будет служить! И тут же составишь на него дефектную ведомость. Или набредешь на карьерчик камня — уже материал для полотна дороги. Или... Да что говорить, сама причастность к труду то и дело вознаграждалась находками.

Результаты своих изысканий в виде обстоятельного доклада я представил земскому инженеру.

Это был средних лет выхоленный господин. Держался с большим достоинством. Строгий дорогой костюм его вынуждал меня краснеть за свой вид. Шикарный английский френч, в котором я вышел в офицеры, за два с лишним года выцвел, обвис; на локтях заплаты, рукава с бахромой... Брюки-галифе, которым, как уверяли, не будет сносу, протерлись в ходу до дыр. «Что значит дыры? — сказал местный портной, просовывая сквозь штаны сразу несколько пальцев. — Не будем плакать. Был сапер — сделаю вас кавалеристом». И портной подбил брюки кожей. Теперь галифе при ходьбе поскрипывают, как старая калитка на ветру.

Впрочем, инженер, кажется, и не глядит, во что я одет, да и меня самого на службе едва замечает. По некоторым оброненным им словам я начинаю понимать, что он птичка залетная. А захолустный этот городишко понадобился ему, как он проговорился однажды, «чтобы перебыть погоду».

Письменный стол инженера обычно от деловых бумаг свободен. Здесь рождаются божественные ароматы. Приходя на службу, инженер выставляет на стол коробку крымского табака фирмы «Месаксуди», где под стеклянной крышкой, как в витрине, красуются золотистые табачные волокна. Коробка опрокидывается на стол, лицо инженера выражает вдохновение, и начинается священнодействие. Засучив рукава пиджака и постукивая о стол крахмальными манжетами, инженер, вороша кучу табака, сдабривает его пахучими травками, которые приносят ему с рынка. И добывается бесподобного букета.

Сам я перебивался «тютюном» — самосадам, который крестьяне привозили на рынок мешками и отмеривали покупателю ковшиками. Лучшего курева в городе не купишь, а тут — «Месаксуди», как видение, как мираж... Эх, судьба!

— Прошу, — однажды предложил мне папиросу инженер прямо из набивной машинки, которая так и шелкала у него в руках. — Угощайтесь.

Я поблагодарил и отказался, выразив чувство неподкупной гордости.

Инженер вскинул на меня глаза:

— Вам не нравится «Месаксуди»? — Откинулся в кресле и принялся пускать кольца дыма. Это у него получалось виртуозно.

...И вот я перед земским инженером с отчетом о дорожном хозяйстве уезда. Едва нашлось для моей папки местечко на столе — кругом табак. Раскрыл он папку и, не утруждая себя особым вниманием, перелистал отчет.

— Неплохо, — заключил он, останавливаясь взглядом на чертежиках. — Я бы даже сказал — исполнено на «весьма».

Закурил свежую папиросу и уставился на меня:

— Однако на каком свете вы живете, господин техник? — Постучал пальцами по столу. — Вы в самом деле наивный мальчик? Или только прикидываетесь, что ничего не видите, ничего не понимаете?.. Твердой власти нет. Один заваривает кашу и, не доварив, бежит. Другой заваривает... Да кому же сейчас дело до ваших мостиков — с ригелями или без оных? И на какие шиши производить работы, нанимать людей, оплачивать материалы?.. Зем-

ская касса пуста. Я второй месяц не получаю жалованья. Уж на что хлам — керенки, но и их казначей никак не наскребет. . .

На другой день меня уволили.

Институтское образование больше не кормило — пришлось изощряться, чтобы выжить. В студенческие годы доводилось мне репетиторствовать: выправлять лентяям школьникам знания по русскому, математике. Но было еще лето — для уроков пора не пришла. Подумалось: «И на простой работе сдую: дрова колоть, грести-копать. . .» Пошел по дворам — но ни землекоп, ни дровокол никому не понадобился. И продать с себя уже нечего: серебряный портсигар и карманные часы мигом проглотил рынок. Дотрепывал офицерскую экипировку. А брючный ремешок то и дело ослабевал — приходилось подтягивать его, прокалывая новые дырочки. . .

Наконец подвернулась стоящая работа. Какой-то помещик пожаловал городку локомобиль. Это был двухцилиндровый «клейтон», английская машина в двадцать пять лошадиных сил. Городские власти оказались в затруднении: не было заботы, так появилось пороса. И решили обзавестись электрическим освещением. Я и набрел однажды на сарай, где стоял локомобиль и где на первое время намечалась электрическая станция. Вспомнил я свое мальчишеское увлечение техникой. . . Чего только я не умел: портил и чинил дверные замки, переплетал книги, на рождество, масленицу и пасху делал бенгальские огни, ракеты, огненные колеса и стреляющих под ногами лягушек. А когда в нашей Перми с керосинового освещения стали переходить на электрическое, догадка за догадкой — и сделал в квартире проводку, выполнив все пожелания заказчика (отца).

Короче сказать, в локомобильном сарае я оказался как нельзя более кстати. Какие-то люди в рабочих фартуках, но не очень сведущие в деле, за которое брались, разглядывали и ошупывали старенькую динамо-машину постоянного тока. Я помог им снять кожу: «Вот теперь глядите. Все устройство на виду». Пришлось к слову, и я рассказал об открытии Фарадея, на основе которого и возникли динамо-машины.

Моя осведомленность в вопросах электричества произвела впечатление. Познакомились. Ребята в фартуках назвались служащими городской управы. А ковырялись они в машине из любопытства. Свели меня к городскому голо-

ве — и я опять в должности: на этот раз заведующий электрической станции.

Однако чтобы дать городу ток, потребовалось множество вещей, начиная с вольтметра, амперметра, рубильников и т. д. для оборудования сарая и кончая роликами, шурупами, дюбелями, шнуром и, разумеется, лампочками для квартир. Но где искать такие вещи? Только в Киеве.

Но поездка не состоялась. В Киеве опять переворот. Царский генерал Скоропадский, которому помещики торжественно вручили булаву гетмана — символ власти над Украиной, на троне не удержался. Его спихнул Петлюра, стремившийся отторгнуть Украину от России, отдавший украинские земли на разграбление вильгельмовским войскам. Но и Петлюра недолго властвовал. Из деревень ударили партизаны, соединились с советскими украинскими войсками и погнали прочь петлюровцев заодно с солдатами Вильгельма.

Но еще до падения Петлюры я получил повестку: как бывшего офицера петлюровцы объявили меня мобилизованным в их полки-курени. Не пошел. Меня арестовали. В тюрьме я увидел, что нас немало — бывших офицеров, не пожелавших больше воевать. Ждали, что расстреляют. Нет, не расстреляли: офицер все-таки ценность, решили, без офицеров армия невозможна. Принялись выискивать среди нас большевиков — мол, выведем в расход смутьянов. Потом появились уговорщики: чего, дескать, упрямьтесь, не все ли равно, где служить, раз офицер — от военной службы не отвертисься.

Моем полы, топим печь, выносим под караулом парашу — день за днем входим в тюремную жизнь. А уговорщики все звереют. Как бы, опасаясь, не начали выводить на расстрел. И мы забаррикадировались в своей общей камере...

Ночь не спали. Чувствовалось, что наутро может произойти расправа... Но едва рассвело — сквозь зарешеченное окно слышали мы песню. Затаились, пытаемся разобрать слова... Но и без слов, по игривому мотиву, по лихо-соловьиному посвисту стало ясно, что в городок вошли победители!.. Кинулись мы к окованной железом двери, навалились на нее с такой силой, что, казалось, спины у всех затрещали. Высадили дверь.

И вот мы на воле... Была ранняя весна. От обилия света пошли в глазах оранжевые круги, и мы, вырвавшись из тюремной камеры, не сразу отважились сделать шаг от

ворот: с минуту стояли, как слепцы, держась друг за друга. Потом рассыпались кто куда.

Я вышел на улицу: тающий снег, грязь, но и в лужах — солнце... Тут впервые в жизни я увидел большевиков. На гарцующих конях сидели молодые и немолодые всадники, все в обычных солдатских шинелях, с карабинами за спиной и с шашками на боку. Папахи в кумачовых нашивках, а сами всадники сияющие, счастливые, — не встречал я лиц краше!

Завидно мне стало. В конных рядах все больше молодежь, мои сверстники, но разве я похож на них? Забыл когда и улыбался... Что-то, видать, у них сладилось в жизни — большое, настоящее... А я? Ведь и хотел-то самого малого: забыть свое офицерство, вернуться к теодолиту, рейке, пикетажному журналу, и чтобы никто не смел меня трогать. Только и всего... Но взломали мою маленькую жизнь, арестовали, швырнули в тюрьму — какая несправедливость! И вот теперь я опять на распутье...

Многие из сидевших со мной в тюрьме офицеров, как я понял, решили пробираться на Дон. Но это значило — опять воевать? С кем? За что? За царя-батюшку? Нет, таким я не попутчик... Явиться разве к большевикам, пока не сцапали как офицера? Самому-то лучше — может, выслушают, может, и просьбу уважат. Честно, без утайки расскажу все о себе и попрошусь на военно-ремонтные работы: петлюровцы при бегстве портят мосты, дороги, железнодорожные станции. Нужны же знающие люди, чтобы все это восстанавливать. Скажу: «Ставьте хоть техником, хоть десятником».

В городке, едва вступили красные войска, сформировали первое советское учреждение — ревком. Добрался я до председателя — им оказался пожилой человек, нескладно одетый в военное. Посадил он меня против себя — глаза в глаза. А расспросив, вдруг рассмеялся и сказал:

— Хорошо, дам вам сугубо мирное занятие. Будете в ревкоме письмоводителем.

Видимо, я пришелся к месту, потому что предревкома, получив вскоре новое назначение, предложил мне и дальше с ним работать. Переехали мы в приграничный город Проскуров. Начальник мой занял пост уездного военного комиссара, а меня уже не в письмоводители посадил, а доверил интересную самостоятельную работу, о которой скажу позже.

Звали моего начальника Иваном Родионовичем. Но он требовал, чтобы говорили «товарищ Сеница». При этом

ударение делал на слове «товарищ». И даже подписывался: «товарищ Синица». К этому росчерк птичкой. Токарь с киевского завода «Арсенал», он во многом напомнил мне моего дружка сапера Реброва. Такие же резко выраженные черты лица; держится твердо, иной раз и жестко, но вдруг из-под колючих черных усов улыбнется и приласкает тебя мягким взглядом. Мне особенно нравились в нем, как нравились и в Реброве, неспешная рассудительность, умение, как говорится, всесторонне обмозговать вопрос, прежде чем он выльется в решение и получит силу приказа.

В важных случаях, созвав сотрудников, товарищ Синица любил поразмышлять вслух, как бы давал нам открытый сеанс работы своего острого и цепкого ума. Становился особенно оживленным, когда с ним не соглашались, спорили, горячились. Это напомнило мне Дмитрия Михайловича Карбышева. Выслушает всех, а кончается тем, что мы в недоумении только переглядываемся. «А ведь Синица-то прав. Нате же — простой рабочий, не всегда умеет даже фразу правильно построить, а разметал все наши возражения, которые тут же и увяли. . .»

Напоследок улыбнется лукаво:

— Вы, други мои, народ сильно грамотный, иные из вас в университетах да институтах обучались. Для военкомата это честь. А вот в драку лезть не умеете. А революция, други мои, нуждается в грамотеях драчливых!

О себе говорил скромно. Однако прошел и он, рабочий-большевик, свои «университеты»: в подпольных битвах с политическими противниками отточил он силу своего слова и искусство с партийных позиций разбивать фальшивые суждения кого угодно, даже профессоров.

Но что такое «партийные позиции»? Это было для меня новым и весьма туманным понятием. Я обратился к товарищу Синице за разъяснением.

— А такое готовеньким в рот не вкладывают! — И Синица рассказал мне про большевистскую литературу, о существовании которой я и понятия не имел. А она давно уже жила в России, множилась, приводила в неистовство царя, но ни жандармы, ни полиция не в силах были ее уничтожить. Лишь после Февральской революции эта литература вышла из-под запрета.

— Вот она, — объявил товарищ Синица, когда мы оказались в комнате, где на полках, на столе и даже на полу громоздились увесистые тюки, от которых пахло типографской краской. — Вот она, вот, вот. . . — говорил он, любовно прикасаясь к каждому тюку. — Одолеете эту литературу —



и поймете, что к чему.— Он с достоинством подкрутил усы, которые тут же раскрутились.— Мы, самоучки рабочие, одолевали ленинское учение, а вы ведь студент столичный. Да не в подполье сядете читать, кашляя от копоты каганца, а при полном удобстве. Заодно и на пользу революции потрудитесь.— И Синица ушел, оставив мне ключ от комнаты.

Осмотрелся я, читая этикетки на тюках, и вижу: присланы нам центральные газеты «Известия» и «Правда», различные брошюры, листовки, плакаты. Прибежал от товарища Синицы парнишка, сказал, что будет мне помощником, подал список; по этому списку надо было распределить литературу между воинскими частями, небольшими заводиками и мастерскими, какие есть в городе; направить комплекты газет и брошюр в примыкающее к городу железнодорожное депо Гречаны и на станцию Проскуров, а также на село крестьянам... Словом, оказался я экспедитором периодической печати, единственным в городе.

За день эти непривычные дела так меня умучили, что ноги подламывались, а присесть нельзя: каждый посыльный ловчит набрать литературы побольше, не сообразуясь с разверткой: «Давай, мол, сколько унесу. А то и самого меня раздерут на части!» Пришлось глядеть в оба — иначе мигом опустошили бы кладовую.

Только к вечеру, раздав последки из распечатанных тюков, я опомнился. Прибрали с пареньком помещение. Он ушел домой. А я облокотился о стол — да так и заснул, полустоя...

Проснувшись, распахнул окно, а навстречу теплынь, ароматы цветущего лета. «Тиха украинская ночь...» — лучше не скажешь и не почувствуешь. Высунулся наружу — над головой купол неба будто из черного бархата. А звезды здешние, по сравнению с нашими северными, неправдоподобно крупные, такие они, что, вздев глаза к небу, невольно улыбнешься. Как тут не вспомнить Рудого Панька, в рассказах которого быть переплетается с безудержной фантазией поэта. «Пасечнику Рудому, — подумал я, сам мысленно вступая в сказку, — с руки и звезды-яблоки разбросать по небу!»

Но хватит балясничать — пора и за чтение браться. Зажег я керосиновую лампу, но в комнате сразу запорхали, закружились ночные бабочки, обгорали и падали на стол. Пришлось закрыть окно. Устроился у лампы.

Привычки читать газеты у меня не было. Мальчуганом в родительском доме иногда заглядывал в «Русское слово»

с хлестким фельетоном Дорошевича, только и всего. И в студенческую пору газеты не интересовали меня, а в военное училище они, сколько помнится, вообще не допускались. Правда, в библиотеке к услугам юнкеров были «Русский инвалид» и «Новое время», но мало находилось охотников даже листать их. Скучища! В действующей армии кое-какие газеты приносила почта, но они залеживались, а потом солдаты разбирали газетную бумагу на курево... Короче говоря, сел я за газеты как начинающий читатель. И откровенно признаюсь: мир острых политических полемик, в который меня, читателя, приглашали, не пробудил во мне интереса. Да и мало что я понял из напечатанного. Конфузно, но факт: «столичный студент» сделал попытку приобщиться к политике, да ума не хватило. Перед рабочим-самоучкой спасовал. Вот уж посмеется надо мной товарищ Синица!

С досадой я отложил газеты. Взялся за большевистские брошюры, подбадривая себя тем, что брошюра — не газета, тонкая, но книга. Сяду-ка читать их с карандашом в руках, как, бывало, в студенческие годы сживал за учебниками.

...Карл Маркс, Фридрих Энгельс... Новые для меня имена. «Манифест Коммунистической партии», Лондон, 1848 год. Углубляюсь в чтение, и чувства мои напрягаются все больше и больше. А мысли, они устремляются ввысь, и эта высь так непривычна, что начинает кружиться голова... Какой взблеск человеческого разума, страсть в каждом слове «Манифеста»!

Я ошеломлен. Распахнуты ворота в новый, неведомый мне мир коммунизма. Он влечет меня, как, бывает, человека влечет свет зари... Но мыслимо ли всех на земле сделать счастливыми? Побороть людские несчастья? Неужели наконец будут прокляты и исчезнут самые войны?... Как хочется, чтобы такое свершилось! Но не продолжение ли это сказки сегодняшней ночи?..

Будущее человечества, гласит «Манифест», в его собственных руках. Капитализм должен быть свергнут, и могильщик его уже известен: это рабочий класс. Борьба классов движет историю, определяет все ее события... Так получается. Но почему же до сих пор я этого не знал? Ведь изучал историю. Знакомили нас в реалке со знаменитым «Курсом русской истории» Ключевского. Говорили об основоположнике исторической науки в России — писателе Карамзине. Настольной книгой у меня была «Русская фабрика» Туган-Барановского — тоже капитальный труд. Но

чтобы борьбе классов придавалась столь значительная роль — такого не упомяну. . .

Мучительная ночь досталась мне. В голове — развороченные мысли, в чувствах — оцепенение и единственное желание: больше не залезать в дебри истории. . . Встретились с Синицей утром в военкомате, и по заблестевшим его глазам я понял: не терпится ему узнать, что почерпнул я из литературы.

— Ну как? — спросил он, придавая вопросу осторожную, шутовскую форму. — Ум не зашел за разум?

Я не смог да и не пожелал утаить от рабочего-большевика пережитое за ночь. Говорил я недолго, но высказался честно — и сразу полегчало. «Пусть даже накажет, пусть уволит, — подумал я, — но это же счастье — распрямиться душевно. . . Этакая тяжесть с меня свалилась!»

Однако в глубине души я верил: кто угодно, только не большевики могут наказать за честность. Многое мне у них нравилось, особенно их обращение друг к другу, простое и ласковое, — «товарищ». Между собой они были на «ты». Мне Синица говорил «вы» и называл меня по имени-отчеству или по фамилии. Не без чувства горечи я утешал себя: «Что ж, вполне оправданно. Бывший офицер, происхождения не пролетарского. . . Каждому свое место».

Выслушал меня Синица со строгим лицом. Глаз не спускал. Выждал, пока я, теребя бахрому на рукаве френча, успокоился. И сказал вдруг:

— Товарищ. . .

Я оглянулся: кому? Но в комнате только мы двое. Значит. . . мне? Это произвело на меня такое впечатление, что дальнейших слов я не услышал: «Товарищ!» Во мне все ликовало, но я лишь таращил на Синицу глаза. Он продолжал говорить, я понимал это по шевелящимся губам. . . Наконец и звук прорвался ко мне:

— . . . Начистоту — вот это ты правильно, товарищ, по-нашему, по-большевистски.

Мы встали. Синица уже улыбался:

— Не журись, хлопче. Ум за разум зашел — такое случается. Будем мозги раскручивать — да не в теории, а на деле.

Так разомкнулся для меня круг большевиков. . . А ведь казался недоступным.

Определили меня на должность заведующего культпросветотделом уездвоенкомата. Тут же я получил обмундирование: новенькую пару красноармейской одежды. Пе-

реодевался в бане и — о, с каким наслаждением я затолкал в горящую топку обносок английского френча! А когда от него остался только пепел, сунул туда же, в огонь, окончательно развалившиеся на мне брюки французского фасона галифе.

Простенькая красноармейская одежда — но почувствовал я себя в ней именинником.

Был мне предоставлен стол в отдельной комнате, а стены голые — неудобно. То ли дело кладовка, работа на людях! Там я и пребывал. Хлопоты с разгрузкой московского вагона с газетами и литературой, доставка тюков в военкомат, потом споры и схватки с посыльными. Весело! Но на всякой работе приходит сноровка — и у меня все больше оставалось свободного времени.

— Где же мое заведование? — спросил я товарища Синицу. — В чем оно выражается?

— Соображай сам, — был ответ. — Не за ручку же тебя водить.

Но стал Синица брать меня на митинги, которые происходили в разных местах города чуть ли не каждый день. Пригляделся я к ораторам, научился не робеть на подмостках перед множеством людей, проштудировал свежую литературу, и товарищ Синица выпустил меня с речью.

Держался я передовых статей центральных газет. Отважился однажды даже о III Интернационале упомянуть, который был только что учрежден в Москве и служил жгучей темой на всех митингах... Но тут досталось мне от товарища из центра. Выступил я, по его мнению, неплохо, но слова мои о значении Интернационала признал туманными.

— Что вы знаете, товарищ, об этом крупнейшем международном акте? Что учредительный конгресс Интернационала состоялся полтора месяца назад? Что через буржуазные кордоны, рискуя свободой, а иногда и жизнью, пробрались к нам делегаты из разных стран? Что с докладом выступил Владимир Ильич Ленин?.. А смысл этого события в международном пролетарском движении вам ясен?

Мне и ответить было нечего. Молчу, смущенный... Напоследок товарищ из центра сказал:

— Публичное выступление — дело серьезное. Надо так владеть материалом, чтобы не только растолковать каждому непонятное, но быть готовым дать молниеносный отпор враждебным против нас, большевиков, вылазкам. Запомните, товарищ: туманные речи идут не из нашего лагеря.

И я это запомнил. Крепко запомнил.

Товарищ из центра приехал в Проскуров, чтобы проверить, как справляются с работой советские учреждения. Его сопровождали два или три помощника. Он строго наводил порядки, однако больше улыбался, чем сердился. И этим располагал к себе. И наружность приятная. Было ему, вероятно, побольше сорока — виски седые, лоб с залысинами, борода клинышком, тоже с сединой. Звали Григорием Ивановичем. А фамилию назвал невнятно. Синеца сказал, что товарищ из центра предпочитает партийную кличку.

Закончив в городе проверку, Григорий Иванович наконец позволил себе отдохнуть. За обедом в столовке он рассказывал о сегодняшней Москве, чему все мы, сотрудники военкомата, жадно внимали. А когда убрали посуду и люди разошлись, между ним и Синецей завязалась товарищеская беседа. Мне, к моей радости, разрешили остаться.

— Ты, товарищ Синеца, с какого года в партии? — спросил Григорий Иванович.

— С объединительного съезда, — сказал Синеца. — Как раз наши киевские воротились из Стокгольма. Считаю, приняли меня, ученика слесаря, в пополнение рядов партии. Товарищ, мол, Ленин призывает, чтоб в РСДРП побольше рабочих-большевиков. И про самого Владимира Ильича Ленина рассказали нам, молодым, тогда.

— Ну, у меня стаж побольше, — улыбнулся москвич. Тут и началось для меня самое интересное.

— Дали мне, — приступил к рассказу Григорий Иванович, — с Обуховского конспиративное поручение к Ленину. Границу перешел в условленном месте с проводником, тот в руку сунул унтер-офицеру пограничной стражи... Привели меня в Женеве на улицу, где квартировал Ленин; название улицы французское да замысловатое, и тамошние большевики-эмигранты окрестили ее просто Давидкой. Так и сказали мне: «Владимир Ильич живет на Давидке». Ну, так... Сажу я у Ленина в квартире и дивлюсь: «Да уж полно — у вождя ли я нашей партии?» Квартирка из самых дешевых, точь-в-точь как у моего тестя в Питере, рабочего с «Айваза». И тут и там две комнаты, каждая об одно оконце. Но у тестя квартира все же обставлена — и комод, и буфет, и шкаф платяной, а у Владимира Ильича в комнате кровать, небольшой стол (большому-то не уместиться) да три стула... Вот и весь гарнитур.

Узнав, что Григорий Иванович из Питера, Владимир Ильич стал с интересом расспрашивать его.

— Сам не ожидал, что столько знаю! — повернулся тут

рассказчик к Синице.— Удивительно, как умеет расспрашивать Ильич! Заставит нужного человека всю память, как говорится, под метелку обшарить.

Затем, продолжал Григорий Иванович, в комнату вошла Надежда Константиновна. Владимир Ильич тотчас представил жене гостя, затеял веселый разговор, и питерский рабочий почувствовал себя как бы совсем дома, в родной семье. . .

Слушаю я беседу двух большевиков, и мне уже не терпится узнать, как выглядит Ленин,— ведь портретов тогда, в 1919 году, не печатали и не рисовали. Москвич только еще собирался ответить, а Синица — ко мне:

— Если с личности, то погляди на Григория Ивановича: бородка у него, как у Ленина, клинышком. Волос на голове поболее, чем у Владимира Ильича, но дело ведь не в волосах. . .

— Правильно,— засмеявшись, подхватил москвич. И продолжал рассказ о Женеве 1904 года: — Когда Надежда Константиновна здоровалась со мной, она переложила из правой руки в левую пачку заготовленных писем. Я понял, что она к Ильичу по делу. Куда деваться? . . Но тут поманила меня пожилая женщина, очень приветливая. Оказалось, это мать Крупской — Елизавета Васильевна. Старушка пригласила меня посмотреть кухню и принялась рассказывать о хлопотах по хозяйству, какие выпадают на ее долю. И все это весело, с русскими и французскими присказками.

Потом Григорий Иванович позвал Ленин. Письма уже были запечатаны.

— А для обуховцев,— и Ленин вручил ему один из пакетов,— лично вам. Не попадитесь на границе!

Довелось Григорию Ивановичу пообедать в семье Ленина — не смог отказаться.

— Вот где я чуть не влопался. . . Срам вспомнить! Сидим, обедаем. На столе картошечка, зелень всякая, мясного или рыбного не заметил. Ничего сытного. Подумал: «Видать, по-заграничному так надо — сперва закуска к обеду». Но гляжу: Владимир Ильич снимает салфетку, направленную за жилет,— и благодарит Елизавету Васильевну. Все встают, а я сижу, мну свою салфетку, жду обеда. «Мало ли,— думаю,— зачем встали, меня не касается». Елизавета Васильевна наклонилась ко мне — еще сказать ничего не успела, по глазам понял, что обед кончен. Я вскочил, чуть стул не опрокинул.

Синица хохотал. А Григорий Иванович повернулся ко мне:

— Ивану Родионовичу не стану объяснять, сам знает, а вам, студенту, скажу, что такое обед для рабочего. Изрядная миска жирных щей, чтобы ложка торчком стояла. Выхлебаешь щи, а на дне мясо — и уж никак не меньше фунта. Иначе обед не обед.

Синица перестал смеяться. Призадумался, покачал головой.

— Выходит, одна деликатность на столе... Да как же он мог жить, Владимир Ильич, с такой еды?

— И жил, — сказал наш собеседник, — и работал, не щадя себя. Ведь раздор был в партии. Сумел поднять партию на Третий съезд, где меньшевикам, как известно, дали по шапке...

Помолчав, рассказчик полуприкрыл рот ладонью:

— Только по секрету. От Ленина, голодный, я махнул к Лепешинским. Там, в столовой, сел среди политэмигрантов и поел досыта.

Слушаю я москвича — и вдруг в рассказе знакомая по Перми фамилия: Фотиева! Лидия Александровна, которую я мальчишкой запомнил как барышню в шляпе и лентах, оказалась в Женеве у Ленина... Григорий Иванович увидел Фотиеву за пианино, там же, в столовой Лепешинских, которая вечерами превращалась в партийный клуб. Молодая, скромно причесанная девушка, она завладела вниманием слушателей: так свободно, смело, вся отдаваясь музыке, играла она.

— Еще Бетховена, если не устали... — прозвучал в тишине сдержанный голос Владимира Ильича.

Музыкальный вечер продолжался до глубокой ночи.

Григорий Иванович в перерыве полюбопытствовал у товарищей, кто эта артистка и откуда.

— Наш партийный товарищ, — ответили ему. — Жила в Перми, училась в Петербурге, в консерватории, имела отличия. Но музыкальной карьерой не соблазнилась, ушла в революцию. Здесь, в Женеве, Владимир Ильич дал ей дело. Девушка помогает Надежде Константиновне по «Почтовому ящику», но, видать, вернется в Россию на нелегальную работу.

«А я знал Фотиеву, — едва не вырвалось у меня, — еще до Женевы!» И хорошо, что не вырвалось. Григорий Иванович и Синица, конечно, заинтересовались бы моим знакомством с известной революционеркой, а знакомства-то ведь и не было. Мальчишкой, постеснявшись, даже лица ее

не увидел. Глупо об этом упоминать... А вот повидаться с самой Лидией Александровной было бы интересно... Но ведь она в Москве — секретарь Совнаркома, работает с Лениным... Что ей до меня?

Никогда я не писал стихов. А тут Первое мая... В уком партии разработали программу праздника. Ведь это — первая в Проскурове за все годы существования города легальная маевка.

Мне было поручено вывести на праздник единственный в городе легковой автомобиль, собранный из остатков ему подобных. Вспомнился «санбим» из Английского королевства, на котором я, прощаясь с Питером, надушенный, позванивая серебряными шпорами, катал по городу девушку, картинно соря деньгами... Смешной и глупый... Неужели таким был?

И, накачивая у рыдвана шины, я потешался над своим недавним прошлым. Ведь я теперь — другой человек. Даже внешность иная. Усы кренделем, как у Синицы, меня не соблазнили, а бородку я отпустил.

Пока я готовил рыдван к поездке, в него уже повлезали военкоматские девушки, шумные, веселые. На каждой праздничная ярко вышитая блузка, монисто, венок из полевых цветов. Появились среди девчат и парни, сиречь парубки. Посчитал я пассажиров: «Э, братцы, это слишком. Машина не потянет!» Но шофер лишь махнул рукой — мол, пропадать так пропадать — и захлопнулся в кабине.

После нескольких толчков рыдван раскачался, рванул с места и, стреляя дымом и вонью, покатил по городу. Уродство его скрывали гирлянды зелени и красные полотнища по борту, на которых горели революционные лозунги. Мальчишки встретили появление машины криками «ура» и визгом (предел восхищения у детей, когда человеческая речь уже бессильна).

Я схватил рупор, чтобы призвать гуляющих построиться в ряды и шествовать на площадь для митинга. Но призывы мои, казавшиеся мне громopodobными, пропадали в гомоне толпы. А девчатам уже не терпелось «пустить голубя». Это выражение родилось накануне, когда я собрал помощниц в кладовке. Уговорились газеты раздавать всем с борта машины, а листовки подкидывать в воздух, чтобы, взмыв над головами, они подальше разлетались. Тут и обнаружилась выдумщица. Схватила листовку, мигом в ее бойких пальцах образовался бумажный голубь, даже с крылышками; еще миг — и птичка выпорхнула в открытое окно.



Подружки захлопали в ладоши:

— Умныця — хвályть вся вулыца!

Листовки заинтересовали публику. Только и слышалось:

— Квытквив, квытквив. . . Ще квытквив!

Майских листовок из центра было получено маловато, и в укове партии разрешили пополнить «голубиную стаю» листками местного изготовления. Пошел я в типографию договариваться, гляжу: уже сочинители в очереди к наборщику и к тискальному станку. Неожиданно для себя начинаю диктовать экспромты вроде: «Миновали черные дни — наступили дни радости! Нет больше господ — есть товарищи!» Унес я из типографии кипу листов с собственными текстами.

Понимал: никакие это не стихи. Но душа пела — и я, как сумел, это выразил. . .

Деятельность моего культпросветкабинета быстро расширялась. Приезжали из центра (из Москвы, Киева) докладчики, лекторы, бригады артистов. А ведь все это хлопоты, и немалые: надо было позаботиться, чтобы и доклады, и спектакли собирали публику, проходили в удобных помещениях, которыми Проскуров не богат. Крутился целыми днями, но когда работа нравится — разве устанешь?

Вскоре после того, как московский ревизор уехал, позвал меня к себе Синица.

— Садись, только нос не задирай. Григорий Иванович присмотрелся к тебе и порекомендовал на работу покрупнее. Вакантное у меня место помощника по политической части. . . Потянешь?

Мне жарко стало — такая неожиданность. Но жар приятный. Только странно — я же беспартийный. . .

Но товарищ Синица объявил без объяснений:

— Согласовано в укове партии. Возражений от тебя не слышу, отдаю приказ по военкомату.

Отпраздновав в Проскурове Первое мая, располагали мы пожить мирно, уютно. Но враг не дремал: выброшенные с Украины петлюровцы были собраны империалистами, вышколены, заново вооружены и для стойкости пополнены солдатами-галичанами, обученными еще австрийскими капралами. . .

Противостоять нашествию петлюровцев Проскуров сил не имел. Началась спешная эвакуация советских учреждений. Получил вагон и военкомат. Недолгим было наше

с товарищем Синицей знакомство, а как расставаться — едва расстались... Оба понимали, что в этот грозный час место мое, бывшего офицера, в строю Красной Армии. Но лишь станционный колокол, дав эшелону отправление, разлучил нас.

Гляжу, здесь же, на станции, бронепоезд. Видал я пушки, но таких стальных гигантов, такого грозного оружия встречать не доводилось. Стою восхищенный — глаз не оторвать. Слонявшиеся на перроне железнодорожники, видя во мне красноармейца, то один, то другой просвещали меня. Оказалось, это шестидюймовая гаубица. Весу в ней чуть ли не триста пудов, снаряд — два с половиной пуда. И о себе поведали рабочие: они из депо Гречаны, что близ Проскурова. Похвалились, что бронепоезд «зроблен» за одну ночь, — и только тут, оторвав взгляд от гаубицы, я увидел, что передо мной бронепоезд только по названию. Под гаубицей всего лишь четырехосный вагон для перевозки угля — железные полуборта его и пуля пронзит. К вагону притулился грудью паровозик ОВ («овечка»), и лишь за паровозом — бронированный вагон с амбразурами для пулеметов. Впереди и позади состава — платформы с рельсами, шпалами и инструментом на случай починки пути.

Один из деповских рабочих жаркодохнул на меня: — А вы часом не артиллерист?

Оказалось, из гаубицы некому и стрелять... Озадаченный, я не знал, чем помочь людям. Смекаю: «А ведь на бронепоезде и подрывнику дело найдется». И вот я уже за городом, на огнескладе. Набираю в мешок свой боезапас. Нравится мне динамит — красив, подлец: будто янтарь или загустевшее желе. Хрустящая конфетная обертка — умел фабрикант Нобель раззадорить потребителя. Идет в нашем деле и пироксилин, идет тол — вещества в работе менее опасные, но уважающий себя подрывник никогда не откажется и от динамита.

Нагрузился я взрывчаткой, возвращаюсь, а паровоз уже мурлычет, как закипающий самовар, и над трубой шапочка дыма. Вовремя вернулся. Только бы влезть в пульман, но внутренний голос предостерег: «А ведь на тебе клятва! Не ты ли вычеркнул из памяти свое офицерство, поклялся больше не браться за оружие — никогда, ни при каких обстоятельствах?»

Взволнованный, я почувствовал потребность разобраться в себе. Опустил мешок на землю. «Что же, не вступать на бронепоезд?» От одной этой мысли все во мне взбунтовалось. Перед кем же я клятвопреступник — перед богом,

тем самым богом, который когда-то лишил меня друга детства? Умница, добрый и честный Юрка Василенко был расплюсчен в тамбуре вагона. При крушении поезда никто не пострадал, а Юрку в четырнадцать лет схоронили. Старушки бормотали: «Божье наказание». А за что? Я требовал от бога ответа, поносил его страшными словами, жмурился, готовый к тому, что он разразит меня на месте, и злорадствовал, что богохульство сходит мне с рук. А больше ревел то в одиночку, то в обнимку с матерью Юрки...

Нет у меня бога — только совесть. Большевики приняли меня в свою среду. «Товарищ», — сказал мне, бывшему офицеру, рабочий киевского «Арсенала», и я был потрясен доверием. Грудь моя, как никогда, распахнулась для добрых дел...

Стою возле пульмана, размышляю. Беспощадно, будто в руках нож анатома, вонзаю и вонзаю в себя мысль, чтобы проверить, не гнездится ли где-нибудь в закоулках существа моего сомнение: идти или не идти на бронепоезд. «Готов ли, — допрашиваю себя, — взять оружие и воевать? Победить или погибнуть, жизнь отдать за знамя Октября?»

Замерев, прислушиваюсь к себе: если нетверд в намерении — честнее отойти прочь... Но в душе начинает звучать величаво-торжественная музыка, и узнаю я в ней услышанный от большевиков гимн будущей жизни на земле... Подхватываю мешок со взрывчаткой — и я уже в пульмане.

Мог ли я думать, что на тесной площадке неустроенного бронепоезда откроется мне истинное счастье?.. Но путь к познанию счастья не усыпан розами. Об этом пути — сейчас мой рассказ.

У железнодорожников в пульмане, гляжу, гость: почтенного возраста бородач в расшитой украинскими узорами, но выношенной до дыр домотканой рубаше, в соломенной, с широкими полями шляпе («брыль» по-здешнему), в обшарпанных, сбившихся в гармошку портках и в галошах на босу ногу. Живописный дядька этот стоял, облокотившись на массивное колесо гаубицы. Именно так, подумалось мне, поставил бы его перед аппаратом провинциальный фотограф. К месту и глиняная, с бисерными подвесками трубка во рту.

Каким-то случаем крестьянин этот попал на бронепоезд, назвался артиллеристом, и деповские шумно, с ра-

достными восклицаниями устремились к нему. Заглядывая в глаза, ловили его руки, чтобы пожать; пошлепывая тут и там по орудию, принялись допытываться: «А это что?.. А это к чему относится?..»

— Не трывай гармату,— только и ответил бородач. Все с почтительным видом попятились, а тот, попыхивая трубкой, продолжал стоять у колеса, будто и в самом деле ожидал, что вот-вот щелкнет аппарат фотографа и увековечит его на бронепоезде.

Внезапно в пульмане появился Богуш, начальник милиции. Мы сдержанно раскланялись. В городе этот молодой человек был известен по преимуществу как заливчатский танцор, партнер за карточным столом, да и выпить не дурак,— короче, любитель пожить в свое удовольствие. Встречались мы с ним по службе, но как человек он не вызывал во мне интереса.

Явился и вдруг объявляет, что он назначен командиром бронепоезда. Гляжу, Богуш и в самом деле в новой экипировке — бинокль, полевая сумка, болотные сапоги. Тут же вспомнилось, что состоял он в военкомате на учете как артиллерийский поручик.

Дает Богуш людям распоряжения, а на меня косится. Не вытерпел, отозвал в сторону и раздраженно вполголоса:

— Помощник городского военкома по политической части... Чем обязан вашему присутствию? Это что же — мне недоверие?

Но от моего ответа сразу повеселел:

— Ах, рядовым красноармейцем? Своею охотой? Очень патриотично, очень.— А узнав, что я со взрывчаткой, пожурил: — Здесь же артиллерийская установка — как можно! — и спровадил меня в задний бронированный вагон.

Наконец бронепоезд двинулся навстречу противнику. Гаубица открыла стрельбу, и стальной вагон, куда я попал, тут же превратился как бы в барабан. От каждого выстрела вагон гудит и содрогается, словно не игровыми палочками постукивают по этому барабану, а грохают двухпудовыми кувалдами. Но пулеметчикам хоть бы что: раскинув по полу ноги, они затаились возле своих «максимов», а у меня одно на уме: «Только бы не оглохнуть, только бы не оглохнуть». Мешок с динамитом заталкиваю подальше в угол и накрываю шинелью, тут же, впрочем, поняв, что в этой предосторожности нет никакого смысла.

Когда бронепоезд через час-полтора вышел из боя, Богуша в пульмане не оказалось. Железнодорожники, расте-

рянные, вздыхали: «Ранили его, пересел в санитарную фуру». Позже стало известно, что наши санитары Богуша не подбирали, а вслед за этим удалось установить: поручик переметнулся к петлюровцам... Я был ошеломлен. Острый стыд за человека — ведь он моего круга — опалил меня. Какой же это подлец, какое ничтожество!

Позвали меня в будку стрелочника. Оказалось — пункт полевой связи. Беру из рук красноармейца трубку и называю себя. Слышу голос — говорят, а я не понимаю, нелепица какая-то. Прошу повторить. Нет, не ослышался — это комбриг подоспевшей к Проскурову бригады приказывает принять командование бронепоездом.

— Да я же,— кричу,— сапер, в артиллерии ничего не смыслю... Вы путаете меня с кем-то!

Но голос был жестким. В трубке отбой. Торжествует военная дисциплина.

Возвратился я в пульман, а не опомниться. Железнодорожники мечутся по вагону, крики, ругань — узнали и здесь об измене Богуша. Спокоен только один, новый для меня, человек — матрос. На бескозырке чернильное пятно — вытравлена в названии корабля буква «ять» как отмененная в советской азбуке. Явился матрос с угощением: выставил команде корзину моченых яблок. Покусывал сам румянящее, да посмеивался, дразня негодующих железнодорожников:

— Салажата вы, салажата... Кому поверили... Да мы на Черном море эту гниль — за борт! А кто из офицеров еще небо коптит — предатели революции, все до одного!

«Рано объявляться», — предостерег я себя, а что делать — не соображаю.

Гляжу — собирают подписи. За отсутствием чистой бумаги пустили по рукам телеграфный бланк.

— Тебя ставим командиром, Иона Ионыч! — объявили бородачу.

Голубой бланк все ближе ко мне, все ближе, а я внутренне все сжимаюсь, все сжимаюсь... Спасибо, матрос задержал:

— Почекайте, яблоко доем.

Стрельнул огрызком за борт, подкрутил рыжие усики — и только тут заглянул в подписной лист:

— Та-ак... Иона... По священному писанию, в утробе кита побывал, да чудесно спасся... А фамилия так и не назначена ему?

Железнодорожники спохватились — и к бородачу. Тот степенно:

— Фамилие мое Малюга.

Сунулись к матросу восполнить в бумаге пробел, а он:

— Почекайте, хлопцы, это еще не все. А Малюга — грамотный? — И матрос, иронически сощурившись, оглядел бородача с головы до ног: — Ясновельможный пан, если судить по штанам.

— Я — пан?! — вскричал бородач и, засучивая рукава, двинулся на матроса, тут же отшвырнув с ног галоши.

Быть бы драке, но матрос мгновенно схватил корзину с яблоками, выставил ее перед собой, и бородач, не рассчитав удара, попал кулаком по корзине. Яблоки рассыпались, и бородач в замешательстве остановился. Лицо его плаксиво сморщилось, и он принялся попрекать матроса. Гневной украинской его речи я не понял, лишь по отдельным словам догадался, что его, бедного селянина, немецкие каратели ограбили, хату спалили, сам он бежал в лес.

— Не пан я, а партизан! — твердил бородач, топая босыми ногами. — Германца гнал с Украины, а зараз камень рушу по каменоломням. — И он вывернул наружу заскорузлые ладони. — Бач, чи таки у пана?

Матрос с виноватой улыбкой обнял бородача и что-то наговаривал ему на ухо, пока тот не успокоился. Затем спросил артиллериста про службу. Тот назвал Порт-Артур.

Матрос усмехнулся:

— Так это когда было! При царе Горохе да при царице Евдохе!

Каменотес смущенно затеребил бороду:

— Трохи и на германской...

— Да, небогато... — И матрос помолчал, раздумывая. — А скажи, товарищ, честно, как сам считаешь: годишься ли ты в командиры бронепоезда?

Бородач не ответил, а занялся своей трубкой: заправил свежим табаком, высек кресалом огня, помахал фитилем, чтобы раздуть искру, закурил и — скрылся в облаке дыма.

Железнодорожники забеспокоились. Допытки матроса поколебали их уверенность в старом артиллеристе. Забыли и про подписной лист. Но нашлись и заступники.

— Не дело это, моряк. Пришел, когда мы уже в бою побывали, а человека поносишь... — И принялись расписывать, как Малюга управлялся с орудием: — Дернет за шнур — гаубица козлом взбрыкнет. В пульмане весу поболее тысячи пудов — и тот ходуном ходит!...

— Понятно,— кивал матрос, поглядывая на гаубицу,— у такого калибра отдача большая. А попадания-то были куда надо? — Эти слова он обратил уже к бородачу. А тот вместо ответа запальчиво:

— Моряка надо ставить командиром! Как твое фамилие?

— Не, не,— отмахнулся матрос,— это не по мне. На эсминце сигнальщиком стоял. Винтовку дадите — вот и сгложусь на этом сухопутном корабле. А звать меня Матвей Федорчук.

Наступила тишина — и слышу я цокот копыт. Гляжу — всадник правит сюда. «Ко мне. Вот не вовремя!» И я перемахнул через борт всаднику навстречу. Так и есть — пакет из штаба бригады. В нем две полоски бумаги. Одна, с печатью, удостоверяет, что я командир бронепоезда. Другая — оперативная. «В сумерки,— сказано в ней,— приведя в негодность железнодорожные устройства, отойти от станции на расстояние гаубичного выстрела». Прячу листки и возвращаюсь в пульман с мучительной думой: «Как же объявиться, как?..»

До этого матрос не останавливал на мне внимания, хотя я и выделялся среди деповских красноармейской одеждой. А сейчас так и кинулся ко мне:

— Из штаба пакет? Чего там?

— Ерунда,— сказал я с напускным пренебрежением,— накладная с огнесклада — сколько чего мне выдано. Я же на бронепоезде подрывник.

Остаток дня простояли без дела. Кто дремал, кто в картишки перекидывался. Малюга храпел на чехлах от орудия. Я засветло приготовил подрывные заряды и уложил их в корзину из-под яблок. Матрос не возражал.

— Бери, не жалко.

Но мне был нужен он сам, и, когда стемнело, я позвал его с собой.

— От скуки разве... — Матрос зевнул, взял винтовку, и мы пошли. Машинист тем временем оттянул бронепоезд со станции.

Рельсы в темноте угадывались по синим бликам от звезд. Вот и последняя стрелка. Грохот взрывов сразу привлекает внимание, настораживает врага. Поэтому приходится действовать быстро. Крестовина стрелочного перевода — литая сталь, а от заряда динамита разнесло ее так, что только голое место дымилось. Всякий раз, поджигая

папирсой хвостик бикфордова шнура, кричу матросу: «Под откос! Падай!» — сам валюсь рядом и прижимаю к земле и его голову, и свою. Следует взрыв, и со шмелиным гудом разлетаются куски рельсов.

— Здорово! — в веселом возбуждении удивлялся матрос. — Да у тебя все на секунды рассчитано! И ведь на часы не взглянешь!

— На часы — некогда, — сказал я, — а расчет простой: горение шнура — сантиметр в секунду. Вот мысленно и отмеряешь двузначным счетом: «Двадцать одна, двадцать две, двадцать три...»

— А если ошибешься? Ведь и пожалеть себя не успеешь. Вот это работа — не на всякого!

Знакомство с матросом — то, что мне нужно, — состоялось. Пора и к делу, и я, набравшись храбрости, предъявил ему удостоверение со штабной печатью. Посветил электрическим фонариком. «Командир бро-бронепоезда...» — читая, едва выговорил Федорчук и с удивлением поднял на меня глаза. «Смелее, — приказал я себе, — раскрываться, так до конца!»

— Да, — подтвердил я, — перед вами командир бронепоезда. Но должен добавить: сам я из бывших офицеров. Один офицер сбежал — другой перед вами!

Тот и рот разинул — столбняк с человеком. А я откинул клапан кобуры, выхватил свой наган и матросу: «Держите! И чтоб глаз с меня не спускать, слышите? При малейшем подозрении, что намерен изменить, стреляйте — наповал!»

Матрос, ошеломленный, ничего не понимая (наваждение какое-то, офицер за офицером), положил передо мной на землю наган и поспешил прочь.

Я пошел к бронепоезду. Уже я у пульмана, но никто меня не окликнул, часовые не выставлены. «Эх, вояки, вояки, — огорчился я, — бери вас голыми руками вместе с гаубицей!»

Надтреснутый голос бородача в пульмане заставил меня прислушаться.

— Ты где, моряк?

— Ну? — отозвался матрос.

— Людей налякалы, а як зробылы?

Матрос не упустил случая «потравить»:

— А добре, дядя, зробили. Стрелки, рельсы все в — яйчицу!

Смех, возгласы удивления... А я жду, должен же мат-



рос что-то сказать обо мне... Видать, мнется. Наконец выговорил:

— Мастеровитый человек делал дело. Сам из образованных. Считаю, потянет и на командира бронепоезда.

«Молодец,— восторжествовал я,— умница!» Тут же отложил свое намерение предстать перед командой и устремился к паровозу. Пришла пора расстаться с Проскуровым: «Прощай, друг-городок, не в добрый час мы покидаем тебя...» Седой машинист в фуражке с серебряной каймой выслушал мое распоряжение, деловито кивнул и повел бронепоезд за семафор. Я проехал на подножке паровоза, затем кликнул из пульмана матроса, и мы, теперь уже поделив работу, принялись взрывать оставшиеся стрелки.

Взошла луна, осветила отошедший в поле бронепоезд. Гляжу, железнодорожники оседлали борта пульмана, а в толпе у гаубицы по белой рубашке узнаю Малюгу. Любопытствует, что такое подрывник, как действует, а мне и на руку: поглядите, мол, поглядите, каков смельчак ваш командир! И уж я постарался: лихо укорачивал и без того в обрез рассчитанные хвостики бикфордова шнура. Это делало зрелище особенно эффектным: издали, с бронепоезда, могло показаться, будто пламя взрыва я пускаю чуть ли не из рук, как птицу.

Возвращались с матросом в пульман оживленные, довольные друг другом. Первая часть приказа комбрига — привести в негодность железнодорожные устройства — выполнена. Оставалась вторая: «Отойти на расстояние гаубичного выстрела». Но что это за расстояние, я и понятия не имел. И тут меня осенило: «Положусь на Малюгу — очень будет кстати оказать старому артиллеристу уважение. Пусть прикажет машинисту».

Не намеревался я оповещать людей о своей неосведомленности в артиллерии. К чему? Только встревожишь команду во вред делу. Но Малюга — хитрый мужичок: вопрос-другой — и выведал, что в устройстве орудия я профан... Как он возненавидел меня! Выплыла наружу затаенная его уверенность в том, что именно ему нужно быть командиром бронепоезда. А тут круть-верть — какой-то ловкач переступает дорогу. Чего же, мол, стоит такой командир, кроме презрения!

Я понимал душевное состояние Малюги. Но нельзя же терпеть разброд на бронепоезде: только сплоченная команда боеспособна. А опереться не на кого. Железнодоро-

рожники открыто сочувствовали обиженному артиллеристу. На матроса? Но Федорчук и сам забеспокоился, что я, пришедший командовать бронепоездом, не артиллерист. Заподозрил неладное: «Бывший офицер... А вдруг и этот контра?» И тайком от меня побывал в штабе бригады. Явился товарищ из политотдела. Познакомились. Мне было приятно услышать, что в политотделе бригады знают меня и ценят по прошлой моей работе в военкомате и готовы всячески помочь освоиться на бронепоезде.

Я собрал команду. Политотделец, как принято, сделал доклад «о текущем моменте» и, говоря о накале гражданской войны, привел набатные слова Демьяна Бедного: «Товарищи, мы в огненном кольце!» Чтобы подбодрить встревожившихся слушателей, сказал, что в Красную Армию вступает много добровольцев, что рабочие на заводах день и ночь куют оружие. В заключение политотделец, указав на меня, объявил, что командовать бронепоездом поставлен проверенный и знающий военное дело товарищ.

Докладчику, как водится, похлопали. Хорошо выступил матрос — в глазах его на этот раз я читал доверие ко мне. Он поддержал рекомендацию политотдела. Словно спохватившись, что с первой встречи не узнали меня, оживленно заговорили двое железнодорожников: вспомнили, что, еще будучи экспедитором в военкомате, я выдавал им и для депо, и для станции газеты и литературу, за что они и посейчас мне благодарны... Малюга на собрании был, но к происходившему не проявил ни малейшего интереса. Я рассказал товарищу из политотдела о крупном между нами разногласии, и тот понял это так, что я хочу получить другого артиллериста. Но я решительно возразил против замены: «Не трогайте человека, это крестьянин, партизан, заслуживает уважения, и грош мне цена как командиру, если не сумею установить с ним правильные отношения».

Я понимал, что ни листок со штабной печатью, ни рекомендация политотдела еще не создали из меня командира. Пока не услышу голоса признания от вольницы, в среду которой попал, я командир лишь по названию, а по существу — ничто.

Власть царского офицера держалась на уставах и свирепых военных законах. Сам он мог быть бездельником и даже негодяем, но посмей только солдат слово сказать против офицера... Вспомнилось мне, как пьяница ротный расправился с Ибрагимом; отличный плотник и образцовый солдат погиб ни за что... О, революционный коман-

дир, как я представлял себе,— это совсем, совсем другое! Это человек дела, любимец красноармейцев и вместе с тем непререкаемый для них авторитет! Да, нелегкая передо мной встала задача... Так я размышлял, лежа в пульмане среди спящих людей команды. От железного пола, на который я смог только шинель постелить, ныли бока; со сна на меня навалились — кто головой, кто ногой, и все-таки мне с этими людьми было уютно, душе уютно... Темно-бархатное южное небо полно крупных звезд, будто светлячки мне подмигивали из неведомых далей. Эх, сгрести бы их в пригоршню да кинуть вперед, чтоб посветили моим думам... В самом деле, с чего начинать?

Наутро встал — и готово решение: избу срубить для гаубицы. «Есть, сварганим!» — подхватил почин матрос. Определился он к гаубице правильным — хвост лафета заводить вправо-влево, помогая Малюге поймать цель на мушку. Слов нет, работа на богатыря, но ведь не все же время бронепоезд в бою. А томиться без дела даже на отдыхе согласен не каждый. Короче, Федорчук мигом из железнодорожников и пулеметчиков сколотил строительную команду. Я набросал чертежик. В пульмане вдоль железных бортов поставили из сосновых плах внутренние стенки. Пространство между бортами и стенками завалили мешками с песком. Крышу срубили бревенчатую на два ската. Вышел я поглядеть снаружи на избу — и залюбовался гаубицей: будто красавица в оконце... Теперь ни пули, ни осколки снарядов ни ей, ни людям у орудия не страшны — повеселее стало воевать. Прибрали новое помещение, вымыли деревянный пол, каждый и в собственных вещах навел порядок.

Между тем хлопот под командирскую руку набралось: бойцы должны быть сыты, обуты, одеты по форме, гаубица и пулеметы бесперебойно с боеприпасами, паровоз своевременно заправлен... На все это меня хватало. Но как превратить толпу в воинскую часть — оставалось задачей. А в мыслях заколдованный круг: чтобы люди поверили в меня, исполняли бы мои приказы, я обязан дело знать. А сунься-ка в бою командовать, ничего не смысла в артиллерии!

Короче сказать — в бою я зритель. Мучительное состояние! Легче, казалось мне, быть распятым — там хоть гвоздями прибит, оправдание, что двинуться не можешь, а тут — бездельник среди бойцов. Пробовал помогать людям: то ящик со снарядами вскроешь, то выбрасываемые гаубицей медные гильзы-кастрюли примешься откатывать.

Но черт поberi — я же не подручный, в конце концов, и не уборщик, а командир бронепоезда! И не выдержал я командирства по названию...

Конный доставил распоряжение комбрига: «Обстрелять станцию Проскуров». Мотивировка: «На станции замечены поезда». Местность, где держал позицию бронепоезд, холмистая, для противника мы не заметны, но и нам не видать станцию. Но Малюгу это не смутило. Пошептаться с прицельным приспособлением на гаубице — и давай стрелять. Раз бухнуло орудие, два бухнуло, три бухнуло. Мощный ствол резко откатывается, и похоже, будто гаубица, пугаясь ошеломляющего своего рева, всякий раз вжимает голову в плечи. А Малюга знай дергает за шнур, сплетенный из желтой кожи в елочку. Делает он это наотмашь, картинно приседая на одну ногу, явно, чтобы им любовались.

Стою беспомощный, и нарастает во мне возмущение бездумной тратой снарядов. Всякий раз, когда пополняет наши припасы вагон-летучка, интенданты предупреждают меня, что ни снарядов, ни зарядов крупных калибров сейчас не вырабатывают — расходует и добирает уже запасы старых арсеналов. Только и слышишь: «Пожалуйста, поэкономнее в стрельбе».

На шестом снаряде я не выдержал, подошел к Малюге:

— Вслепую стреляете, желто-блакитным на потеху! — Да и сорвись у меня с языка: — Наблюдательный пункт нужен!

Бородач медленно ко мне повернулся. Был он теперь в красноармейском. Ткнул пальцем под козырек фуражки (мол, хватит тебе чести и в один перст), и лицо его расплылось в злорадной усмешке:

— А де ж у нас наблюдатель?

«Дерзну!...» — решил я и где ползком, где вперебежку стал пробираться вперед, забирая в сторону. И вот я уже на высоком дереве, сел, замаскировавшись в листве. Внизу — красноармеец с телефонным аппаратом; на другом конце провода, возле пульмана, готов принять мои команды матрос. Навожу на станцию бинокль. Конечно, я не сомневался, что взорванные нами стрелки уже починены, но увидел то, чего никак не ожидал увидеть. Серое чудовище — ни окон, ни дверей, — не сразу иобразишь, что это поезд. Наконец разглядел: стальной панцирь по самые рельсы, четыре орудия в башнях... Крепость на колесах! Невольно сравнил я эту заграничную черепаху с нашим тят-ляп бронепоездом... Страшен противник, но подбадри-

ваю себя: «А ведь в незваную гостью достаточно вклеить гаубичный снаряд — один-единственный! — и черепаха лапки кверху. Но требуется точный артиллерийский расчет...» О, как казнился я в эту минуту из-за своей беспомощности! Но стрелять надо, приказ. Обрадовался, что при мне бинокль и компас, и следом в памяти воскресла студенческая практика, и училищная глазомерная съемка в поле. Строю на планшете треугольник с вершинами: А — черепаха, В — наш бронепоезд, С — я на дереве... Какие я подавал команды — срам, уши горели от стыда... Черепаха спокойно удалилась, но пути на станции я все-таки измолотил. Рельсы вздыбились штопором, и на них повисли вырванные из земли шпалы — будто ребра какого-нибудь динозавра.

Возвращаюсь в пульман. Встречают молчанием, но люди, чувствую, изнывают от любопытства: «Как, мол, оно там получилось?» А я будто и не замечаю никого и ничего. Говорю телефонисту:

— Отправляйтесь на пункт связи.— И составляю телефограмму, выговаривая каждое слово так, чтобы все слышали: «Комбригу. Приказание выполнено. Станция обстреляна и вновь приведена в негодность. Обнаружен у врага бронированный поезд с четырьмя башенными орудиями, калибр не установлен».

Вилка... Простая вещь, но как мне ее не хватало... Говорю не о приборе к обеду, а о важном законе артиллерийской стрельбы. Ведь только подумать: зажмешь в вилку и — бац! — приканчиваешь стальную черепаху с одного снаряда... Но это мечта. А события пошли так. Еще сидя на дереве, я понял, что между нашим избяным поездом и крепостью на колесах неизбежна схватка лоб в лоб. И все мысли к одному: что-то надо предпринять, надо действовать, действовать, пока не поздно!

Матрос опять мне: «Сварганим!» И кинулись ребята обивать железом бревенчатую крышу над пульманом, чтобы в бою не загорелась. Тешились самообманом, ведь понимали: кровельное железо не преграда снарядам. «Федорчук, — сказал я, — побудете на бронепоезде за командира». И поспешил на полевую батарею бригады. «Почитать бы, — думаю, — артиллерийские уставы, наставления...» Но куда там — пришел, а батарейцы сами без литературы. Довольствуются рукописным справочником, его составил по памяти командир батареи в школьной тетрадке. Дали мне тетрадку — чернила нынешние, бледные, почерк плохо

разбираю, формулы непонятные, да и зачитано все до дыр... Отступился я от тетрадки, а с батареей не ухажу, упрямствую, жду помощи. Ведь не в старой же я армии, где никому ни до кого дела нет, а среди товарищей! Кончилось тем, что командир батареи худо-бедно, но просветил меня в артиллерии, а понятие о вилке я воспринял с восторгом. Вот чего не хватало мне, когда я взобрался на дерево наблюдателем: умения рассчитывать огонь! Сейчас иное, и я решаю показаться черепахе на глаза. Надо это, надо, а то команда страшится открытого боя: мол, там четыре орудия, а у нас одно — враз и прикончит.

Еще стелется прохватывающий холодком туман, и все мы в пульмане поеживаемся. Не отрываясь, гляжу в бинокль и вдалеке, где рельсы сходятся в точку, начинаю в просветах тумана различать как бы маленький серый комок... Она, черепаха! Будто расступились холмы, открылась степная равнина, мы — два бронепоезда — друг перед другом на прямой. Взблеск выстрела, чуть приметный вдали, — и накатывается, нарастает вой снаряда... Все замирают — мало радости чувствовать себя мишенью. Но — перелет, рвануло у нас за спиной. «Мимо-о!» — всплеснулось радостью в пульмане. Но я-то уже просвещен: это не промах, а начало пристрелки по нашему бронепоезду. Так и есть: теперь с треском лопнула шрапнель впереди пульмана. Два белых дымка в воздухе — мы в вилке.

Сейчас вражеский артиллерист начнет вилку половнить... Угадал: третья шрапнель — и вилка сузилась вдвое, пора убираться. «Вперед!» — скомандовал я в рупор, и машинист прямо-таки вытолкнул бронепоезд из вилки. Но враг маневра не заметил: расстояние между нами около четырех верст, а сократилось на какие-нибудь сто сажень. Артиллерист еще раз споловинил вилку и, уверенный, что мы пойманы, принялся бить залпами из всех четырех орудий... по пустому месту. От фугасных снарядов словно воздух сзади почернел, дым, смрад занесло и в пульман. Люди чихают, кашляют, но в восторге хохочут.

— Вот когда мимо-то! Соображать надо! — зычным голосом перекрыл шум матрос. — А то с пристрелкой спутали, чудак! — И ко мне: — А может, хватит волка дразнить? Мы ведь с вилкой только на пробу вышли, ребят подбодрить, а, товарищ командир?

— Завершим маневр и уйдем, — сказал я, — глядите, все идет как по маслу.

И в самом деле: обнаружив промах, вражеский артил-

лерист принялся строить новую вилку. Я дал ему возможность потрудиться, затем скомандовал: «Наза-ад!» — и поезд опять выскочил из вилки. Черная буря поднялась уже впереди бронепоезда. Залетевшие в пульман осколки снарядов вреда не причинили. К слову сказать, по осколкам Малюга определил, что черепаха вооружена трехдюймовыми орудиями. Это уже полегче. И все-таки четыре против одного, к тому же преимущество трехдюймовок перед гаубицей — скорострельность. На чьей же стороне перевес — решить это может только бой.

— А черепаха-то ушла! — вдруг сказал матрос. — Верьте, ребята, глазу сигнальщика!

Я вскинул бинокль... Верно! Не отважилась идти на сближение с гаубицей. Только дымком, удаляясь, попыхивает на горизонте.

Чувство удовлетворения удавшимся в бою маневром не покидало меня весь день, с ним я и уснул. Но у каждого, кто на фронте, есть в подсознании молоточек. Часовой того не уследит, что уследит этот инструмент. Стук-стук — и вскакиваешь еще до сигнала тревоги. Однако в этот раз не бдительный молоточек, а разбудил меня матрос — он спал рядом.

— Матвей Иванович, — отозвался я с досадой, — что это вы среди ночи? ..

Одолеваемый зевотой, я не сразу проник в смысл жаркого его шепота. Улавливал отдельные слова: «Команда... Разговоры... Только...»

— А почему бы людям не погудорить? — возразил я и повернулся на другой бок. — Давайте спать, Федорчук.

Но матрос не отступился. Он нащупал в темноте мою руку и принялся ее трясти. Заснешь тут!

— Да о вас разговоры! — шептал матрос. — После вчерашнего. Поддели их на вилку — вот и разглядели в вас командира...

Взволнованный, я сел. Новость-то какая, о ней не шепотом — в подный голос говорить! Но вокруг спящие. Вышли мы из пульмана — и остановились.

Аромат трав — не надыхаться, неохватное небо, хоро- водом звезды... И у меня на фуражке звезда — самая мне близкая, самая яркая на свете!

Сели за кюветом, возле телеграфного столба, да и потонули в некошеном разнотравье...

— Бразды правления натягивайте теперь покрепче! — заявил матрос.

«Вон как!» — я еле сдержал улыбку. Впрочем, в дружеском матросском слове даже штамп прозвучал для меня приятно.

Тут же выяснилось, что и на этот раз не обошлось без подписного листа. Каждый член команды подписью удостоверил, что согласен мне, такому-то, во всем подчиняться. Бумага должна стать в моих руках как бы векселем. Ослушался боец, а я ему вексель: «Твоя подпись?» Нетрудно было догадаться, что это затея Федорчука. Перестарался моряк. Не без труда, но уговорил я его этот неуклюжий документ уничтожить и отправил матроса спать.

И вот я наедине с собой... Продолжаю сидеть в траве. Надо многое, многое обдумать... Пала предрассветная роса, день будет хороший. Срываю перышки полыни. Люблю растереть их и понюхать — дух крепкий, бодрящий, а возьмешь полынную зелень на зуб — всего передернет от горечи. С характером растеньице...

Но какая ночь! Подумать только — на бронепоезде рождается боевое братство... Как же случилось, что я стал нужен людям, что — как выразился матрос — мне вручают «бразды правления»? В самом деле — кто я такой для здешних крестьян, партизанивших против помещиков и иноземных грабителей, для деповских слесарей, чернорабочих на станции, стрелочников?

Глянуть со стороны — явился на бронепоезд бывший офицер, что в нынешней обстановке равнозначно чужаку. А тут еще измена негодяя Богуша... Попытка товарища из политотдела расположить ко мне людей бронепоезда ощутимого результата не дала — ведь и Богуш, всем понятно, прежде чем стать командиром, был проверен в политотделе и в других соответствующих местах.

Итак, я из «бывших», мало того, еще и русак, не умеющий объясняться с людьми на их родном языке.

Работа при гаубице требует людей физически сильных, и я не препятствовал Малюге набрать себе в помощь односельчан. Пришли босиком, полунагие, и любо было поглядеть на парубков, когда матрос обмундировал их. Понравились мне ребята, но всякий раз, когда я пытался с ними заговорить, тарасили на меня глаза, пугаясь, что я рассержусь, так как им малопонятна моя русская речь. Обидно, что, оказавшись на Украине, я не освоил языка народа. В Проскурове, как и в других городах, изъяснялись на



русском, а среди селян я не бывал. Вот и потребовался, к стыду моему, на бронепоезде переводчик — прибежал я к помощи матроса. Но в бою — с переводчиком!..

Далее, я не артиллерист. В глазах Малюги — бессовестный ловкач, отнявший должность командира у него, артиллерийского наводчика. Затаил бородач на меня обиду, и не просто ее исчерпать — человек норовистый.

Разглядывая себя со стороны, я для счета пороков клал перед собой камешки. Изрядная образовалась кучка, но — раз! — пнул ногой, и камешков нет, я чист перед людьми! Но ведь так в жизни не бывает... Матрос сослался на чудодействие вилки. Слов нет, маневр удался, и люди имели возможность оценить во мне и самообладание, и верность глаза. Но эта пара черточек еще не делает командиром, тем более в представлении людей, для которых, чувствую, я еще чужак. Нет, нет, жар ночных восторгов матроса был явно перегретым.

Конечно, были и другие случаи, когда я справлялся с задачей. Отважился же руководить стрельбой, не имея понятия, как это делается; но взобрался на дерево, поразмыслил — и выполнил приказ: снаряды легли куда надо. А лихие мои действия с динамитом в руках, когда потребовалось испортить станционные пути, — это же было зрелище, и опять мне на пользу!

Словом, люди постепенно обнаруживают, что я как военный кое-чего стою. Но не желаю выглядеть «военспецом»! Военспец в буквальном значении — это бывший офицер, который не бежал от Октябрьской революции, но и не примкнул к ней. К услугам этих сторонних наблюдателей Советская власть вынуждена была прибегать при строительстве Красной Армии. Но разве я таков? В грозный час обострения гражданской войны не мыслил себя иначе, как в боевом строю с народом. Оставил военкомат и без претензий, рядовым бойцом вступил на бронепоезд. И не своей волей сделался командиром. Но если уж командир, то отдавай себя людям — всего, полностью. И отдаю. Отдаю с новым, праздничным чувством, которого не ведал, будучи офицером в погонах. Воспитали его во мне большевики в Проскурове.

Дел неувпорот, но «силушка по жилушкам перекачивается», говоря словами сказки, руки тянутся к работе. А жизнь, что ни шаг, озадачивает... Вдруг обнаруживаю, что пришедшие воевать деревенские, в том числе и Малюга, не признают белья. Одно дело — в бою при гаубице, тут пропадешь, не оголившись до пояса. Но раздобытое

мною белье вообще не разобрали. «У голытьбы да белье? — усмехнулся на мое недоумение матрос. — Батрачишь на помещика — только и думки, чтобы ребятишки с голоду не ревели. Какое уж там белье, наготу прикроешь — и ладно...»

— Товарищ Федорчук, говорить об этом надо не ровненьким голосом, а с гневом! — заявил я. — Нищета народа — несчастье, но дважды несчастье, когда она перерастает в косную привычку жить в грязи!

Напустился я на матроса, кажется, с излишней горячностью, но Федорчук меня понял. Решили открыть поход за чистоту и для начала свести всех в «поезд Коллонтай».

Известная большевичка Александра Михайловна Коллонтай для обслуживания армии снарядила поезда, которым красноармейцы тут же присвоили ее имя. В каждом поезде баня, прачечная с протравливанием белья от насекомых, лекционный и зрительный залы, литература, газеты. Вагоны снаружи были пестро разрисованы — плоды буйства фантазии формалистов. Сцены изображали богатырей в буденовках, от пинков которых вверх тормашками летели буржуи, попы, колчаки, деникины, пуанкаре и керзоны вкупе с бывшим царем, который кувырчался прытче всех.

Прежде чем войти в вагон-баню, мы, команда бронепоезда, прошли вдоль состава. Мне было любопытно, как примут рисунки крестьяне, железнодорожные рабочие. Слов одобрения не услышал. Малюга подивился, как это красноармейцы с половинными клинообразными головами могут воевать. А племянник его, верзила, стоящий у гаубицы замковым, по дурости запустил камнем в стенку вагона: не устоял против того, чтобы убить тифозную вошь. Надо отдать художникам должное: изображение этого омерзительного насекомого размером с борова вызывало у зрителя и содрогание, и потребность тут же кинуться на банный полук.

Побанившись, умиленные ощущением белья на чистом теле, ребята отсидели час в лекционном вагоне на беседе с врачом-гигиенистом. Молодая женщина-врач по моей просьбе пугала тех, кто гнушался бельем.

А в заключение перед нами в этом же поезде выступили московские артисты.

Новобранцев, попадавших в царское время в артиллерию, сажали за парты и обучали грамоте. У Малюги от бывлой солдатской грамоты сохранилось только умение счи-

тать: не зная счета, около пушки и делать нечего. Расписывался старый артиллерист не привыкшей к перу рукой, отчего подпись-каракулька всякий раз выглядела по-разному. Матрос, разумеется, был грамотным. Дёповские рабочие читали — и то не все — по складам, но артельно одолевали половину передовой в газете «Беднота». Другую половину приходилось дочитывать вслух матросу или мне. Пришедшие на бронепоезд деревенские ребята сказались неграмотными — все, как один. Газеты растаскивали на курево. Но невзначай обнаруживалось, что то один, то другой гудит голосом, разбирая печатное. Непонятная деревенская скрытность...

Обратился я в политотдел, и на бронепоезде стала появляться комсомолка. Самое слово было еще внове, звучало в ушах неожиданно и свежо — и слилось оно в моей памяти с обликом этой девушки, под грохот войны окончившей в Проскурове гимназию, от ножа петлюровских бандитов потерявшей семью, с глазами, в которых испепеляющим огнем загоралась ненависть при упоминании о врагах Советской власти, — но эти же глаза теплились добротой и счастьем, когда она, Манечка Шенкман, садилась заниматься с нашими бойцами. Она не только открыла на бронепоезде школу грамоты, но, добиваясь беглого чтения, сумела приохотить своих учеников к книжке. К ней уже обращались с вопросами, которые не решались задать мне, командиру; в сложных случаях она вопросы записывала, чтобы ответить на следующем занятии. Само появление ее на бронепоезде в строгом платье с белоснежным воротничком, магически истребляло в вагонах грязь, мусор, множило в команде актив борцов за чистоту и опрятность. Ее слушались, ей внимали, ее любила вся команда.

Малюга, распахнув рот с прокуренными зубами, мне улыбнулся. Такого еще не бывало. Я быстро взглянул бородачу в глаза и убедился — улыбка не деланная, глаза засветились чувством приязни.

— Будь ласка, добрый тютюн... — И бородач, прищелкнув подмигнув мне, вынул кисет, украшенный, как и его фигурная трубка, бисером.

«Еще и табаком угощает, — продолжал я удивляться, — откуда такая перемена в человеке?» Держался почтенный бородач на бронепоезде как чудодей, единолично владевший тайнами и загадками артиллерии; любопытных отводил соваться к орудию, артиллерийскую прислугу подобрал сам. И вдруг передо мной, на кого обиду затаил, раскрывает кисет. Неужели та же вилка сработала? Види-

мо, начинает понимать чудодей, что он не единственный на бронепоезде, кто способен распорядиться в артиллерийском бою (о том, что продолжаю брать уроки на батарее, я ему, разумеется, ни гугу).

— Благодарю вас, Иона Ионыч,— сказал я и, проворно свернув из клочка бумаги козью ножку, потянулся за щепоткой крупно нарубленного самосада.

А тут — матрос:

— Стоп, товарищ командир, этак дело не пойдет! — И он возвестил команде: — Раскуривается трубка мира! — Вступив в роль церемониймейстера, матрос сам набил трубку из бисерного кисета, запалил и подал мне. Затянулся я — и дыхание перехватило, слезы затуманили глаза, до того зверское в кисете зелье.

— Добрый тютюн,— отозвался Малюга на мои слезы.

Теперь он и сам курнул трубку. Трижды трубка ходила ко мне и обратно, после чего матрос потребовал, чтобы мы пожали друг другу руки. Выполнили и это, и, когда Малюга, обняв меня, прошелся своей тяжелой дланью каменотеса по моей спине, будто рашпилем царапнул, я почувствовал: мир восстановлен! А как обрадовались «трубке мира» все до единого бойцы бронепоезда!

Бывает ли, что человек рождается вторично? Могу засвидетельствовать: бывает! На бронепоезде я, двадцатидвухлетний парень, стал новорожденным. Не случись такого со мной, я бы не поверил, что человек способен вместить заряд энергии, достаточный, чтобы сокрушить любого врага, вооружившегося против Страны Советов; не поверил бы, что в человеке неизбывный очаг высоких и прекрасных чувств, дай им только проявиться... Я готов был каждого, как Малюгу, обнять и каждого заслонить собственной грудью в бою. А люди заслоняли меня и порой падали от пуль и осколков, предназначенных мне. Я ограничивал себя во всем: если не хватало еды, не брал в руки ложку; если люди обнашивались (а на бронепоезде одежда и обувь горели на бойцах, иногда в буквальном смысле), вновь добытое обмундирование раздавал команде, сам оставаясь в заплатанном. И от себя и от бойцов я требовал по обычной человеческой мерке невозможного,— дисциплина у нас утвердилась пожестче, чем требовали статьи известных мне уставов; но, несмотря на тяготы службы, в бойцах не иссякали задор и веселье.

Крепла вера в победу развевавшегося над бронепоездом красного знамени; и, когда мы вкатили-таки гаубичный снаряд в черепаху, отчего та развалилась на куски,

бойцы восприняли это как должное, с великолепным чувством собственного достоинства.

Мне восемьдесят, но свет счастья в духовной моей жизни не иссякает. В лучах этого света сформировался мой характер. Я оптимист, мне радостно и жить, и трудиться, и, конечно, делать добро людям.

Здесь же, на бронепоезде, в боях и невзгодах, я понял наконец девушку, которую знал с детства. Лидия Александровна Фотиева была счастлива, я в этом убежден. Счастье революционера — в борьбе; и никакие силы — ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторга — не способны омрачить это счастье.

# Часть Четвертая

1941 год. . . Я — командир саперного батальона вот уже целый час. Иду по улице и нет-нет да и придержу шаг. Напускаю на себя строгий вид, чтобы какой-нибудь прохожий не заподозрил во мне, военном, мальчишества, и перечитываю строки на узком, экономном листке бумаги: «Капитану запаса инженерных войск такому-то. Вы назначается. . .»

А как ювелирно отчетлив оттиск печати! И неудивительно: печать новорожденная, только что из-под резца гравера. Государственный герб — и по ободку надпись: «Ленинградская армия народного ополчения. Штаб Н-ской стрелковой дивизии».

Аккуратно складываю листок, но далеко не прячу: отстегнешь пуговицу на кармане гимнастерки — и листок опять в руках перед глазами.

Я горд и счастлив назначением — вот мои чувства. Не первый раз я в боевом строю Красной Армии!

Шагаю по набережной Невы. Сделал крюк, только бы выйти к нашей красавице: у ленинградца это вроде ритуала — и в радости, и в горе он устремляется к Неве.

Раннее июльское утро. Свежесть. Бодрящий озноб. . . Навстречу ветерок с моря — и такой простор! Здесь стихия солнца, будто только что умывшегося в водах Ладоги и еще не задымленного заводами. Светит ослепительно ярко.

Над Невой, держась на своих саблевидных крыльях, пряят чайки. Иные отдыхают на гранитном парапете набережной: греются на солнышке, прикрыв глаза, либо перебирают клювом перышки на грудке, на боках, на свинцово-темной спинке, делающей птицу неприметной в полете над водой. Прохожих не опасаются: чуть ли не вплотную подойдешь — только тут чайка лениво посторонится, повиснув в воздухе, чтобы затем вернуться на облюбованное местечко.

Дворники, волоча за собой пожарные рукава, напоминающие дышащих змей, поливают мостовую, но ветерок

тут же обсушивает деревянные торцы. А рядом, под паркетом, играет и гулко шлепает о гранитную стенку извечная невяская волна. . .

Из-под ног торопливо бежит вперед моя тень. Порой мне начинает казаться, что это какой-то привязавшийся ко мне шут, который передразнивает мою походку. И я невольно вспоминаю, что мне уже сорок четыре года, даже с половиной. . .

Однако много это или мало? По укладу жизни я спартанец — ходок, бегун, пловец, лыжник; ни в чем не допускаю излишеств, кроме, быть может, работы — любимого дела за письменным столом.

Временами я делаю себе строгую проверку: не сдал ли физически? Когда стукнуло сорок, я отправился пешком из Ленинграда в Москву.

Втянулся я в поход и после Калинина запросто вышагивал за день шестьдесят километров. Думается, способствовала этому и «реконструкция» обуви. Сперва шел в летних туфлях, но они натирали ноги, и я сменил их на разношенные, привычные лыжные ботинки. Эти тяжелее, но груз оказался полезным, наподобие махового колеса в двигателе: сделаешь шаг — и ботинок в силу инерции сам потянет ногу вперед. Мало того, маховое колесо и ритм держит, а это при длительной ходьбе уменьшает усталость.

Вспомнив с удовлетворением об этом походе, еще крепче печатаю шаг на каменных плитах набережной. Фуражка — черный саперный околыш, синий кант по тулье — сидит на мне лихо, набекрень. . . Воевать годен!

Ловлю на себе взгляд дворника. Он сейчас будто Самсон петергофский — в фонтане радужных брызг. И шутило ему козыряю. В ответ хозяин улицы степенно прикладывает руку к кепочке.

Сам себе удивляюсь: до всего мне сегодня дело, все до мелочей примечаю вокруг. Уж не прощание ли это с Ленинградом? . . Но прочь тревожные мысли, ни к чему они! За последние дни и без того пережито немало. Никогда не забудется 22 июня.

Была снята на Карельском перешейке дача, и в этот теплый июньский день жена моя Диана назначила выезд из города. Вещи сложены, и, пока дожидались грузовика, я, не теряя времени, занялся неоконченной рукописью.

В соседней комнате прокашлялся громкоговоритель. Механический этот голос обычно не мешал мне сосредоточиться на работе. Но на этот раз зазвучавшие слова настояжили. Вбежала жена, испуганная и растерянная.

— Война... — пролепетала она, — с Германией. На нас напал Гитлер... Какой ужас!

Не в силах удержать дрожи, она прижалась ко мне. Тут же к нам присоединилась дочка, десятилетняя Ирина, и мы втроем, не шелохнувшись, выслушали до конца правительственное сообщение...

Иду командовать батальоном, а батальона-то ведь нет. Только в приказе обозначен. И никто батальона не готовит: я же обязан и создать его. Предстоит набрать из ополченцев. Это еще не бойцы и не саперы. Советские патриоты? О да! Граждане великого города Октябрьской революции, гордые своим Ленинградом, влюбленные в Ленинград, готовые жизнь положить за его благополучие и процветание. Но кто они такие, сегодняшние ополченцы? Считая по-старому, это «белобилетники», то есть люди, признанные непригодными для военной службы. Даже в случае войны... Вот с кем придется иметь дело.

Узнав это, я растерялся: «Пропаду с такими!» Сразу в штаб дивизии. Стал отказываться от должности.

— Хоть комвзвода, — говорю, — ставьте, но чтобы были у меня настоящие саперы!

Начштаба усмехнулся и сказал:

— Попрошу к генералу. Минутку, только доложу о вас.

Увидел я седого человека с ромбами в петлицах и потемневшим от времени, на шелковой розетке, орденом Красного Знамени. Генерал, оказывается, был тоже из запаса и тоже участник гражданской. Когда я представился, старик грузно поднялся из-за стола.

— Вы сапер? — спросил он, погружая нос в пышные усы.

— Так точно, сапер! — И я прищелкнул каблуками.

Генерал вскинул голову и остановил на мне изучающий взгляд.

— Как же случилось, капитан, что вы, не будучи артиллеристом, командовали бронепоездом у товарища Щорса?

Я замаялся: в двух словах не ответишь, а пространное объяснение было бы не к месту.

— А впрочем, не трудитесь отвечать, — сказал генерал. — Сам отвечу за вас. Дело на бронепоезде вы не завалили, напротив, имели боевые награды. А случилось саперу стать артиллеристом, так же, к примеру, как мне, пастуху у помещика, взяться за клинок кавалериста... В силу необходимости...

Генерал, казалось, без нужды переложил с места на



место красно-синий карандаш на столе. И вдруг резко: «В силу ре-во-лю-ци-он-ной не-об-хо-ди-мости!» — повторил он по слогам.

Я догадался, что начштаба успел пожаловаться ему на меня.

Генерал перевел дух, помолчал, успокаиваясь, сел к столу, а мне указал на стул напротив.

Кончилась беседа тем, что я отчеканил:

— Благодарю за назначение, товарищ генерал. Доверие Родины оправдаю!

Передо мной Марсово поле.

Высятся гранитные кубы ограды некрополя. Здесь покоятся павшие за Революцию. Сложенные А. В. Луначарским величественные гексаметры воспевают им славу. Высеченные в камне, они загораются живым огнем в сердце каждого, кто останавливается перед ними.

Иду дальше — хватъ, а у самого упущение в форме: рукава голые, без шевронов! Как же явлюсь перед ополченцами? Безупречный внешний вид командира — это первое, что требуется для его авторитета.

Расстроенный, я пошел бродить по окрестным закоулкам. Гляжу — полуподвал, неказистая вывеска: «Швейная мастерская». Заглядываю внутрь, а на манекене — женское платье... Однако не успел я и шагу сделать прочь, как меня окликнули:

— Товарищ военный, зайдите, зайдите! Будёте сегодня первым заказчиком!

Из-за прилавка, суетясь, навстречу мне выбежала немолодая женщина с клеенчатой лентой сантиметра на шее. Спросила, понизив голос:

— У вас что-нибудь оборвалось в одежде? Не стесняйтесь. Девочкам велю отвернуться и сама пришью.

Я показал на рукав: вот, мол, что мне надо. И прочертил пальцем уголок пониже локтя.

— Но ведь не выручите, требуется золотой тесьмой...

Женщина подбоченилась — и с вызовом:

— Военного да не выручить? Да как вы можете такое подумать?

И она выставила на прилавок коробку со всякой всячиной для отделки женских платьев. В пестроте мишуры блеснула золотая тесьма.

Женщина улыбнулась:

— Подойдет?

Но тесьма, гляжу, узковата. В нашивку лейтенанту согдится, пожалуй. Но для капитанского рукава требуется пошире...

— А мы тесьму сдвоим, — подсказала женщина. Я подал ей гимнастерку. Тут же она села за прилавок — и замелькала игла, направляемая искусной рукой.

Меня усадила рядом на табурет.

— Ох, что-то с нами будет, что будет... — вздохнула женщина, вызывая на разговор. — Гитлер-то, злодей, какую силищу на нас выпустил... страсть. И ломится в глубь страны, и ломится, и нет его фашистским убийцам никакого запрета... Что же будет, ну, скажи, дорогой, ты же военный, чем это кончится?

Но что я мог сказать? Врать не умею. И бодряческое пустозвонство не в моих правилах.

И я, ленинградец, сказал этой ленинградке честно то, что думал. Война будет тяжелой. Многих и многих людей потеряем. Но за Родину встал весь народ, в том числе и те, кто никогда прежде не держал в руках оружия.

— Строй наш советский несокрушим! — закончил я твердо.

Женщина не сразу отдала мне гимнастерку: сперва заново ее проутюжила.

Денег с меня не взяли.

— Девочки! — позвала заведующая мастериц. — Идите сюда. Пожелаем товарищу военному возвратиться с победой!

И началась церемония, глубоко меня взволновавшая. Я стоял, а ко мне одна за другой со степенной медлительностью подходили девушки в рабочих халатиках. Каждая вскидывала на меня глаза — при этом одни смело и твердо выговаривали: «Победы вам!», а другие запинаясь от смущения, и я не разбирал их шепота. Сладостно было поклясться этим девчонкам, в которых олицетворялись для меня в эту минуту все ленинградки, жизни не пожалеть за их благополучие и счастье.

Едва я разобрал связку ключей, чтобы отпереть входные двери в предоставленный в мое распоряжение особняк, как к порогу подкатил грузовик, полный тюков с армейским обмундированием. «Вот это оперативность! — обрадовался я. — Вот это снабженцы! Еще ни одного ополченца, а одежда для них уже — пожалуйста — приготовлена!»

Тут же из шоферской кабины выскочил молодой человек в военном и, смекнув, кто я такой, представился, впрочем, довольно развязно:

— Помощник командира батальона по хозяйственной части.— И первым протянул руку: — Чирок Алексей Павлович.

Каждого, кто прошел военную службу, узнаешь по манерам — четким, сдержанным, красивым. А у этого вульгарные ухватки. Но парень, как говорится, кровь с молоком. И лет ему не больше двадцати пяти — двадцати семи. «Как же,— думаю,— этакий молодчик не побывал в армии?»

— Бы белобилетник? — спросил я, не церемонясь.

Молодой человек вспыхнул. В голосе обида.

— Мог бы,— заворчал он на меня,— и не пойти в ополчение. Теперь все вокруг мобилизовано, в том числе и торговая система,— недолго и бронь получить. Но я,— и он ударил себя в грудь,— советский патриот!

Чирок предъявил выписку из приказа по дивизии, где значилось, что он, «не имеющий воинского звания товарищ Чирок А. П. как опытный, согласно характеристикам, торговый работник, отлично проявивший себя на ряде руководящих должностей, назначается...» И та же печать, что и на моем предписании.

Одежда ополченца по форме не была столь строга, как в регулярной армии. Это и естественно: внезапно под ружье призвать миллионы людей, на которых интендантские склады рассчитаны не были. Поэтому, например, вперемешку с шинелями батальон получил что-то в виде кафтанов охотничьего покроя с накладными карманами. Полный комплект формы был предусмотрен лишь для командного состава. Но Чирку, вижу, этого мало: подавай доспехи! В кармашке на портупее у него свисток, каким строевые командиры пользуются на поле боя. И бинокль на шее, и полевая сумка на боку, и целлулоидная планшетка для карты — на другом. Наконец — браслетка с компасом...

Смешно смотреть. «Тебе бы еще,— думаю,— саблю в руку да пушку — в другую, и война, глядишь, была бы выиграна». Впрочем, вслух я этого не высказал.

Между тем Чирок не мешкал. Попросил у меня ключи, отпер дверь, и из кузова грузовика вместе с тюками обмундирования вывалились ребята — похоже, из торговых учеников,— и закипела работа. Все было снесено в одну из комнат первого этажа, после чего Чирок достал из поле-

вой сумки листок боевого донесения, написал на обороте «Вещевая кладовая батальона» и приколот табличку на дверь. Кладовую запер, и ключ — в карман.

Тут заметил я у Чирка и кобуру, туго застегнутую. «Вот и револьвер успел получить,— подумал я не без досады.— Я, комбат, еще без револьвера, а этот пострел везде поспел!»

— Какой системы? — кивнул я на револьвер.

Чирок лукаво глянул на меня и рывком раскрыл кобуру. Папиросы!.. Парень так и покотился со смеху, радуясь, что провел строгого комбата. Кобура была забита коробками папирос.

И, не подумав даже спросить разрешения у старшего по званию, помпохоз закурил. Впрочем, протянул мне коробку «Северной Пальмиры», предварительно раздув на стороны тончайшие лепестки бумаги, в которые были как бы запеленаты эти дорогие папиросы.

— Имею возможность,— сказал Чирок, попыхивая дымком,— и вам — «Пальмиру», причем по фабричной себестоимости. . .

Но я так посмотрел на него... Чирок закашлялся, неловко козырнул мне и объявил:

— Махну за обувью... Как раз время,— впопыхах он не на часы глянул, а на компас.— Поспеть надо в одно место, тогда будут нашим саперам не барахольные ботинки с обмотками, а сапожки козлового товара. . .

Чирок ждал одобрения, но я молчал. Он заговорил смелее:

— Так стараться насчет сапог или нет?

Вот задача... Без сапог, это ясно, сапер не работник. Особенно здесь, на севере, где кругом болота. Нельзя допустить, чтобы люди постоянно были с мокрыми ногами,— пойдут простуды, заболевания... А ополченцы — народ хлипкий. Этак и боевые задания будут срываться.

И я сказал Чирку:

— Постарайтесь получить сапоги. Обождите, напишу мотивированное требование.

— А чего бумагу марать? — И Чирок неспешно докурил папиросу.— Сделаю как надо, без бюрократизма.— И тут же: — А в кобуре, ясно-понятно, место револьверу. Огнестрельное оружие и по должности мне полагается. Прошу выписать мне наган с патронами.

Наглость молодого человека становилась забавной.

— С личным оружием для комсостава, товарищ Чирок, полагаю, будут затруднения. Мы ведь не регулярные вой-

ска, только ополченцы. Да и вооружу я, само собой, прежде всего наших строевиков: командиров взводов, командиров рот...

Лицо Чирка постно вытянулось.

— Но не огорчайтесь,— сказал я.— Из всякого положения есть выход. Трофейные браунинги и парабеллумы тоже неплохая вещь.

У Чирка загорелись глаза:

— Ну, еще бы!.. «Парабеллум» — и слово-то какое... — Он крикнул от удовольствия. — В гастронорме, где я состоял в ответственной должности, один старикашка захаживал; ну, не откажешь ведь инвалиду гражданской войны: давал ему на складе подработать. Так он рассказывал, и похоже, не треп: здорово бьет парабеллум!

— А нельзя ли о ветеранах поуважительнее? — осадил я молодого человека. И не удержался, поддразнил его: — Получить парабеллум? А ничего хитрого. Вот выйдем на фронт, и я прикомандирую вас к одной из рот. Удачная схватка с врагом — и трофеей в ваших руках.

Чирок даже побледнел. В глазах сверкнул недобрый огонек.

— Насмешки строите!.. — Он круто повернулся и пошел к машине. Захлопнулась дверца кабины, и грузовик укатил.

Стоит, пожалуй, подумать, что же делать с этим ловкачом...

Возле особняка, который нам предоставлен, зеленый бережок. Удобно сесть: бережок круто сбегает к воде. Подстриженный газон напоминает бархотку, которой как бы оторочен Михайловский сад со стороны Мойки.

Речка здесь узка и вытянулась в линейку между двумя трамвайными мостами. Выйдя из-под моста, что у нашего особняка, и одевшись в камень, она медлительно продолжает свой путь. Вот на берегу ее заурядный петербургский дом прошлого века. Но сюда не зарастает народная тропа... Здесь (Мойка, 12, первый этаж, вход со двора) жил Александр Сергеевич Пушкин. В этом доме он и скончался...

Пушкин, высокая поэзия, а тут... И в мыслях опять Чирок: не отчислить ли его из батальона?.. Хорошо, отчислю. Пришлют другого... А кто это будет? В отделе кадров дивизии выбрали для меня Чирка и, надо полагать, обдуманно. А я отсылаю человека обратно. «Ага,— ска-

жут,— саперный-то комбат из капризных! Дельный, расторопный помощник ему не нравится? Хорошо — получит тихоню!»

И прирастет этакий тихоня к канцелярскому столу. Знавал я таких. Человек словно не бумагу составляет в каких-нибудь пятьдесят строк, а священное действо творит. И верит, если на бумаге надлежащие подписи, то достаточно законвертовать ее, отправить по адресу — и посылются в ответ гимнастерки, брюки, телеги со сбруей для лошадей, лошади, лопаты... Нет, с таким помпохом не составишь батальонного хозяйства. Тихоня без ножа меня, командира, зарежет!

Выходит, расставаться с Чирком преждевременно. Пострашать, конечно, его придется, чтобы не зарывался... Да ведь будет в батальоне и комиссар. Ум хорошо, а два лучше — вот вместе и примем о Чирке окончательное решение.

Однако пора и помещение для батальона осмотреть. Прошелся я по коридору: направо и налево комнаты — это удобно. Поднялся на второй этаж, на третий. Обстановка учебного заведения: столы и парты для учащихся, кафедры для преподавателей, классные доски, кое-где даже мелкие и тряпки при них. Будто нас ждали здесь: усаживай ополченцев и обучай саперному делу.

Решаю тут же составить расписание занятий. Но классная доска вдоль и поперек исчеркана мелом. Замахнулся я было, чтобы пройтись по ней тряпкой, но что-то удержало руку: быть может, простое желание сохранить в памяти кусочек ушедшей мирной жизни...

Почерки разные, юношески неустоявшиеся, и одна фраза врезается в другую; множество восклицательных знаков. Похоже, что ребята с окончанием учебного года, на радостях, выхватывая друг у друга мелок, спешили оставить свои автографы... «Эх, поплюю парного молочка пятипроцентной жирности! Послаще всяких ленинградских пирожных!» — написал кто-то. Сладену пронзает своей строчкой парень, видать, деловитый: «А коровушки у нас в колхозе масти серебряной, а вымена такие, что одной женщине и не выдоить, вдвоем садятся». «А у нас в Харькове во дворе корова — с листьями!» И парень хвалится яблоней, которая, по его словам, так сбильно плодоносит, что несколько семей круглый год с фруктами...

Жалко все это стирать, и я медленно вожу по доске тряпкой. Взамен пишу: «Расписание занятий Отдельного саперного батальона Н-ской дивизии ЛАНО». Какие же будем изучать предметы? Припоминаю, что надо знать саперу, и на доске выстраивается столбик:

Фортификация.  
Мосты и переправы.  
Работа с минами.  
Подрывное дело.  
Инженерная разведка...

Как бы не забыть чего... Ну конечно, чуть не упустил: ведь сапер — прежде всего воин, красноармеец! Значит, обязательная статья в программе — изучение винтовки, умение владеть оружием в бою... А маскировка? Одна из главных забот в современной войне! Об этом нам, командирам запаса, уши прожужжали на военных сборах. Придется научить саперов и пассивной маскировке, и активной. Пассивная — это укрытие своих войск от взоров врага. А в случае активной — внимание врага отводится на ложные объекты. Тут все решает искусство сапера как макетчика. Из обрубков бревен, листов фанеры, крашеного тряпья, соломы умелец изготовит пушки, самолеты, танки, даже лошадей. Наставишь макеты погуще — вот тебе и ложный аэродром, или скопление танков, или кавалерийский полк в засаде — короче, то, что прикажут саперам нагородить.

Люблю маскировочное дело — веселое оно, все на хитростях, на выдумках. Между тем классная доска уже исписана. Но нет у меня ощущения, что программа обучения ополченцев готова. Пошел я к дивизионному инженеру. Пусть дополнит — он ведь должен и утвердить программу.

Ожидал я помощи, а вместо этого...

— Программа, капитан, для чрезвычайных обстоятельств, в которых мы с вами находимся, не предусмотрена — да и не могла быть предусмотрена... Сочинили — и хорошо. Покажите ваш листок... Многовато. На сколько же дней вы размахнулись?

— Дней?.. — удивился я странному счету. — Вы шутите, товарищ дивизионный инженер, при чем тут дни? На действительной службе подготовка сапера, если не ошибаюсь, занимает три года. И за парты садится молодежь: и память, и смекалка у молодых красноармейцев — поза-

видуешь! А в батальоне ведь отцы семейств в большинстве и никакие уже не ученики. . .

Дивинжен усмехнулся:

— Ну, батенька, много запрашиваете: через три года и война кончится!

— Извините, я не договорил. Рассчитываю на три месяца.

Водил меня к генералу начальник штаба. Теперь повел дивизионный инженер, и генерал на этот раз был неласков. Насупив брови, потянулся к настольному календарю, полистал его и сделал жирную отметину красным карандашом. После этого повернул календарь ко мне:

— Запомните число. Тридцать дней — и вы представите мне батальон в полной боевой готовности. Произведу смотр — и марш на фронт!

Тридцать дней. . . После такой встряски не сразу и опомнишься. К листку, над которым столько работал, составляя проект программы, я почувствовал отвращение, порвал его и выбросил.

Возвратившись из штаба дивизии, и в особняк не зашел. Захотелось глотнуть свежего воздуха, рассеяться, отвлечься от неудачи, и я свернул в Михайловский сад.

В саду еще живет и не желает ломать стрелки на своем циферблате мирное время. Вокруг цветочных клумб бегают, весело гомоня, детишки. Дети и в колясках, размеренно прокатываемых мамами, — но эти еще с сосками в беззубых ртах. На скамейках дремлют деды: время от времени, востроенные, они конфузливо подбирают выпавшие из рук газеты. . .

Мирное время. . . Но оно уже только в лицевой части сада, что обращена к бойкой Садовой улице. В глубине его — военная канцелярия: моя, саперного батальона. И зеленый свод здесь уже не красота природы, а прозаическая воздушная маскировка.

Гляжу, в канцелярии спортивный номер: присевший на корточки человек в пиджаке поднимает на стуле другого, всего только взявшись рукой за ножку стула. «Этакую тяжесть выжать! — поразился я. — Кто же это такой?»

А тот как ни в чем не бывало, не потеряв дыхания, еще и нравоучение прочитал:

— Нецелесообразно это, товарищ писарь: со стулом —



да в куст с розами. Гляди-ка, сколько головок свихнул. Где же наша забота об украшении родной земли?

Писарь, отставленный вместе со стулом в сторону, только досадливо огрызнулся.

Необыкновенный силач заинтересовал меня. Кто он — штангист, борец? Окликаю его:

— Здравствуйте, товарищ!

Человек живо обернулся и, увидев во мне военного, встал во фронт. Не по-ленинградски темное от загара лицо, копна русых волос такой густоты, что их хватило бы, кажется, на две головы, ясные улыбчивые глаза. Под пиджаком косоворотка.

— Здравия желаю,— ответил силач.— Ополченец я. Желаю Гитлера бить!

— Похвально,— сказал я.— А зарегистрировались? — кивнул в сторону столов.

— Так точно. И паспорт отдал. Фамилие мое — Гулевский Георгий. Больше Жорой зовут.

— А ваша профессия?

— Грузчик. В Лесном порту на экспорте. Пакет пиломатериалов на плечо — и шагай на борт судна.

Не могу не полюбоваться человеком: атлет! И черты лица, и рост, и плечи — все у него крупное, а о руках и говорить нечего — ручищи. Пожалуй, и в самом деле такой Гитлера походя пристукнет... А с лопатой поставить — первейший землекоп. Вот таких бы в батальон саперов!

Но сразу подумалось: «А ведь странно, что человек прибил к ополченцам. И по возрасту, и, видать, по здоровью место ему в регулярных войсках. Уж не уклоняется ли от мобилизации?»

Гулевский не сводит с меня глаз.

— Сумлеваются во мне,— осклабился он. И тут же — с горечью: — Белобилетник я. По глазам. Стрелять, считают, не гожусь... Давеча в который раз требовал в военкомате: «Пошлите в бой!» Так меня за дверь выставили... А на улицах совестно людей — с моей-то ряшкой! Женщины за руки хватают: «Почему не на фронте?» К себе-то примите... Гитлера бить.

Я был в затруднении: как поступить, чтоб по закону? Но слышу — кличут меня в канцелярию.

— Еще увидимся,— кивнул я Гулевскому.

Перед столами очередь ополченцев, а дело, гляжу, застопорилось. Стоит, опустив руки, какой-то военный. Оказалось, это dobroхотный наш помощник. Из отставных.

Помогает воинским частям ЛАНО в устройстве канцелярии.

— Не могу я больше у вас задерживаться,— сказал старичок, неловко одергивая на себе новую гимнастерку: видать, отвык от военной формы.— Мне еще и в полки, и в батареи... Попрошу, товарищ капитан, назначьте своей властью писаря, я проинструктирую товарища.

Гляжу на стул — ведь только что был писарь. Где же он?

Старичок, видя мое недоумение, рассмеялся:

— Удрал ополченец, едва я вас кликнул. Не хочет быть писарем.

Я горько усмехнулся, сетуя на свою долю: «Батальон без писарей, выискивай среди ополченцев желающих... Разве этим был бы занят я в регулярной армии? Эх, не повезло...»

Сбежавший делопроизводитель оставил список зарегистрированных. Сел я, просматриваю столбики фамилий, обшариваю графу «Профессия, специальность», но канцелярских работников не вижу. «Хоть бы управдом какой-нибудь, что ли, подвернулся,— досадую я,— так и этого нет». А над ухом голос Гулевского:

— Осмелюсь сказать... Напрасно, товарищ капитан, стараетесь. Для чего народ пишется в ополченцы? Чтобы получить оружие — и на фронт. А какой соблазн патриоту в чернильнице? Даже конторщик, ежели и пришел сюда, наверняка сказался инженером или техником. Для верности, чтобы приняли... Извините за мнение.

И смешно мне стало, и озлился я. Подозвал первого попавшегося. Поймался молодой человек с усиками. Нервное лицо, но не без приятности.

— Ваша фамилия?

— Грацианов.— Молодой человек пожал плечами.— Но при чем здесь я?

— Садитесь, товарищ Грацианов. Вот вам стул, перо, чернильница, бумага — и продолжайте регистрацию. А то с дискуссиями и до ночи не кончим набор в батальон.

У человека задержалась щека, в темных глазах вспыхнуло негодование.

— Я?.. — И он так глянул на меня, что, будь в его глазах заряд, убил бы наповал.— Я инженер-конструктор! Пришел, чтобы защищать Ленинград, а вы меня — в канцелярию?.. Да ни за что на свете!

Я выжидал: нервному возражать нельзя, надо дать вы-

говориться. И вот молодой человек выпустил свой пылкий заряд — повторил, но уже вяло:

— Ни за что на свете. . .

Тогда я в свою очередь сказал:

— Товарищ Грацианов, вы меня обижаете. Ведь я не повар с ножом, а вы не куренок, бьющийся в моих безжалостных руках. . . Вы интеллигентный человек. Вообразите себя в положении командира батальона. . . Выручите, прошу.

Эмоции с обеих сторон исчерпаны. Молодой инженер послушно сел за писарскую работу.

Тут бы мне порадоваться первому пусть крошечному, но все же успеху в формировании батальона. Но сознание подавляла неразрешимая задача: «Тридцать дней — и батальон должен быть сформирован и обучен!»

Малодушничая и презирая себя за это, я внушал себе, что программа потерпит, и углублялся в дела канцелярии.

Приглядел я в писаря и второго ополченца, чтобы очередь не накапливалась. Этот, второй, годами постарше Грацианова. На нем просторный из дорогих летний костюм, цветок в петлице, в руках трость с инкрустацией. Прохаживается и как бы любит себя.

«Нуте-ка,— сказал я себе,— посмотрим, что это за птица». И предложил человеку заняться делом: помочь батальонному писарю.

— Што-о-с? . . . — У щеголя даже подскочили брови. На лице изумление. — Ш-ш-што вы сказали?

Я повторил — и услышал в ответ:

— Извольте узнать, кто перед вами! Георгий Николаевич Попов — консультант по крупным и принципиальным строительным проблемам. Каждый меня знает в инженерных кругах Ленинграда!

Упомянув, что он «на броне», важный гражданин продолжал:

— Но как старый петербуржец и патриот не могу и мысли допустить, чтобы какой-то выскочка Гитлер нанес ущерб моему родному городу, нашей балтийской Венеции. Записался, как видите, в ополченцы. Располагаю существенными идеями о превращении города в твердыню. . . Однако должен поставить вам условие: полная (тростью в землю) свобода рук!

— Извините, это ультиматум? Но вольнопрактикующие ополченцы батальону не нужны.

А тот:

— Напрасно мною пренебрегаете. У меня опыт и солидное — не то что дают нынче — образование. В свое время имел честь закончить Институт инженеров путей сообщения.

— Забалканский, девять? — уточнил я. — Как же, как же, знавал и я этот адрес. И форму отлично помню, которую носил: окантованные зеленым бархатные наплечники с литым вензелем под серебро. Фуражка с тем же зеленым кантом и эмблемой широких познаний, которые давал институт: топорик, перекрещенный с якорем. И профессоров помню...

Любопытно было видеть, как менялось лицо старого путеца. Сперва выпятилась нижняя губа — он был озадачен встречей. Потом сунул в рот сигару и принялся усердно жевать ее, как бы размышляя: «Верить или не верить? Какой-то красный командир — что может быть общего с изысканным путецем?» Наконец раскурил сигару, глаза его повеселели, и он устроил мне ловушку:

— А шшебень какой бывает?

Так он произнес слово «шебень». В мои студенческие времена, помнится, было принято оригинальничать; особенно доставалось родному языку. У старого путеца звук «щ», видимо, вообще уже отсутствовал в произношении, был во имя моды истреблен.

Я не ответил по поводу «шшебня», чем навлек на себя взгляд презрительный и осуждающий.

— Прошу прощения... — Щеголь гордо вскинул голову. — Не туда попал. Оревуар!

И человек, которого хотелось бы назвать существом ископаемым, приподнял соломенную шляпу-тарелку. Он уходил, при каждом шаге далеко откидывая в сторону трость. Шагало оскорбленное достоинство...

Оборачиваюсь к Грацианову, а он уже, молодчина, освоился с делом: людей на регистрации не задерживает, толпа ополченцев поредела. Да и помощник уже у него под рукой. Сам выбрал из молодежи — так-то лучше.

Еще и день не кончился, гляжу — опять тот самый путеец. Повинно снял шляпу, трость убрал за спину.

— Сможете ли вы, коллега, меня простить? Ведь я вас заподозрил бог знает в чем...

— В самозванстве. Это я понял.

Старый путеец страдальчески поморщился.

— Простите, если можете... — Он достал из портфеля изящный томик с закладкой и раскрыл его. Я прочитал:

«Список студентов института по состоянию на 1914 учебный год». А путеец тут же услужливо отчеркнул строку с моей фамилией.

Я и не подозревал, что существуют такие ежегодники, а, оказывается, были даже и любители собирать их.

Затем Попов деликатно подсказал, как было бы полезно использовать его в батальоне. Я согласился, и с его участием возникло при штабе проектно-строительное бюро, которое он и возглавил. За дело он взялся, как говорится, засучив рукава. И с языком стал меньше фокусничать. Если иногда и скажет: «Это секретно. Уберите в несгораемый ящик», — то тут же и поправит себя: «Я-щик!»

Чертежником у него стал один из самых молодых ополченцев, студент строительного техникума комсомолец Ваня Виноградов. Круглолицый, с ярким румянцем во всю щеку, Ваня вырос в деревне на благодатной псковской земле и выглядел таким наливным яблочком. Некоторую солидность, впрочем, придавали Ване очки. Он прошел весь боевой путь войны. Ныне это ленинградский писатель Иван Иванович Виноградов.

В Михайловском саду издавна существует укромное местечко «У зеленого забора». Забор этот совсем не в стиле сада, принадлежавшего Михайловскому дворцу и выращенного придворными садовниками. На одной стороне сада архитектурный шедевр — павильон Росси, а на другой — забор простой плотницкой работы. Для неприметности он сделан густо-зеленым, но этого, посчитали, мало и задрапировали его шпалерой кустарника. Узкое тенистое пространство между забором и кустами становилось во время сессий прибежищем студентов.

Но время сессий прошло. Уголок пустует. Сюда я и позвал Гулевского, попросив его рассказать о себе. Он предъявил военный билет. Вижу — к службе не годен, снят с учета. С горечью поведал он мне о своем сиротском детстве. С четырнадцати лет Жора, деревенский паренек, отправился искать «свою корку хлеба». Устроился было лампоносом на шахте, но потянуло на большее. Попал к сталевару на «мартын», но тут, по мальчишеской дурости, не уберется от кипящего металла, ударило пламенем по глазам... Неизлечимый ожог сетчатки. Из больницы вышел, а в цех пустили только попрощаться.

И вот он, уже совершеннолетний, в Ленинграде. Завер-

бывался в Морской порт. Поглядели на парня — молодец молодцом, к работе охоч, и определили его в Лесную гавань: «Ступай в бригаду носаков!»

А у него на уме уже рекорды. Была для новичков экскурсия по порту, и в тамошнем музее Жоре запомнился один портрет. Улыбнулся ему носак, который на работе всех превзошел: брал на плечо до двенадцати пудов досок.

Получил Гулевский новенькие лапти, зашнуровал на ногах, получил обшитую брезентом войлочную подушку на плечо — и вслед за другими встал к штабелю досок.

Нагрузили его рабочие-штабельщики.

— Пошел! — и подзывают следующего.

А Жора:

— Еще бы досочку. . . Прибавь!

Добавили так, что у него ноги задрожали и подогнулись. Смеются: «Сейчас SOS закричишь!» А парень через силу, но свое: «Еще досочку. . . Еще. . .» Штабельщики спохватились: «Да ты что: ума рехнулся? Отвечай за тебя, если надорвешься! Восемь пудов уже, никто и не берет столько. . . Пошел!»

Парень постоял немного, привыкая к тяжелой ноше. Сделал шаг, еще постоял, укрепляясь в равновесии, и уже смело вступил на трап, чтобы подняться на борт судна. Думает: только бы не поскользнуться. . . Но оказалось — лапти своей шершавой подошвой цепляются за поверхность деревянного трапа. Парень смекнул: «Лапоточки-то выдают с умом: для техники безопасности!»

Втянулся Жора Гулевский в работу, таскал пакеты уже по десять пудов. Брать тяжелее запретили.

Навигация за навигацией — и Гулевский уже бригадир носаков. Перед тем как вывести (в первый же свой бригадирский день) бригаду на погрузку иностранного судна, сказал речь грузчикам — опасался, как бы не подвели: ведь что ни лето, новые люди, сезонники.

— Капиталист, он, ребята, с понятием. Из-за морей-океанов, вокруг земного шара приплывает к нам, только бы сторговать советские досочки. Сегодня у нас пиломатериал из горной сибирской сосны — это же кондиция! Не доска — сахар! А вот человека нашего тот купец не уважает. Так что ухо держать востро — не осрамиться!

— А ты, бригадир, и почни первым. Покажь пример.

Гулевский взошел на борт судна с десятипудовым пакетом, и пораженная таким богатырством команда встретила

советского докера возгласами одобрения. Но капитан нахмурился: поведение матросов ему не понравилось.

Между тем погрузка продолжалась. Носаки, освободившись от пакетов досок, спешили — подальше от греха — покинуть судно.

А капитан: «Stop! Look here, boy...», — погоди-ка, мол, парень, погоди...

Один из грузчиков остановился. Из любопытства. И стоят друг против друга два человека: джентльмен в отлично сшитом кителе и в сверкающей золотом фуражке и мужичок в пропотевшей, распахнутой на груди рубашке, заплатанных штанах, в какой-то первобытной обуви из коры дерева... Носак хмурится. Во взгляде иностранца он чувствует презрение. Но не успевает и шага ступить прочь, как перед ним вырастает дородный кок в колпаке. И — поднос с чем-то необыкновенным. Грузчика, успевшего на тяжелой работе проголодаться, да и вообще в те годы не очень сытого, ошеломляют вкусные запахи, и, только преодолев внезапное головокружение, парень начинает различать на подносе горячие румяные пирожки, розовую горку ветчины, жареную рыбу, хлебцы — маленькие, на один укус, но их тоже горка... И носак, торопливо вытерев руки о штаны, принялся хватать с подноса что попало.

Капитан торжествовал:

— Кюшай, бой, кюшай, — говорил он, с трудом подбирая и коверкая русские слова. — Советы тебя так не кормят!

Едва кончилась смена, Гулевский объявил экстренное собрание бригады. Распалился:

— Василия Вислоухова предать позору! Нажрался у капиталиста, честь советского гражданина запятнал! — И пошел, и пошел костить провинившегося.

Носаки терпеливо выслушали его — но и только. Никто не выступил, не поддержал бригадира.

Гулевский — в партком.

— Ошибку дал, товарищ бригадир, — сказали ему коммунисты. — Бабахнул сразу: «Предать позору!» Собрание созвал, а выслушал ты людей? Нет. Значит, и поправить их ошибочные взгляды лишил себя возможности. Вот и оторвался от массы, остался в одиночестве...

Запомнил он этот первый день своего бригадирства. Не сразу, но сумел навести в бригаде порядок. Вовлек ребят в соцсоревнование с грузчиками из других бригад, и за-

кончилась навигация для бригады Гулевского торжеством: ей было вручено переходящее Красное знамя порта.

Гулевский умолк, глянул на меня, слушателя, и смутился:

— Наплел я вам лаптей, как на ярмарку...

— С удовольствием, — говорю, — послушал. Но меня вот что сейчас интересует. Что значит — ожог сетчатки? Если вам дать ружье — мушку видите?

— Да как сказать... — замялся собеседник. — Роятся мушки...

А я подумал: «На сходях с грузом досок не оступался — попадет ногой и лопатой копнуть... Беру в саперы!»

Объявил об этом Гулевскому. Поздравил его, а человек не отозвался, едва ли даже услышал меня. Поглощенный своими мыслями, твердил:

— Ружья не дадите, дайте пику... Как ни крути-верти, а наше дело — Гитлера аннулировать...

Отпустил я богатыря, выхожу из зеленого закоулка, а навстречу мальчуган в буденовке — старой, видимо, с головы отца. Он остановился, поглядел на носки разношенных ботинок, выпрямился, козырнул:

— Товарищ капитан! — Он набрал дыхание и звонко отчеканил: — Спрашивают, будет ли обед предоставлен. Докладывает Григорий Никитич Щербаков!

Обед! Я спохватился: и в самом деле — пора... Надо распорядиться.

Шагаю, паренек рядом — рысцой. На вид совсем юнец этот Григорий Никитич. Спрашиваю — кто он, откуда?

Отвечает солидно, баском:

— В список поставили. Ваш ополченец.

Но солидности ему хватило на какие-нибудь два-три шага, и он, поспевая за мной, затараторил. Узнал я, что он новгородский, окончил в своем селе семь классов и, чтобы приодеться, нанялся по вербовке на торфоразработки близ Ленинграда. Но начались воздушные налеты, и он, спасаясь от немецких бомбежек, сам не заметил, как очутился в незнакомом большом городе. Сказали ему: «Это Ленинград».

А сейчас Грацианов подослал ко мне паренька как бы на смотрины. Что, мол, скажу об этом ополченце — расторопный, но не слишком ли ребячлив? Мне понравилось, что инженер-конструктор, став всего лишь канцеляристом,



все больше входит в интересы батальона. Я утвердил паренька посыльным при штабе.

Что же касается обеда и прочих статей распорядка дня, то из дивизии по телефону мне сказали:

— Распустите детей до утра по домам.

«Детей»? Ага, это уже шифровка, диктуемая обстановкой войны.

Чирок привез обувь: кроме ботинок немало и сапог. «Саперы,— сказал я ему,— будут благодарны».

— Контокоррент! — ответил на это Чирок — очевидно, не очень вникая в смысл слова, ввернул его, видимо, для шика.

Впервые замечаю, что у моего помощника вздернута верхняя губа. Признак высокомерия, считают физиономисты,— вспомнилось мне.

— А где же ваш компас? — заметил я.— Не заблудитесь без него в городе?

Чирок быстро глянул на меня, но укол стерпел.

— Приберегу для фронта.

— А свисток? Костяной ведь у вас был, редкой работы, грудь украшал.

— Срезал и выбросил,— сказал Чирок, уже раздражаясь.— Я не милиционер, а военнослужащий!

— Не сердитесь, Алексей Павлович,— сказал я миролюбиво.— С кем мне и пошутить, как не со своим помощником? ..

Шутки шутками, но уже вечер, а дел невпроворот, и без Чирка их не решить. Взять питание. Сегодня ополченцы пообедают дома, там же, кстати, и переночуют. А завтра? Оденем в военное, значит, обязаны кормить их уже в батальоне. И жилье надо организовать казарменное.

Выслушал меня Чирок, сложил ладони рупором и крикнул:

— Ого-го, эй, батальонный!

Гляжу, позевывая, идет Грацианов. Вот не ожидал. Досталось ему за день писарской работы! Отдохнул бы дома, как все, так нет,— сам себе устроил ночное дежурство.

— Батальонный,— сказал Чирок,— плотники требуют. Погляди-ка в списки, мне бы человек двадцать, которые живут поближе.

Грацианов вопросительно глянул на меня, но Чирок пошел на него грудью:

— Помощник командира батальона приказывает, чего тебе еще? Исполняй!

Я кивком подтвердил распоряжение помощника. А Чирок уже в дверях:

— Эй, Степаныч, заводи машину — по боевой тревоге!

На дворе затарахтел мотор грузовика. Гляжу: тут как тут и Григорий Никитич — уже в пилотке и в армейских ботинках.

Взявшись начальствовать, Чирок просиял. За хлопотами не успевал даже «Пальмиру» выкурить: зажжет, делает затяжку и бросит, хватает из кобуры другую папиросу. Уверяет:

— Склады и базы для нужд ЛАНО открыты круглые сутки. К утру будут топчаны для всего батальона. Не верите? Пospорим! На них еще и плотники после работы выспятся.

Чирок выкурил наконец папиросу и продолжал:

— Шеф-повара, считаю, надо брать не из какой-нибудь общепитовской забегаловки, а из «Астории» или «Европейской». Чтоб питание у нас было во! — И он поставил торчком большой палец. — Боеспособность красноармейца, сами понимаете, закладывается в кухонном котле.

Я усомнился: рестораны знаменитые — пойдут ли оттуда к нам кашеварить?

— Пойдут, — сказал Чирок уверенно. — Время военное, какие теперь гости, тем более денежные? Рестораны пустуют, а у меня и шеф, и еще с десятков поваров при деле будут... Контокоррент!

Оставалось только удивляться Чирку. Ну и хват. С таким не пропадешь!

Выхожу в сад. Настроение приподнятое, но — ненадолго. Одно-другое в батальоне налаживается, а главное не решено: как с программой? Эти «тридцать», как бурав, сверлят мне мозг и ни до чего не досверливаются. Хоть бы комиссар поскорее... Но на мои звонки в политотдел дивизии только и ответ: «Назначен. Будет. Старый коммунист, инженер-строитель. Задерживается на объекте: оформляет консервацию недостроенного жилого дома — это же материальная ответственность, не можем мы человека сорвать с дела!»

Досадно слышать, как будто батальон — менее ответственный объект!

Слоняюсь по аллеям сада. Уже появилась, побрякивая

колокольцем, сторожика, и к калитке устремляются последние гуляющие. Но меня звонок не касается. С хозяйкой сада я установил добрососедские отношения. Она терпит присутствие в саду батальона; я, со своей стороны, дал обещание, что от саперов ни ей, ни гуляющим помехи не будет.

— А куст роз раздавили... — заметила женщина, и под ее суровым, словно иконописным, взглядом я покраснел, как мальчишка. Впрочем, искреннее мое раскаяние ее смягчило.

Хорошо в саду... Вокруг могучие деревья — будто толпа мудрецов. Я останавливаюсь, жду: быть может, мудрецы просветят меня? Но улавливаю лишь шепот листьев — этот язык мне незнаком... Между тем на каменистую дорожку, куда мне ступить, упал блик света. Поднимаю голову — и не сразу понимаю, что это засветился шпиль Инженерного замка. Покрытый золотом, казалось, он плавится в лучах закатного солнца. Шагнул в сторону — теперь шпиль виднеется сквозь листву деревьев. Легкий ветерок колышет ветви, и от этого перед глазами не просто блеск металла, а как бы мозаика, набранная из золотых и зеленых кусочков, каждый из которых, казалось, перебегает с места на место, живет, трепещет...

Инженерный замок... Взроились мысли. Ищу глазами парадные ворота. Вот они. Здесь стояла когда-то полосатая будка... Часовой берет на караул. Из замка под музыку выступила колонна Николаевского инженерного училища. А в голове колонны, кто это? Да я со знаменем. Было это... в 1916 году. А сейчас 1941-й... Вот интересно: четверть века прошло, ровнехонько! Даже месяцы рядом: там июнь, здесь июль. Неожиданный юбилей, с которым я мысленно себя и поздравил.

За училище я горд и поныне: Николаевское инженерное, в отличие от многих других юнкерских, не пошло в октябрьские дни за контрреволюцией. В 1918 году в замке действовали «Первые инженерные петроградские командные курсы РККА». Мостовик профессор Ушаков стал начальником курсов. Завучами — бывший генерал Зубарев и профессор Яковлев. Впоследствии они же преобразовали кратковременные курсы в Военно-инженерную школу с трехлетним сроком обучения. В 1927 году профессору Яковлеву за новые работы по фортификации было присвоено звание заслуженного деятеля военных наук. Но пови-

дать никого из них мне больше не довелось. Собирался сходить в училище, да так и не собрался. А теперь уже никого из них нет в живых. Хорошо сказано: не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня...

Но что это — память сердца или нечто большее?.. Едва я представил себя в кругу любимых профессоров и воспитателей, сделавших из меня человека организованного, чуждого всякой расхлябанности, как в ту же минуту решилась задача, не дававшая мне покоя: можно втиснуть программу в тридцать дней! Можно. И я схватился за бумагу и карандаш.

Радостно взволнованный, я не сразу понял, чего хочет от меня вынырнувший из темноты сада Григорий Никитич.

— Ну что тебе, товарищ Щербаков? Чего не спишь? Доски привезли?

— Сгружены уже. Только одной машины мало. Опять поехали.

— Ну хорошо. Иди-ка спать.

Парень прокашлялся:

— Докладываю... Товарищ командир батальона! Комиссар пришли.

# Часть пятая

Вот он, комиссар — Осипов Владимир Васильевич. Встретились у крыльца особняка. Сбросив брезентовую куртку строителя, он то щепкой, то острым камешком счищал с сапог густо налипшую известку. Завидев меня, распрямился, и мы, что называется, впились друг в друга глазами. «Не посетуйте, — он кивнул на свои руки, — весь еще в грязи, не могу поздороваться». И опять занялся сапогами. Разглядывая комиссара, я мысленно отметил, что человек примерно моих лет, это хорошо — сверстникам легче понимать друг друга. Второе: оба мы инженеры — опять же тропинка для сближения. . .

«Но не спеши, — сказал я себе, — не забегай вперед с оценкой человека! Увидите друг друга в деле». Знал я случаи, когда командир и комиссар, как было принято говорить, «не сработались». На поле боя это может приобрести страшный смысл!

Осипов уже голый до пояса. Щербаков черпает из ведра и льет ему на голову и на плечи холодную воду.

— Уф, хорошо! Мыльца бы, мыльца. . .

Находится и мыло. Позаботился Грацианов. В руках у него и мыльница, и полотенце.

Я присаживаюсь на штабель свежих досок и тут же улавливаю, что внутри здания пилят, строгают, приколачивают. Это уже плотники. Ай да Чирок! Только и остается вслед за ним воскликнуть победное: «Контоткоррент!»

Между тем Осипов, отфыркиваясь, кивнул мне:

— Одобрите ли? . . . Топчаны сколачивать — это канитель не на один день. . . Проще нары. . . Я так и распорядился.

— Согласен, — сказал я, поняв, что Чирок в своем рвении переусердствовал. — Обойдемся нарами.

— Поднимемся в нашу комнату, — предложил я Осипову, когда тот уже расчесывал мокрые волосы. Нужно было согласовать с ним программу подготовки саперов, но решаю подождать: как бы разногласия не получилось.

У входа броская надпись, красиво выведенная на ватмане чертежным пером рондо: «Командир и комиссар батальона».

Это, догадываюсь, творение Грацианова — но не как канцеляриста, а как инженера-конструктора. Открываю дверь, приглашаю войти комиссара, он нащупывает выключатель — щелк! — и вспыхнул плафон. Эге, да и электричество уже действует!

Мы с комиссаром теперь полностью на виду друг у друга. Осипов, оказывается, и ростом с меня — в строю, когда мы будем рядом, это произведет впечатление! Он улыбнулся, обнажив необычно крупные верхние зубы.

— Чего уставился? — поймал Осипов мой взгляд. — Резцы заметил? — И пошутил: — А это пара саперных лопат — от природы. Видать, предназначение такое было — попасть к тебе в саперный батальон.

Вижу, человек предлагает перейти на «ты». Ну что ж, еще шаг к сближению.

— Сапер от рождения, — сказал я, — это замечательно. — И поддержал шутливый разговор: — А знаешь, кто был первым человеком на земле?

— Ну, Адам. Если по Библии.

— Не верь, товарищ, Библии. Верь Редьярду Киплингу. И я продекламировал:

Чуть из хлябей проглянул земной простор,  
Налицо уже был — так точно! — Сапер.  
Господь бог не Адама — сотворил Инженера,  
Инженера ее величества войск,  
С содержанием в чине Сапера!

Осипов заинтересовался:

— «Войск ее величества»? .. Это, значит, о королеве Виктории речь. Написано, как я понимаю, в пору расцвета империалистического могущества Англии. Ну-ка еще, интересно, что дальше.

И я прочитал по памяти еще две строфы:

А когда был потоп и ужасный муссон,  
Многоопытный Ной сделал первый понтон,  
По плану господ Инженеров,  
Инженеров ее величества войск,  
С содержанием в чине Сапера.

А когда с Вавилонской башней был крах,  
Дело было в штатских руках,  
А не у господ Инженеров,  
Инженеров ее величества войск,  
С содержанием в чине Сапера...

Осипов, раздумывая, покачал головой:

— А ловко все ж таки господин Редьярд потрафлял своим британцам-завоевателям... Откуда это у тебя?

— Дело давнее,— сказал я.— В Николаевском инженерном горланили эту песню. Нам, мальчишкам, нравилось, что сапер все может.

Комиссар поморщился:

— Выбрось этот хвастливый хлам из головы. Обучим батальон и на деле покажем мастерство сапера. Нашего, советского. Так ведь?

— Я уверен в этом, комиссар.

А он задорно:

— И песню запоем. Сочиним с тобой нашу, батальонную!

Однако как преобразилась комната! С утра уныла и пуста, а теперь с полной мебелировкой. У стен два новеньких топчана, от них в комнате запах соснового леса. И еще громат: от сена, свеженакошенного. Пухло, как сдоба, вздымаются на топчанах сенники. Письменный стол и стулья — из обстановки училища. Но две полки для книг, вешалка, настенный шкафчик — тоже, как и топчаны, сегодняшней работы.

Тронула меня забота ополченцев: ведь совсем еще незнакомые мне люди — плотники, столяры. И увидел я в этом внимании к нам залог того, что в батальоне сложится дружная боевая семья.

Между тем и Осипов осматривал комнату хозяйским глазом. Открыл и закрыл дверцы шкафчика, кивнул одобрительно: «Здесь будет посуда». Затем опробовал коленом устойчивость каждого топчана и наконец кинул на вешалку кепку.

Сели друг против друга.

— Значит,— сказал комиссар,— перо беллетриста откладываем в сторону, чтобы фашистскую гадину бить?

— Именно так. Ведь и на стройках теперь, надо полагать, будет иное. Клади этажи вверх, а теперь пойдут вниз, под землю, по саперным чертежам.

Помолчали. Внезапно комиссар спросил:

— В гражданской участвовал?

Я упомянул и дивизию Щорса, и бронепоезд. Комиссар просиял и с размаху подал мне руку:

— Приветствую соратника! А о себе скажу: громами, как ты на бронепоезде, не управлял. Политработником

был. Но без слова большевика-пропагандиста, пожалуй, и пушки твои на бронепоезде не давали бы настоящей меткости... Как считаешь, капитан?

Разговорились. Я коротко рассказал о себе.

— А у меня детство иное... — И лицо Осипова стало жестким. — Ни леса, ни лугов, ни солнышка. Окна отцовской квартиры выходили в каменный колодец. У Достоевского небось читал про эти питерские дворы?

Так Владимир Васильевич начал рассказ о себе. Существовала в царское время такая профессия: счетчик банковых билетов, то есть бумажных денег. Отец Осипова и был счетчиком. Изготавлила билеты фабрика «Экспедиция заготовления государственных бумаг». У счетчиков особая, охраняемая вооруженным караулом, рабочая камера. Садись за столы чуть свет.

Сперва служитель клал на стол перед счетчиком большие чистые листы, на которых, если взглянуть на свет, только водяные знаки с изображением двуглавого орла. Успех дела, а значит, и заработок зависели и от того, насколько у человека быстро и ловко бегают пальцы. А как этого добиться? Только привычка. Рабочий день — двенадцать часов, но не дай бог, если у человека от усталости удвоится или потемнеет в глазах... Допустил просчет — долой из «Экспедиции».

Многokrратно сосчитанные листы шли в печать и с нанесенным на них контуром будущего денежного знака возвращались к счетчикам. Снова бегают пальцы, зорко глядит глаз, напряжено внимание. Сосчитал листы, обозначил количество на этикетке. После этого заготовки вторично идут в печатную машину, и в третий раз, и в четвертый, пока не образуется банковый билет в радужных красках.

Чем больше листы становились похожими на деньги, тем придирчивее были контролеры. Случалось, они устраивали счетчикам ловушки. Например, у счетчика получалось пятьсот штук, так и на этикетке поставил: «500» и свою подпись. А контролер подсунет в пачку лишний лист и велит другому счетчику: «Пересчитай!» Или наоборот: из пачки, где пометка «500», вынет лист. Счетчики терялись, вспыхивали споры, каждый отвергал падающее на него подозрение в нечестности... Человек не только устанет на работе, но и издергается.

Платили счетчикам в «Экспедиции» хорошо, оттого и терпели эту каторгу. Мог счетчик иметь, как это было у отца Осипова, хотя и дешевую, но отдельную квартиру. И семью содержал, и даже давал детям образование. Но



краток был век счетчика. В самом деятельном возрасте люди становились нервными или из-за слабеющего зрения надевали очки, а таких к счетному столу уже не допускали. Сажали молодых, здоровых.

Володя Осипов был только в шестом классе гимназии, когда отец его заболел и быстро умер от чахотки. В виде особой милости и из уважения к памяти честного работника управляющий «Экспедицией» принял недоучившегося гимназиста на место отца — счетчиком...

Осипов мне сразу показался сутулым. Так вот откуда это у него... И я представил себе мальчугана, который весь день сидит, скрючившись над счетным столом, не позволяя позвоночнику правильно развиваться.

Посочувствовал я человеку:

— Проклял ты, наверное, с тех пор царские деньги, комиссар!

— Что деньги,— сказал Осипов задумчиво.— Весь строй был бесчеловечный...— И он переменял разговор:— Значит, завтра приступаем к занятиям с ополченцами... Доброе дело — почин! Что и как запланировано у тебя, капитан?

И тут я, набравшись духу, предъявил свой листок. На нем то, что я наметил, во что уверовал.

Готовились спать — а тут Осипов и раздеваться перестал. Окинул меня мало сказать холодным — замораживающим взглядом:

— Муштровка?... Э, нет... Перегибаешь, комбат, потянуло тебя, бывшего офицера, на старорежимное... Муштровка не подойдет. Исправляй свою программу, исправляй, исправляй.

Будто ударил меня комиссар, попрекнув бывшим офицерством.

Не сразу я нашел в себе силы, чтобы защищать программу. А когда заговорил, Осипов, сморенный усталостью, перестал меня понимать. Улегся — и, уже засыпая, только и пробормотал:

— А песня за тобой, писатель... Для батальона...

Едва мы проснулись, я, придумав новый ход, возобновил разговор.

— Послушай, комиссар,— сказал я как бы между прочим, застилая постель,— счетчики в «Экспедиции» этой самой считались служащими или рабочими?

Осипов взбивал свой матрас-сенник.

— По мундиру — служащий,— ответил он, приостанав-

ливаясь,— а по существу и те и другие были под ярмом эксплуатации.

— Так я и подумал, Владимир Васильевич. Счетчик скорее рабочий, чем служащий. Грамотный рабочий. Ну, а в октябрьские дни ты, наверное, и в красногвардейцах побывал?

На лице Осипова появилась улыбка:

— Ясное дело! Помню: так хотелось поскорее винтовку получить.

— Ну и как?...— заговорил я уже осторожнее.— Получил винтовку?

— Да ты что? — И Осипов воззрился на меня с недоумением.— А еще военный... Так сразу — и винтовку в руки. А если стрельнет ненароком?... Этак и до беды недалеко.

— Да-да,— поспешил я согласиться,— ты же еще гимназическую шинель донашивал... Винтовки в красногвардейских отрядах раздавали взрослым рабочим.

Осипов возразил:

— И опять же не так просто было дело. Выдать винтовку — выдавали. Да тут же велели в козлы ставить: не трогай, мол, скажут, когда взять.

Я притворно удивился:

— Ишь ты — «не трогай, не смей». И это вам, революционным рабочим?

— А солдат нами командовал.

— Солдат? Выходит, рабочие сами себя подчинили солдату?

Осипов пожал плечами:

— Станный ты, ей-богу, капитан. Все делалось согласно указанию партии большевиков... Прикидываешься, что ли, простачком. С винтовкой обращаться уметь надо! Следовательно...

— Обожди, комиссар, обожди...— Я едва сдерживал ликование.— Но ведь винтовки в козлах. Чем же солдат с вами занимался?..

— Чем?...— В голосе Осипова озадаченность. Но через мгновение он уже хохотал. Отступил от еще незаправленной постели и продолжал хохотать.— В западную заманил... Караул, я в западне!.. Ну и ловок же ты, капитан! Это как же у вас, саперов, называется такой коварный маневр?

Отдышавшись, продолжал:

— Была строевая подготовка в красногвардейском отряде, была! Ясно теперь вижу, как топал, до одурения то-

пал, грязь разбрызгивая. Косишь глазом: в двух каких-нибудь шагах место обсохшее, но свернуть туда не смешь — сразу окрик солдата, то бишь унтер-офицера. Тайком от офицеров приходил он по назначению большевиков из своего полка. Ведь во всех еще правах было Временное правительство, головой человек рисковал. Помнится, знающий дело служивый был, сперва стеснялся голос на рабочих возвышать, но сами рабочие потребовали строгостей военных: понимали, что дело подошло к тому, когда даже при пролетарской сознательности потребовалась суровая воинская дисциплина. Топали по большей части на пустырях, а то и у зловонных свалок — лишь бы подальше от глаз насторожившегося начальства да соглядатаев из Зимнего дворца...

Вспоминая былое, Осипов ласково поглядывал на меня. Так пришли мы к согласию в понимании главного в краткой программе подготовки ополченца.

Спозаранку мы с комиссаром на ногах. Тридцать дней у нас, а точнее — уже двадцать девять. Да еще полдня уйдет на баню и на обмундировку ополченцев.

С батальоном отправился в баню комиссар. Возвратился приятно разморенный.

— Ах, что за народ, что за люди! — заговорил он восторженно еще с порога комнаты. — Ты многое потерял, капитан, что не пошел с нами. Подумаешь, дома принял ванну, а веничком попариться? Это же не только для телес, для души целительно...

Он сел, вытер шею и лицо полотенцем, отдышался.

— Преклоняться надо перед нашими ленинградцами, капитан! Что ни ополченец, то рвется в бой... Ты затревожился, что отпущено нам всего тридцать дней для работы. Но брось бухгалтерскую сторону дела, подыми голову от своих расчетных листков, услышь голос патриота: «Даешь оружие — и в бой!» Да на таком всенародном подъеме наши люди в гражданскую, вспомни-ка, чудеса творили!

Восторги эти меня встревожили. Уж не засомневался ли комиссар в правильности программы, которую сам перед баней подписал?

— Помню гражданскую, — сказал я, — как не помнить, да только у нас с тобой, комиссар, обстановочка сейчас другая. Сейчас в батальоне, с военной точки зрения, новобранцы. А тогда? За три с лишним года империалистической войны почти весь народ побывал в окопах. Когда вспыхнула гражданская, люди в военном деле уже поднаоторели, в особенности унтер-офицеры. Из их среды, сам

знаешь, вышли и некоторые замечательные полководцы того времени. Революционный подъем в народе — это само собой. Но без военных знаний это — стихия, беспомощная перед регулярной армией врага. Надеюсь, согласишься со мной.

Комиссар задумался.

— Да,— медленно выговорил он,— война сейчас на истребление. . .

— А мы не желаем быть истребленными.

— Не желаем, капитан. Ни в коем разе.

Я продолжал:

— Поверь, я разделяю твоё восхищение ополченцами. Порыв людей прекрасен. «Ура-а!» — винтовку навскидку и вперед. Безумству храбрых поем мы славу! А чем это кончилось бы? . . Нет, комиссар, не тысяча красивых смертей способна украсить знамя батальона, а умение, не дрогнув под огнем, развернуть наши саперные средства. Первый шаг — преградить путь фашистской гадине. Второй шаг — содействовать пехоте, танкам, артиллерии в разгроме врага. А это по плечу только саперу, по-солдатски вышколенному. . .

Осипов усмехнулся:

— Ты, кажется, меня агитируешь, капитан? Но восхищение мое ополченцами отнюдь не исключает программы, которую мы с тобой подписали. Кстати, хочешь, я сам снесу ее на утверждение? Заручусь поддержкой в политотделе — и к генералу.

Большого и желать было нельзя.

Генерал одобрил нашу программу.

В батальоне появился младший лейтенант Александр Васильевич Лапшин. На нем поношенный, но старательно выутюженный выцветший китель — свидетельство того, что человек отслужил действительную службу. Приятно было видеть его строевую выправку.

Я и комиссар, не сговариваясь, решили: ставим Лапшина адъютантом батальона. А он, оказывается, еще и маскировщик экстра-класса: пришел к нам с киностудии Ленфильм, где был начальником декорационного цеха. Творил из папье-маше горы и вулканы, когда это требовалось для киносъемок; в наполненном из водопроводного крана бассейне разыгрывал морские бури с кораблекрушениями; из тряпья, обрызганного раствором цемента, у него возникали и современные здания, и неприступные средневековые замки. . . Обо всем этом младший лейтенант охот-

но рассказал как о любимом деле. Обрадовался я: вот кто подготовит маскировщиков из ополченцев! Много ведь батальону и не надо — в общем счете человек пятьдесят. Обучит их Лапшин, найдет время.

Приступив к делу, Лапшин уверенно организовал работу штаба батальона. Установил час, к которому все службы (строевая, хозяйственная, санитарно-медицинская и т. д.) должны быть готовы к докладу командиру батальона. Завел порядок в служебной переписке. Появилась шнуровая книга приказов.

Бывают люди, умеющие на редкость красиво трудиться. Таков Лапшин. Впрягся в работу за двоих (начальника штаба для нас еще не подобрали) — и ни малейшей суеты. Все четко и своевременно выполнено, а руки, как ни взглянешь, у человека свободны, как бы напрашиваются еще и еще что-нибудь сделать. . . Прямо скажу: теперь я с удовольствием занимался в штабе с Лапшиным и Грациановым, Поповым и Виноградовым текущими делами, которыми обычно тяготился.

Штаб работал четко, лишнего времени у меня не отнимал. А комиссар, гляжу, и вовсе не усаживается за канцелярский стол. Между тем почта и ему приносит немало бумаг.

— Поделись,— говорю,— опытом.

А комиссар:

— Инструкции шлют, наставления о постановке политической работы в ротах, взводах, батальоне. . . Не нахожу ничего нового. Слово партии у меня на слуху.

«На слуху слово партии. . .» Меня поразили эти простые слова. Как глубокий и как значителен их смысл!

Узнаю комиссара все ближе. Приказы и распоряжения мои по батальону, замечая, обретают такую силу воздействия на людей, словно к воле моей незримо присоединяются сотни воли, плечо мое как бы подпирают сотни плеч. Понял, что меня, беспартийного командира, до такого могущества поднимает партия в лице комиссара и коммунистов батальона. Это побуждало меня быть особенно строгим к себе, всякое свое распоряжение основательно взвесить, обдумать. И, требуя от людей дисциплины, самому подавать пример исполнительности. Словом, я стремился стать лучше, совершеннее, чем был.

Комиссар положил за правило: не навязывать мне своих мнений, а мои уважать. Но когда я спрашивал у него совета, откликался с большой охотой. «Ум хорошо, а два лучше», — напоминал он, что и подтверждалось на деле.

Когда на фронте, в боях, я вступил в партию, мы еще больше сблизились.

Утро дня рождения батальона. В полной форме спускаюсь из своей комнаты. Рядом комиссар с красными звездами на рукавах. В нижнем коридоре улавливаю запахи оборудованной нами кухни и чад от плохо еще налаженной плиты. В другое время и в другой обстановке поморщился бы, но сейчас эти ароматы, как и звон прибираемой после завтрака сотен людей посуды, только радуют: батальон начал жить!

Переглядываемся с комиссаром, слова излишни, да и не выразишь словами душевный подъем, который оба ощущаем.

— Позавтракаем после? — спрашивает Владимир Васильевич.

— После, после,— говорю я.— Сперва поглядим, как разворачиваются строевые. . .

Когда-то студентом на железнодорожной практике, с разрешения машиниста паровоза, я дал ход поезду. Отпустил рычаг тормоза, другим рычагом включил пар — и с бьющимся сердцем замер в ожидании. . . Внутри паровоза зашипело, ноги ощутили дрожь напрягающейся машины, и — незабываемое мгновение! — товарный поезд в десятки тысяч пудов весом, послушный моему желанию, моей воле, моей руке, двинулся с места. . . Нечто подобное испытал я и сейчас.

Вышли с комиссаром на воздух, остановились на крыльце. Лучи раннего солнца, пронизывая листву деревьев, разбегались перед глазами зайчиками. И сколько же этого веселого народа — не счесть! Уже с крыльца сквозь зелень вижу группы занимающихся ополченцев. Топают по аллеям Михайловского сада, еще закрытого для посетителей; топают среди кустов сирени, акации и жасмина на Марсовом поле; топают на торцовой площадке, отделяющей сад от канала Грибоедова. С разных сторон зычные выкрики: «Ать-два, ать-два. . . Шире шаг! . . На месте. . . Кру-угом! . . Пр-ря-ямо! . .» Звонкое в утреннем воздухе эхо вторит голосам.

Стою и сам себе улыбаюсь: тогда, в юности, возликовал, сумев дать движение поезду. А сейчас даю движение жизни батальона почти в тысячу человек. . . Что ж, по-сильно и это.

Между тем одна из групп направляется к крыльцу. Шаг крепнет.

— Кажется, решили продефилировать мимо командования батальона,— замечает комиссар.

— Определенно,— говорю я.— Похвалиться группе пока нечем — ни выправки, ни шага, ни равнения, но молодцы, дерзают.

В нужный момент я вытягиваюсь, беру под козырек. То же проделывает и Осипов.

— Здравствуйте, товарищи саперы! — И я поздравляю ополченцев с началом боевой учебы.

— Смерть немецким фашистам! — восклицает комиссар.

Прошагала еще группа ополченцев — эта уже неплохо. Еще группа... Но что такое? Гляжу: уже не группа, а колонна вытягивается из-за кустов персидской сирени... Я озадачен: где же последовательность в строевой выучке бойца? Кто это посмел вывести на учение сразу роту?.. Однако колонна не разваливается: шагают с песней — старинной саперной. Вчера я познакомил с нею ополченцев:

Отчего сапер таскает  
Лопату, кирку, кирку и топор?  
Оттого, что дело знает,  
Что касается сапер!..

— А ладно поют,— замечает комиссар.— Ишь ты, даже с посвистом!

— Обожди,— говорю,— задам я им сейчас посвист!

А взгреть некого — колонна без головы... Вот она, голова: с любопытством из-за сиреневого куста выглянула. Вот он, самовольщик. Покинув засаду, ко мне подбежал командир второй роты Коробкин.

Фасонисто, с оттяжкой руки, ротный козыряет, но, едва сталкиваемся глазами, бравый вид его гаснет: на лице готовность получить заслуженную взбучку.

— Докладывайте,— требую я,— и прежде всего о том, как понимаете дисциплину.

Коробкин молчит. За несколько дней знакомства он, подозреваю, учуял, в чем моя слабость: пасую перед отличной строевой выправкой. Не отнимая кисти руки от пилотки, хитрец эффектно разворачивает грудь. Он строен, рост сто восемьдесят пять (выше меня), у него красивое породистое лицо, которое сейчас выражает полную мне, командиру батальона, преданность. Но не больше. Человек горд и, как говорится, знает себе цену.

Владимир Петрович Коробкин — сын царского генерала интендантской службы. По старинному дворянскому

обычаю мальчик едва ли не со дня рождения был зачислен как бы уже на службу в один из гвардейских полков. Подроском, но одетый уже в форму полка, он запах конюшен предпочитает аромату любого цветка; в манеже широко открытыми от восхищения глазами наблюдает, как гарцуют всадники. Он дружит с бородатыми и усатыми дядями солдатами, а те балуют шустрого и любознательного паренька, сажают в седло и — верх блаженства для всякого мальчугана — позволяют прокатиться верхом. Жизнь определена: ничего иного — только служба в кавалерии! Но произошла революция. Отец генерал, честно послужив Советской власти, умер в 1920 году. И мальчик с матерью, чтобы прокормиться в те нелегкие годы, принялись колесить по стране — от родственников к родственникам. Все же Владимиру удалось закончить среднюю школу. Коробкин стал архитектором, но влечение к коню не угасло. В одном из ленинградских манежей он прошел курс верховой езды, стал совершенствоваться в вольтижировке.

Но призыв в армию — и присваивают ему не желанное звание кавалерийского командира, а скучнейшее — воентехника. Коробкин разочарован, подавлен. Вот и сейчас, на Марсовом поле, называя в рапорте, как полагается, свое звание, он споткнулся о постылое ему слово «воентехник».

— Спрашиваете о дисциплине? Отвечаю: как и вы, товарищ капитан, держусь дисциплинарного устава.— И улыбнулся не без самодовольства: — А моя вторая рота разве плохо показала себя?

— Отвратительно, товарищ воентехник! Это еще не рота, а вольная команда. Где равнение в затылок? Где равнение в рядах?.. Ротные учения как преждевременные отставить. Попрошу держаться установленных правил в строевой подготовке бойца!

Коробкин поскущел. Ответил вяло:

— Слушаю...— И кинулся догонять своих бойцов.

Комиссар поглядел ему вслед.

— Есть у него гонор... Есть, есть гоноры... Но не круто ли ты с ним, командир?

— Считаю, что встряска ему только на пользу,— сказал я. И не ошибся. Внушение подействовало. Коробкин взялся всерьез за обучение ополченцев и вывел-таки свою роту по строевой подготовке на первое место в батальоне.

Владимир Петрович Коробкин пришел в батальон уже обстрелянным: участвовал в боях при защите наших гра-



ниц. Это ценно. Благодаря его боевому опыту в батальоне избежали книжности в преподавании.

Человек от природы общительный, веселый, Коробкин обладал звучным голосом, подобрал и в роте хороших певцов. А в вихревой красноармейской пляске не только в роте, но и в батальоне не имел соперников. Все это открыло ему путь к сердцам подчиненных. Вторая рота сделалась во всех отношениях сильнейшей в батальоне. А когда батальон выступил на фронт и достиг первых боевых успехов, мы с комиссаром возбудили ходатайство о присвоении Коробкину строевого звания взамен технического, а затем и поздравили его со старшим лейтенантом.

Приняв на себя обучение ополченцев минно-подрывному делу, Коробкин оборудовал специальный учебный столик. На столике — корпуса мин, макеты подрывных зарядов. Однако наглядное это пособие не привлекло людей, а отпугнуло. Никогда не служившие в армии отцы семейств побаивались взрывчатки. Но Коробкин проявил настойчивость и недюжинные педагогические способности.

В потоке ополченцев к нам прибыли большой группой студенты Горного института — ребята бывалые, усвоившие практику горно-взрывных работ. Взрывчатка в их глазах — всего лишь материал для работы, как бревно для плотника или кусок жести для кровельщика. Оставалось познакомить горняков с особенностями подрывных работ в военной обстановке, что Коробкин и сделал. Участвовал в семинаре Коробкина и я. Старый подрывник — как же упустить случай потолковать с молодежью об этой мужественной и вместе с тем лихой военной профессии, с которой сам я когда-то сроднился!

Из подготовленных минеров впоследствии особенно выделились на боевой работе двое студентов-горняков, закадычные друзья Катилов и Потылов. Об этих отважных ребятах рассказал в одной из своих книг писатель Иван Вишegradов.

Особняк стал похож на улей в период медосбора. В какой бы класс ни заглянул — всюду деловая обстановка: учатся ополченцы, и стар и млад. А вот уже почин самих ополченцев. Не успел я рассчитать часы, какие следовало бы отвести на стрелковое дело, как, гляжу, люди уже занимаются изучением винтовки. В руководителях — ополченцы из отставных солдат. Устроится этакий ветеран редко в классе, чаще где-нибудь в коридоре на подоконнике либо на какой-нибудь тумбочке, постелет тряпицу, разместит на ней что требуется — флакончик ружейного мас-

ла, ежик, клок ветоши — и приступает к делу. Сразу около него группа ополченцев, и пошел говор: «Стебель затвора... спусковой крючок... боек...» Разобрали сообща винтовку, почистили, смазали, вновь собрали. И людей уже тянет к мишеням... Потянуло — пожалуйста, в коридорах уже развешаны мишени. Здесь же станки для прицеливания.

Стрелковое дело способно увлечь едва ли не каждого — ведь в нем элементы спорта, соревнования. И я не удивился, когда обнаружил, что и в свободный час красноармейца — единственный, который удалось выкроить в сверхплотном распорядке дня, — люди не отходили от винтовки. Между тем предстояло еще более интересное: боевые стрельбы на Семеновском плацу в туннелях. Там каждый получит оценку по выбитым из винтовки очкам.

В батальоне собралось немало специалистов. Почти тридцать плотников у нас — сила, несколько строительных бригад! Но ведь и плотницкая работа на фронте большая. Вот надо ставить дзоты. Заготавливаются два сруба, каждый из которых сгодился бы для деревенской избы. Срубы разные — один побольше, другой поменьше. Малый вставляется в большой, а пространство между стенами обеих засыпается землей и камнем. Отсюда и название постройки — дзот: дерево-земляная огневая точка. Внутрь постройки, к амбразуре, вкатывается пушка или пулемет.

Это один из примеров работы сапера-плотника в обороне. Но ведь мы не засидимся на месте. Придет час, когда погоним прочь фашистских захватчиков. А в наступлении у сапера-плотника дела пожарче. Случается, прикажут за ночь, а то и за несколько часов построить мост, который в мирное время строился бы месяцами. Над головой остервенело воют вражеские самолеты, вокруг рвутся бомбы, а сапер будто и не замечает опасности, размеренно и сноровисто помахивает топором.

Но к столь необычной работе людей надо подготовить. Усадили за парты и плотников. И учителя налицо: в батальоне немало инженеров строительных специальностей, начиная с комиссара.

Хотелось бы, конечно, пополнить этот основной для батальона отряд рабочих (не закроешь глаза на предстоящие потери в боях). Однако плотницкому делу новичка за месяц не обучишь, а вооружишь топором неумелого, он раз — по полену, а другой — по колену...

Для занятий ополченцам потребовалась литература. Лапшину, работавшему и за начальника штаба, новая работа: раздобыть необходимые учебники, справочники, наставления. Впрочем, Александр Васильевич уже набирает книги по военным библиотекам города. В подсказках он не нуждается.

Казалось бы, поезд, которому я уподобил начавший жить батальон, не только двинулся со станции со всем своим многообразным грузом, но и развивает неплохую скорость. . . Однако чуть не каждый день, если продолжать железнодорожные сравнения, надобилось подбивать путь. Хватало нам с комиссаром забот! И однажды Владимир Васильевич сказал, поморщившись:

— Пойдем-ка из канцелярии, здесь больно сургучный дух. Потолкуем о наших делах за чайком.

Но лучше бы мне не знать этого чаепития. Едва я не распрощался с батальоном. Вынужденно. Не по своей воле.

Пришли в свою комнату. Распахнул я окно — и зеленый мир перед глазами: окно выходит прямо в Михайловский сад.

А комиссар — к посудному шкафчику на стене. Домовитый, как погляжу, человек Владимир Васильевич! На письменном столе уже свежая, захрустевшая от крахмала скатерть, а на ней целое воинство чайных предметов и принадлежностей: сахарница, сухарница, чашки, блюдца, банка с домашним вареньем и розетки для его потребления, масло в масленке, сливочник — хотя и пустой, но, как видно, обязанный быть в строю. . .

Командовать парадом явился из шкафчика Кот в сапогах. Сказочный этот герой в присвоенных ему доспехах был изображен на фарфоровой кружке, пузатенькой, старинного фасона. Да и сама эта кружка — если взглянуть — была возраста почтенного: вся в мелких, волосяных трещинах, которые, как известно, на фарфоре то же самое, что морщины на лице состарившегося человека. Налив мне и себе чаю, сказав «приступим», Владимир Васильевич подвинул к себе кружку, постучал пальцем по котовой мордашке. Улыбнулся: «С детства мой сотрапезник». И, причмокивая, углубился в любимое, как видно, свое занятие — попивать чаек. Время от времени он брал щипчики и раскалывал куски сахара. Чай Владимир Васильевич признавал только вприкуску.

Сидим, чаевничаем — и только бы заговорить о делах,

как появился Чирок. Хлебосольный Владимир Васильевич тут же усадил его за стол. Чирок покосился на меня, замялся, стал отнекиваться: мол, крайне занят, только проведать забежал... Но комиссар пресек возражения: «Не горит?» — и налил ему чашку.

— Не стесняйся, Алексей, бери сахар, печенье, гребни варенье: смородина с малиной, мой кулинарный эксперимент.

Разговор не складывался, и тогда, чтобы разрядить неприятную паузу, дернуло меня вспомнить один забавный случай из своей литературной жизни.

Был я начинающим писателем, только-только, при содействии Самуила Яковлевича Маршака, вышла в свет моя первая книжка для детей. И я был польщен, когда однажды оказался в компании с Корнеем Ивановичем Чуковским, несколькими другими писателями и самим Маршаком. Отправились в Капеллу для литературного выступления.

В зале столик, стул, а перед столом, в местах для публики, небольшая группа ребят: приодетые, с пионерскими галстуками девочки и мальчики. Это было время, когда только еще входили в обиход писательские радиопередачи. Мне объяснили, что говорить в механический прибор, да еще как бы в пустоту не каждому нравится. А обращаться к живым людям привычно каждому, оттого здесь и дети.

Сел я читать то, что выбрал из моей книжки Самуил Яковлевич: наиболее выигрышный эпизод. Глянул на ребят — лица заинтересованные; это подбодрило меня, свободнее пошло чтение, естественнее. Мысленно уже похваливал себя: справился, мол, с писательским выступлением... Как вдруг перед самым носом кулак — в черной перчатке, на черной же, изогнутой вопросительным знаком руке... Угроза? Откуда? Что?..

Не успел я и сообразить, что это микрофон, как голос мой сел. Никакого звучания, шелест какой-то. Пробую голос усилить — пришепетывание превращается в мычание, слова не выговариваются... Юные слушатели, на которых я уже не смел глаза поднять, захихикали. Кто-то из них фыркнул, кто-то громко рассмеялся... Я уже в поту, а прекратить чтение, понимаю, нельзя: меня слушает весь Ленинград! Едва добрался до конца рассказика.

Маршак глядел в окно и даже не повернулся ко мне. Но Корней Иванович Чуковский, высокий, тонкий, размахивая руками наподобие крыльев мельницы на ветру, набросился на меня и стал гневно мне выговаривать:

— Безобразие, молодой человек! Хороший рассказ — и так прочитать! Что с вами случилось? Если больны, надо было предупредить об этом. А то ведь всю программу испортили!

Я молчал, но от огорчения жестоко поносил себя: «Так мне и надо! Поделом! Не лезь не в свое дело. Подумаешь — книжечку состряпал, да и ту наполовину чужими руками... Серьезным делом занимался бы — ты же инженер!»

Но Корней Иванович уже смягчился. Стал давать советы: как выходить к публике, как держаться в зале. «А главное, — учил он, — лучше не читать, а рассказывать. Прочитал текст заранее и тут же забудь его. Тогда и получится натурально. И не робеть. Публика верит только смелому». Что-то еще говорил Корней Иванович, все добрее и добрее. Но вернул мне веру в себя лишь Маршак. И не словом, а дружеской улыбкой, с которой он наконец повернулся ко мне...

Вечерний чаек, устроенный комиссаром в уютной обстановке, выпит. Чирок пошел к себе, легли спать.

А через два-три дня в часы напряженных занятий комиссар берет меня под руку и предлагает прогуляться по саду.

Я заподозрил недоброе:

— Что это вдруг?

Оказалось, в батальоне переполох. Никто из ополченцев еще не знал, что я писатель. Видели во мне военного, щеголяющего выправкой, требующего от каждого дисциплины и осанки... И вдруг разочарование: «Да это же не командир! Писатель, да еще детский. Их корреспондентами назначают в армию. По ошибке он у нас...» Встревоженные люди кинулись к комиссару: мы и сами, мол, не «бравы ребятушки», а с таким командиром только голову сложить...

Если бывает, что человек от возмущения и обиды готов головой об стенку, то я был близок к такому состоянию...

— К черту все, к черту! Сейчас же пойду к генералу. Не уважит — в штаб фронта пробьюсь, пусть в самом деле ставят корреспондентом!

Владимир Васильевич схватил меня за руку и пытался шутить: «Вяжите его, вяжите!...»

Я вырвался.

— Что я теперь, ты понимаешь? Строил, строил мне

авторитет, а где он? .. Честь имею представиться: оплеванный капитанишка!

И вдруг догадываюсь: Чирка работа! Послушал мой рассказ за чаепитием, да и оболгал меня перед ополченцами, мол, никакой наш капитан не сапер. . .

Прошлись по саду. После долгого молчания комиссар спросил:

— Что намерен предпринять?

Я задумался: смешно и глупо сводить счеты с человеком недостойного поведения. Иначе сказать — равняться с ним. И я ответил комиссару так:

— Полезен Чирок батальону? Полезен, но и на недостатки его не следует закрывать глаза. Словом, пусть работает, а там видно будет.

Владимир Васильевич заулыбался, с жаром пожал мне руку:

— Правильно, командир! Уважаю твое решение.

— Командир? — возразил я. — Нет, я уже не командир батальона. На растоптанный авторитет заплаты не поставишь. Отношения с ополченцами испорчены. Остается одно: переведусь к кадровым саперам. . .

— Нет, погоди, — гневно возразил комиссар. — Для игры самолюбий не время и не место. Мы в обороне страны! Кроме того. . . — И губы его дрогнули. — Мы ведь с тобой друзья. . .

— Верь, — поспешил сказать я, — нашу дружбу ценю и не удеру втихомолку.

Затем Осипов поспешил в класс на занятия, а я заперся в нашей общей комнате. Обиделся я на людей.

Я взял с полки том Дюма — захотелось присоединиться к веселым и справедливым мушкетерам. Сижую читаю, между тем ухо караулит — что за дверью? .. Вот в тишину коридора ворвался шум голосов, топот. Это перемена. . . Опять тишина — занятия в классах возобновились. . . А в дверь ни стука. Никому больше ко мне и дел нет. . .

Вечером опять вышли с комиссаром в сад. Устроились в павильоне Росси, над зеркалом едва струящейся здесь Мойки. Владимир Васильевич заговорил сухо, официально. Оказывается, он успел побывать и в политотделе дивизии, и у генерала и заручился обещанием, что из батальона меня не выпустят.

Я вспылil:

— Это не по-товарищески! Заглазно решать судьбу человека — да как ты, комиссар, пошел на это?

— Не огорчайся... — Комиссар улыбнулся и тронул меня плечом. — Еще спасибо скажешь. Знаешь, что мне посоветовали в штабе дивизии: ты сделаешь батальону доклад...

— Еще чего!

— Капитан! — рассердился Осипов. — Способен ты наконец набраться терпения и выслушать меня?

— Хорошо, — уступил я. — Но что это еще за доклад? О чем?

— О себе, — сказал комиссар. — О своей жизни. Чтобы люди не сомневались, что умеешь воевать.

Слушал я комиссара рассеянно, не очень-то веря в успех его затей. Обнаружил, что с балкона над водой в глубь павильона ведут семь ступеней. «Почему именно семь? — заинтересовался я. — Семь слоников расставляют на трюмо или этажерках; семь чудес света...»

— А знаешь, Владимир Васильевич, — обернулся я к комиссару, — архитектор Карло Росси был суеверным. Не веришь? Пересчитай ступени.

Осипов поморщился:

— Не балагань, капитан, мы здесь — не ступени считать.

Не хотелось мне больше сердить хорошего человека, и я обнял Владимира Васильевича. Глянул вперед, а на Марсовом поле — слон. В сумерках фигура животного расплывчата. Или мне померещилось? Массивное тело движется...

Спрашиваю комиссара:

— Видишь слона?

— Вижу, — говорит. — Только это не слон. Это аэролат воздушного заграждения.

— Вот так сюрприз! — только и нашелся я вымолвить. Не вязалось в мыслях: небо Ленинграда уже доступно для врага!

— Гляди, вон еще один, — показал комиссар. — И вон, и вон...

В самом деле — над городом тут и там всплывали неуклюжие мешки на привязи. На чистом, светлом от смены зорь небе будто тифозная сыпь высыпала. Я пришел в смятение, а комиссар между тем говорит:

— Пока ты, самоустранившись от жизни батальона, почитывал своего Дюма, поступил приказ: сформировать из саперов-ополченцев маршевую роту, вооружить, снабдить инструментом и с трехдневным пайком — на Варшавский вокзал.

— Что? .. — поразился я. — Что такое? .. Но ведь саперы еще не готовы. . .

А комиссар:

— Недоученные, но большинство из четырехсот сами вызвались ехать. С энтузиазмом, — добавил комиссар веско.

— Четыреста. . . — Цифра меня ошеломила: от живого тела батальона отрублена почти половина. — Куда же они, скажи, эти сотни неумелых?

— В помощь саперным частям. Под Лугу.

— Ну, это недалеко, сто километров. — И я уже готов был успокоиться. — Какие-нибудь резервные построики. . . В сущности, это даже на пользу ополченцам. Наживут трудовые мозоли и вернутся завершать учебу.

— Не вернутся, — сказал комиссар. — Под Лугой уже отстреливались от фашистских мотоциклистов. В штабе дивизии сведения о подходе крупных сил врага. Приказано остановить фашистов на рубеже реки Луги, не подпустить к Ленинграду.

Я не сразу опомнился. Враг у ворот! .. С чувством жгучего стыда и уже не помня обид, я поспешил возвратиться к своим командирским обязанностям.

Однако доклад о себе — я уже сам почувствовал — необходим. Замаранная репутация — это грязь, и пока ее с себя не смоешь — ты не командир.

Собрались в единственном просторном помещении особняка — на четвертом этаже. Здесь и артисты выступали перед ополченцами, и заведенный комиссаром духовой оркестр, терзая слух, устраивал сыгровки, и бильярд стоял — короче, здесь был батальонный клуб. Оставшиеся в батальоне шестьсот человек, стоя, в солдатской тесноте, но кое-как уместились все.

Случалось мне как писателю выступать в библиотеках, школах, в пионерских лагерях. Но там — любознательная детвора, и отрадно было видеть, как у слушателей — мальчиков и девочек, — едва увлечешь их рассказом, загораются от восторга глаза, рдеют щеки, как тут и там порываются аплодировать, но спохватываются, боясь пропустить хотя бы слово писателя.

Короче — там друзья, а здесь? .. Не враги, конечно. Но глядят настороженно. Ждут оправданий. . . В чем же? Я ни перед кем из них не виноват. Сложная обстановка. . . Прежде чем войти в зал, я постоял, чтобы внутренне со-



браться. Команду для встречи отменил заранее, заставляю себя улыбнуться и к ополченцам выхожу со спокойным достоинством человека, ни к каким недоразумениям непричастного.

Не стану пересказывать часового доклада: говорил я о своем участии и в первой империалистической войне, и в гражданской — всегда на командирских постах. Ополченцы сперва озадаченно переглядывались, потом, поверив в мое слово, уже не сводили с меня глаз. А я старался не засушить речь, не отягощать второстепенными подробностями, говорил так, чтобы было интересно. Следил за настроением зала, не переставая поглядывать на лица слушателей. Как известно, и в серьезном докладе уместна шутка. Удавалось сострить — и в зале смеялись; смех перекатывался в коридор, значит, и там опоздавшие меня слышат и внимают моим словам...

Наконец я мог сказать себе: «Доклад удался» — и с чувством удовлетворения присел на краешек бильярдного стола.

— Можно и без рукоплесканий, товарищи, — сказал комиссар, водворяя тишину. — У нас деловая встреча с командиром. Есть вопросы?

Поднялись десятки рук. Комиссар предложил, чтобы не затягивать собрания, изложить вопросы в записках.

— Есть желающие выступить?

К столу подошел один из студентов-горняков. Гляжу: в руках у него книжка «Бронепоезд „Гандзя“». Он сказал, что еще с детства — мой читатель. Тепло отозвался о содержании книги: «Всем советую прочитать эту очень достоверную повесть».

Выступил комсорг батальона Матвей Якерсон. Едва окончил университет, как был мобилизован комсомолом в ополчение. А сам — историк. «Не успел даже разговеться, — смеясь, говорил он. — Ни дня, ни часа не поработал по специальности — сразу в батальон!..» Но к сегодняшнему дню не упустил случая покопаться в архивах. И вот результат. Он поднял вверх тетрадку.

— Всем видно?

— Видим... видим...

— Тогда слушайте: «Стенографический отчет Первого Всесоюзного съезда писателей, год тридцать четвертый. Председательствует Алексей Максимович Горький. Извлечение из доклада Самуила Яковлевича Маршака «О большой литературе для маленьких». Читаю: «...У нас рассказы о профессиях, рассказы о труде только начинают появ-

ляться... В этом году Николай Григорьев написал рассказ «Полтора разговора»... Читая рассказ, любишь великолепной стремительной «Элькой», но зато по-настоящему уважаешь «Шуку». «Шука» не торопится, налегает мелкими, как зубы, и цепкими колесами на рельсы, а вытягивает она тысячу тонн на колесах: хлеб, кирпичи, трактора... Недаром,— замечает далее Маршак,— главные герои самого важного эпизода книжки — «Шука» и ее машинист Коротаяев...»

Якерсона слушали с поощрительными улыбками. Но глянул он на часы и заторопился:

— Регламент не позволяет огласить все, сказанное на съезде Маршаком о книжке. Закрываю его же словами: «Новое отношение к хозяйству, к труду, к социалистической ответственности разительно отличает книжку Григорьева от старых рассказов о стрелочниках и вагонных бандитах...»

В зале — аплодисменты. Но я, автор книжки, скажу без рисовки, испытал неловкость: вероятно, так в старину чувствовали себя невесты на смотринах...

Потребовал слова Попов, начальник нашего доморощенного проектного бюро. Начал с того, что брезгливо выпятил нижнюю губу.

— Какой-то прошшалыга — я не хочу и знать его имени — пустил дрянной шепоток о капитане. Постыдно это для нас, ленинградцев. Как путеец могу сказать про капитана только одно: знающий дело командир! — И с высоко поднятой головой старый петербуржец пошел из зала. Перед ним уважительно расступились.

Были и еще ораторы: сказал слово плотник, сказал инженер, сказал ополченец из служащих, замкнул выступления грузчик Гулевский.

Комиссар уже несколько раз закрывал собрание, гулко хлопая сложенной совком ладонью по бильярдному столу. Но теперь уже я нарушал регламент: отвечал и отвечал на вопросы, не в силах расстаться с людьми, которые дружески потянулись ко мне. И любопытно: военные дела как бы отступили в сторону — разговор почти целиком пошел о литературе.

Усталый, но — не побоюсь выпретенных слов — ошастливленный расположением людей, я ложился спать уже близко к полуночи.

— Спокойной ночи, Владимир Васильевич. Спасибо, что поставил мой доклад,— укладываясь, сказал я комиссару.

— Благодарю Чирка,— отозвался он, благодушно погружаясь в сенник, как в перину,— это он тебе удружил. А вообще,— добавил комиссар уже серьезно,— моя промашка: следовало сразу же, первым пунктом программы, представить тебя, командира, ополченцам. Но не все ведь и углядишь... Впредь умнее будем.

Позабавило недоразумение, когда в штаб батальона пришла девочка. Первой моей мыслью было: «Делегация из какой-нибудь школы. Пригласить на выступление. Самую смелую послали вперед, остальные таятся за дверью». Однако девочка оказалась вовсе не школьницей. Нахмурив, видимо, для солидности светлые брови над светлыми же голубыми глазами, она объявила:

— Я врач. Назначена в саперный батальон. Кому здесь предъявить документы?

Разговор требовал официальности, и я встал. В документе прочитал вслух: «Капитан медицинской службы...»

Находившиеся в штабе Лапшин, Попов, Грацианов, Коробкин один за другим медленно поднялись...

«Козик» — значилась в документе фамилия. «И в самом деле козлик... Козик-Козлик», — усмехнулся я, видя перед собой маленькую и совсем молодую женщину.

— Разрешите, доктор, представить вам,— заявил я с подчеркнутой вежливостью,— ваших будущих сослуживцев, а возможно, и пациентов.

Тут каждый из присутствующих подошел к медицинскому капитану и назвал себя. Попов со стремительной элегантностью, опережая Коробкина, подал даме стул.

Анна Марковна была украинкой, что обнаружилось уже в ее говоре. Отвечая на вопросы, коротко рассказала о себе. Юной колхозницей из черниговского села она отважилась для продолжения образования поехать в Ленинград. Окончила медицинский институт и, получив звание капитана, попала к нам.

Слушая будущего соратника, мужчины сели, завязался общий разговор. Я упомянул, что в гражданскую воевал за Советскую Украину, полюбил украинцев, их быт, нравы, их культуру. Причмокнув от кулинарных воспоминаний, назвал знаменитый украинский борщ, домашние колбасы, вареники с вишнями...

— Воны, бачьте, ще смэтаной полыти,— уточнила украинка и впервые улыбнулась. Обнаружилось, что Козик и на язык остра, и хохотунья. Подтрунивая над собой, рас-

сказала, как при поступлении в институт едва не провалилась на вступительном экзамене по литературе. В сочинении написала: «Тымчасовый уряд». Экзаменаторы не поняли. А она никак не находила русского значения этих слов. Наконец общими усилиями установили: «Временное правительство». И зачили работу отважной украинке.

Рассказ, переданный с юмором, вызвал общее веселье. А тут подоспел и комиссар.

— Так, так, следовательно, дочкой обзаводимся... — И он присел напротив девушки. — Добре, добре. Анна — это значит Ганна? ..

Козик в ответ на ласку окончательно расцвела.

— Ну-ка, где у нас Чирок?

— Я здесь, товарищ комиссар! ... — И помпохоз вынырнул из-за двери.

— Экипировать батальонного врача.

— Есть! — Чирок увел девушку, но вскоре прибежал озадаченный.

— Сапожник спрашивает, как быть? У него нет колодок на детскую ногу.

Я вмешался:

— Вас ли, товарищ Чирок, учить ловкости, находчивости? Потребуйте от сапожника, чтобы пошевелил мозгами. В армии не может быть ответов «нет» или «не могу».

— Сапожки чтоб сшил не только по размеру, но и по ее вкусу, — сказал комиссар. — Наверно, захочет каблучок повыше. Да кожаный товар сам выбери — женской ноги требуется помягче.

Чирок кивнул, но с места не двинулся.

— Ну? — нахмурился Осипов. — Неужели не уразумел?

— С сапожками ясно, товарищ комиссар. Но ведь ей юбку защитную надо сшить. А из чего? У меня на складе обмундирование мужское в комплектах.

Осипов развел руками — и ко мне:

— Видал ты беденького: «Ах, пожалейте...» Ладно, даю тебе, Чирок, совет. Возьми балахон, в который ты меня на смех людям в бане обрядил...

— Я не обряжал, — смутился помпохоз, — вы сами.

— Не перебивай. В балахон не только девушка, пара дюжих мужиков влезет. Распусти балахон на материал и поставь портного кроить. Получатся и юбка, и гимнастерка врачу, а у тебя еще лоскутья останутся — заплатки ставить... Понятно?

Одели, обули врача за один день. А когда Козик приступила к обязанностям батальонного врача, ну и цепкой

оказалась особой: уходила меня заявками и требованиями на всякого рода медицинское оборудование, приборы, стерилизаторы, перевязочные материалы, лекарства, медицинские сумки для санитарок, даже особое белье пожелала иметь для раненых... И не уговонишь ведь такого живчика: врачу лучше знать, что ему необходимо для выполнения работы.

Кончилась неделя существования батальона, пошла вторая — вдруг Козик взволнованно: «Бачьте, у червоноармейцев наших — цинга!»

Я усмехнулся: «Скороспелые суждения скороспелого врача!» И строго:

— Не надо страшных слов. Цинга, как известно, болезнь полярного Севера.

А девчонка как вскипит... Глазки-незабудки уже как темные омуты, в голосе и слезы, и негодование. Потащила меня к себе в медчасть, тычет пальцем в журнал приема больных. Но в записях ее, как и в объяснениях, я ничего не понял. Козик беспомощно развела руками, и взгляд ее в это мгновение можно было понять только в одном варианте: «Эх ты дубина стоеросовая!»

Я сделал попытку уйти, но она мгновенно повернула в скважине ключ, вновь усадила меня к столу и достала из шкафа аккуратно сколотые листки раскладки солдатского меню за все минувшие дни. Вот, оказывается, чем нас кормит интендантство: ни кусочка свежего мяса — только консервы, картошка в виде сушеных пластинок. К этому — макароны, лапша, и хотя бы перышко свежей зелени... Козик усмехнулась:

— В тарелку бы свою глядели, колы на кухне не бываете.

Я смиренно принял упрек.

— А что же,— говорю,— Чирок? Продовольствие — первейшая его обязанность.

Козик махнула рукой и на отличном русском языке выдала:

— Кишка слаба!

Я поднялся в штаб, к телефону. Соединился со снабженцами дивизии. Говорю:

— В батальоне заболевания от плохой пищи. Интендантство сплавляет ополченцам то, что у него залежалось на складах. Живем без овощей.

Голос в трубке:

— Знаем и принимаем меры...

— Что-то не видно результатов! — обрезал я. — Посылаю трехтонку в ближайший совхоз для закупки овощей!

— А мы вас к суду за растрату.

— Буду только рад увидаться с вами на суде! — И я повесил трубку.

Вызываю казначея батальона:

— Есть деньги в наличности?

— Но... — замялся ополченец из банковских служащих. — На какой предмет, товарищ командир?

Я объяснил.

Тот испуганно:

— Это невозможно! Вы идете на преступление...

Я приказал ему выдать мне деньги под расписку.

— В лучшем случае... — бормотал казначей, нервно поплеывая на пальцы и отсчитывая мне кредитки, — на вас будет начет, и уж, конечно, не избежать вам выговора по службе...

— Ничего, сдюжу!

Овощи были закуплены, после чего лук, капуста и прочая зелень стали поступать и через интендантство. К суду меня не привлекли, а жаль: уж я бы сразился с бюрократами! А за то, что начета не сделали, не заставили меня раскошелиться, — спасибо.

Подготовка батальона к военным действиям, если вновь обратиться к сравнению с поездом, шла на всех парах. Близился день, когда командир дивизии, взглянув на календарь, поднимется из-за стола, наденет свою генеральскую фуражку с золотым рубчиком на козырьке и: «Баталь-он, сми-рно!»

Но нет, рано принимать генерала — счет до тридцати еще не исчерпан, а последние дни особенно горячи. Самое тревожное, что батальон не укомплектован. Лейтенанты, старшие лейтенанты, младшие лейтенанты — эти на местах, возглавляют роты и взводы. Но нет в цепи звена, без которого цепь не цепь. В отделе кадров дивизии заявили: «Ни сержантов, ни ефрейторов не получите — для ополченческих формирований не предусмотрены...»

Странно было услышать такое. А готовить самим сержантов — еще нелепее. На действительной службе специальные полковые школы. Но и там требуются месяцы, чтобы из рядового красноармейца подготовить младшего командира.

Еще совет из отдела кадров: «Есть же в батальоне среди ополченцев старые солдаты, вот и ставьте их отделенными командирами, помощниками командиров взводов, старшинами рот».

Совет запоздал. Уже поставили нескольких. Среди отставников обнаружили товарищи деятельные, инициативные, к примеру, те, что успешно проводят занятия стрелковым делом. Но не каждый из бывших солдат согласился принять должность. Отвечали: «Командовать? Нет, не берусь, стар уж. Помочь людям, чем могу, это пожалуйста, а треугольнички в петлицы сажайте молодым». Но даже из тех, кто брался начальствовать, не всякий выдержал проверку у врача: при одышке или радикулите на боевое задание сапера не пошлешь.

Отправился я к нашим студентам-горнякам. Дружные ребята, пришли в батальон коллективом. Вот и староста их институтской учебной группы. «Следовательно,— сообщаю,— юноша авторитетный». Но едва я заикнулся о том, что намерен украсить его петлицы треугольничками, как в группе поднялся шум:

— Нет!.. Не годится!.. Не хотим!

Я сел среди студентов. Просматриваю газету. Постепенно успокоились, и сам староста заявил:

— Это не самоотвод, товарищ капитан. Но мы не на сопромат идем, на войну. Просим назначить нам в командиры знающего военного, лучше всего сержанта.

Пошел я дальше по батальону — те же возражения против неподготовленных самостоятельных начальников. Комиссар двигался по батальону с другого конца. Встретились.

— Ну, чем порадуешь, Владимир Васильевич? Подобрал командиров? Покажи список.

Но комиссар и в карман не полез.

— Не получился список, капитан. А у тебя как?

Я только в затылке почесал. Сержанта им подавай — как сговорились,— всем сержанта!

— А где его взять? — говорю.

Вспомнился тут мне Гулевский. Бригадир, держал первое место на погрузках в порту, не молод и не стар: тридцать пять лет. Чем не командир отделения... Кстати, где он? Узнаю — при кухне. Чирок забрал силача на черную работу: колоть дрова, выносить помои... Я велел прислать Гулевского ко мне. Вот он — тихий, деликатный. Но едва человек понял, чего от него хочу, изменился незна-

ваемо: передо мной уже не портовый грузчик, а сам Нептун, в гнев поднявший морскую бурю.

— Не пойду в начальники нипочем! — раскричался он. — У меня четырехклассное, и не носки у вас, а инженеры да профессора! — Волосы у него растрепались, как пшеничное поле от шквального ветра. — Осрамить меня задумали, а я не дамся... Не дамся — и весь сказ!..

Комиссар позвал Гулевского к себе:

— Ты, Георгий Борисович, кандидат в члены партии. Посидим, чайку попьем с сухариками да с вареньем. Ну и потолкуем о том о сем по-партийному...

Наутро я подписал приказ о назначении Г. Б. Гулевского командиром отделения в первую роту. И случилось так, что адъютант, подготавливая приказ, определил грузчика именно к инженерам и ученым.

Комиссар, не откладывая дела, провел по ротам партийно-комсомольские собрания.

— Расшевелил коммунистов! — сказал он с победным видом, и я тут же попытался вспомнить, где же еще я видел его таким разгоряченным?.. «Ах да, когда он из бани вернулся».

— Даже в горле пересохло, — весело посетовал комиссар. — Придется, хоть и не ко времени, а чайку согреть... Составишь компанию?

И он продолжал, уже за чаепитием:

— Как, говорю, не совестно, товарищи. Батальону, чтобы стать воинской частью, требуются младшие командиры — а вы друг за друга прячетесь!.. Слов нет, и за порученное в бою саперное задание, и за жизнь своих подчиненных младший командир первый в ответе. Но что-то не слыхал я за свою долгую партийную жизнь, чтобы коммунист и комсомолец боялись ответственности.

Владимир Васильевич отхлебнул из кружки, как всегда переглянувшись с Котом в сапогах. А в заключение чаепития положил передо мной листок с колонкой фамилий и прихлопнул ладонью:

— На, получай кадры, которых не хватало. Здесь и члены партии, и комсомольцы, и беспартийные... Народ хороший. Вышлишь — и будем с младшими командирами. Так что берись за дело.

— Начнем с пуговицы, — сказал я, когда будущие отделенные и помощники командиров взводов (помкомвзводы) собрались в одном из классов на инструктаж. — Внешний



вид, товарищи, определяет сущность человека, а военного — в особенности. Человек, поглядишь, как будто и одет по форме, а пуговицы на гимнастерке не все, над кармашком торчит хвостик нитки... Спрошу я за этого неряшливого красноармейца раньше всего с командира отделения. Мало того, у меня, комбата, возникнет подозрение, что в этом подразделении дела вообще шаляй-валяй, мирятся с отсутствием дисциплины... Чаше всего это при проверке и подтверждается.

Так я начал разговор.

— Но требовать дисциплины,— сразу же предостерегая,— это не значит кричать на подчиненных, топтать ногами. Подразделение будет сплоченным и дисциплинированным только у командира, который заботится о подчиненных, чуток к их нуждам. А в военной обстановке плохих командиров быть не должно — здесь за ошибки платят кровью...

Так я говорил, и мне было приятно услышать от того или иного бойца: «Все ясно. Ваш военный опыт, товарищ капитан, нам пригодится. Но не трудитесь ополченцу все разжевывать. Мы ведь не зеленая молодежь. Прожито каждым из нас немало. Немало и сделано за мирные годы — есть чем дорожить. И поверьте, зная батальона вы с комиссаром вручаете в надежные руки!»

Впоследствии, на фронте, личность ополченца раскрывалась все ярче. Бои выявляли героев. Одно за другим рождались в батальоне изобретения и тут же превращались в новые и новые средства инженерной обороны Ленинграда... Но об этом дальше...

Между тем дело у командира отделения Гулевского не заладилось. Обязанности он усвоил — целый вечер я посвятил ему одному, да и человек он смекалистый. Сказать «не нашли общего языка» — не совсем точно, хотя именно на языке человек в отделении и споткнулся.

Вот что мне доложили. Ополченцы — инженеры и ученые — позавтракали, отправились на занятия, а научного работника Лютикова не добудиться.

Гулевский возле него и так и этак:

— Нецелесообразно, товарищ ученый, опаздывать. Вставайте. Она уже строится.

Тот через зевоту:

— Кто это она?

— Я уже сказал: наше отделение.

Лютиков вдруг нервно расхохотался:

— А она (ткнул себя в грудь) не желает и знаться с вами, темный вы человек. Научитесь хоть говорить по-русски, а потом уже лезьте командовать.

Так и не подчинился, мало того — стал и ученых коллег подбивать на бойкот грузчика.

Надо было принимать меры. Вызвал я Гулевского, дал ему взбучку за телячьи нежности с подчиненными и распорядился:

— Лютикова в комендатуру. Для прояснения мозгов.

А Гулевский — вот чего не ожидал — в заступники. Залепетал взволнованно:

— Не надо, товарищ командир, Лютикова... Сымайте меня с должности, мне поделом, а у этого человека, чую... Ну, не со зла он!

— Чуете? Это еще что — особый у вас нюх?

А он:

— Хоть до завтра подождите! Дозвольте поговорить с Лютиковым...

Я разрешил.

На другой день он опять ко мне:

— Беда у научного кандидата — так я и чуял. Жена с ребенком на даче. Под немцев-фашистов попали. Это я ночью вынул. Плачет кандидат в подушку, размяк... Все мне и рассказал. Я же говорил: не со зла он.

Гулевский глядит на меня, ждет решения. Конечно, теперь уже не о комендатуре речь. Случай печальный, но что тут сделаешь?

— А может, — говорит Гулевский, — женка его и выскочит от фашистов? Смекаю я, товарищ командир, навить, есть же такая инстанция, чтоб люди находили друг друга? Война ведь многое множество семей разбросала... Вот и сделать бы туда запрос. Это мое конкретное предложение.

Я одобрил такой ход, и Гулевский шумно и с облегчением вздохнул.

На запрос пришел в батальон ответ, что упомянутая гражданка уже на Урале, что и ребенок при ней. Но молодой ученый не поверил извещению. С ним стало плохо, и Козик принялась выхаживать человека от нервного потрясения. Бывает, что человек слабovolный от первого же удара судьбы становится нетерпимым в общежитии. Таков Лютиков. Зато впоследствии он стал примерным красноармейцем.

Надо ли говорить, что имя Гулевского стало известно всему батальону и называлось с самыми добрыми эпитета-

ми. Запомнился рассказанный здесь случай и мне, побудив задуматься о том, сколь не просто понятие, обозначаемое словом «дисциплина».

Наступил день, когда батальон в громоздком своем саперном снаряжении построился для похода. Роты заняли главную аллею Михайловского сада. Сноровисто образовались шеренги — будто две строго параллельные линии прочертили сад, нарушив свободный английский стиль его планировки. Вид у батальона — хотя и не тысяча теперь, а шестьсот человек — внушительный.

Разрешиw саперам стоять вольно, я прохаживался перед строем, поджидая командира дивизии.

— И все-то он улыбается,— заметил лукаво комиссар, преграждая мне дорогу.— Чему бы это?

— Чему я улыбаюсь? Да тому же, что и ты.

— Да, брат,— сказал Осипов, сияя улыбкой,— никогда бы не поверил, что из сугубо мирных людей, да еще «за срок без срока» удастся сформировать и подготовить воинскую часть. Вот что значит «Социалистическое отечество в опасности!».

Выставленный маяком у главной калитки ополченец помахал флажком. Это значило, что командир дивизии приехал.

Рапорт я рванул на фортиссимо, чем вполне успешно оглушил генерала, заставив его через улыбку поморщиться.

Генерал повернулся к строю:

— Здравствуйте, товарищи саперы, доблестные ленинградцы!

Ответили дружно и враз, без хвостов.

«Для начала неплохо»,— подумал я, подавляя волнение: ведь начался экзамен на зрелость батальона.

Генерал неспешно, с видимым интересом вглядывался в лица ополченцев. У одного тут же возьмет винтовку, откроет и вынет затвор, и наведет ее, как телескоп, на небо, проверяет, зеркален ли канал ствола. Другого потрясет за плечо, проверяя, не брякнет ли, выдавая нерадивость бойца, котелок или фляга. Третьему прикажет снять с саперного инструмента чехол... И что бы ни брал генерал в руки: топор, лопату, пилу — все оглядывал с пониманием.

— А ну-ка, молодец,— и генерал вывел из строя одного из ополченцев,— разуйся...

Гляжу — Лютиков. Я в тревоге... Человек он неуравновешенный — как бы, думаю, чего не выкинул.

Лютиков конфузливо вспыхнул. Нерешительно поглядел на свои ноги в непривычных армейских сапогах.

— Разувайся, разувайся, ведь не при дамах! — пошутил генерал. — Вот присядь на уголок скамейки...

Насторожился я, насторожился и комиссар. Встали плечом к плечу на манер футболистов, в ворота которых бьют штрафной. Дело в том, что для некоторых из ополченцев труднее всех наук оказалось обувание с применением портянки. Портянка! Сейчас она держит экзамен. За батальон.

Посаженный на скамью Лютиков принялся стаскивать сапог. От усилий выпучил глаза и закусил губу. Побагровел уже... Ну же, ну!.. Наконец сапог со звуком откупоренной бутылки соскочил с ноги — и в сторону. Портянка, полуразмотавшись, повисла на ноге.

— Прибери-ка, — подсказал генерал, — а то в песке замараешь.

Лютиков обхватил портянку обеими руками, словно опасаясь, что она ускорит след за сапогом.

— Нogu покажи. Кажется, чистая... — И комдив повернулся ко мне: — В бане перед походом были?

— Вчера вечером всем батальоном, товарищ генерал.

— И белье на всех свежее, — добавил Осипов.

Но генерал на это:

— А как же иначе? Иначе и не бывает. — И опять к ополченцу: — А теперь, голубчик, обувайся. Ну-ка, наворачивай портянку, наворачивай... Так-так, вот тут морщинка, расправь... Ну, молодец, тысячу километров, ручаюсь, протопашь. Откуда ты? Кем был на гражданке?

Лютиков замялся. Опустил глаза — и с виноватым видом:

— Я, собственно... кандидат наук. Химик.

Генерал крикнул от неожиданности. Покосился на постриженную под нулевку голову ученого — солдат как солдат...

— Обувайтесь. — И отошел в сторону. Снял фуражку и некоторое время, отдуваясь, обмахивался носовым платком. Вероятно, подумал: «Ополченцы... Вот и пойми, как с этим народом обращаться...»

Постояв, генерал подозвал меня и комиссара. Сказал, что батальон произвел на него хорошее впечатление, и поблагодарил за службу. Я ликова! экзамен выдержан!

— К походу! — распорядился генерал.

Я и ротные отдали команды, и батальон всей своей огромной человеческой массой враз качнулся вперед — сделал первый шаг, и... доморощенный наш оркестр пустил медного петуха — одного, другого...

Люди сбились с ноги... Скандал! Не будь на мне военной фуражки, кажется, в отчаянии схватился бы за голову...

А злосчастный оркестр, шествуя во главе колонны, знай рывкает, пускает трели, бьет в барабан... «Марш авиаторов», — разъяснил мне шагавший рядом комиссар.

Но что это?... Вдруг грянула стройная музыка. Ополченцы вмиг будто ростом стали выше, лица расцвели улыбками, а от дружного шага земля загудела... Что же произошло? Оказалось, с генералом прибыл оркестр военных музыкантов. Он и оттеснил наших портачей, встав во главе колонны.

Оркестр в батальоне штатом не предусмотрен. Но комиссар пошел навстречу пожеланиям ополченцев иметь свою музыку. Один из музыкальных магазинов прислал в дар батальону комплект инструментов. Сели ополченцы за трубы, старались дудеть по правилам, но многого ли достигнешь в музыке за тридцать дней?

Как видно, обо всем этом проведал генерал и сам устроил саперам проводы, да еще в виде сюрприза. Душевность комдива произвела впечатление. Строгого служаку сразу полюбили, а искра любви, зароненная начальником в сердце солдата, способна вспыхнуть на войне и подвигом, и самопожертвованием...

Батальон под музыку покинул Ленинград...

# Часть Шестая

Промаршировали два десятка километров. Жарко. Шагаю бок о бок с комиссаром во главе колонны и улавливаю на слух, что шаг саперов становится вялым, разбродным.

— Не пора ли привал? — говорит комиссар, да и сам я подумал о том же.

Командую:

— Взять ногу!.. Ать, два... ать, два... Чище ножку, чище... Поднять буйны головы! Носы морковкой!

Растормошил бойцов: смеются, торопливо застегивают вороты, надевают пилотки, подправляют на себе саперное снаряжение — словом, подтягиваются. Теперь можно и отдыхать.

— При-и-вал! — объявил я.

Мы уже на Пулковской горе, точнее, на относительно плавном восточном ее отроге, по которому змейкой пролегает шоссе. Спешу разгрузить бойцов от лишнего — отдых так отдых. Здесь трава не кошена, в августе особенно вошла в рост, и батальон отдыхает замаскированным.

Однако не все поспешили прикорнуть. Немало бойцов остановилось в задумчивости на бровке шоссе. Над нашими головами, на вершине Пулковской горы, — купол башни, но уже, кажется, без телескопа: говорили, что знаменитый прибор вывезен. А внизу, перед Пулковской грядой, широко расстилается невская равнина. На горизонте дымно от заводских труб, взблеснул в лучах солнца шлем Исаакия... Больше на нашей дороге уже не будет случая увидеть Ленинград.

Лица ополченцев мрачнеют.

Надо взбодрить людей, и я говорю:

— А ведь наш город в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом годах отстояли, в сущности, ополченцы.

Вижу, ко мне поворачиваются.

— Да, — продолжаю я, — наши с вами предшественники, рабочие Питера, не пустили в город дикую дивизию генерала Краснова, дважды разгромили Юденича, выну-

дили еще от Пскова убраться прочь германскую армию Вильгельма...

Тут очень кстати подошел комиссар.

— А вот,— говорю,— и сам ополченец того времени — бывший питерский красногвардеец товарищ Осипов.

Меня отозвала в сторону Козик. Вижу, врач озабочена. Кивнула на лужайку, и я увидел девушек с санитарными сумками — они наклонялись над разутыми ополченцами.

— Потертости? — спрашиваю.

А врач холодно:

— Плохо учили пользоваться портянками. Человек двадцать — тридцать я снимаю с похода. ЧП — обязана донести начсандиву.

— И правильно поступите,— скрепя сердце согласился я. Досадный случай — и не первый подобного рода в моей жизни... Числясь в запасе, бывал я на сборах в военном городке Череха, близ Пскова. Там дислоцировалась 56-я стрелковая дивизия. Однажды на зимних маневрах, командуя саперами, я невзначай обморозил руку. Пришлось, передав командование помощнику, забежать в деревенскую избу. Ужасно больно, когда в обмороженной руке, опущенной в воду со снегом, медленно восстанавливается кровообращение. Кисть становится похожей на красно-белый бутерброд. Хотелось, чтобы мне посочувствовали, пожалели меня, а вместо этого — бац, выговор в приказе по дивизии: какой же ты, мол, командир, если даже мороз выводит тебя из строя. Хорош пример бойцам!

Приказ подписал начальник штаба дивизии Федор Иванович Толбухин — милейший человек, впоследствии маршал и один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.

Ясно, что и за попорченные ополченцами ноги отвечать мне. До боя еще далеко — а уже убыль в батальоне.

— Товарищ доктор,— распорядился я,— берите на санитарные повозки кого забраковали.

Козик запротестовала: мол, у нее только небольшой фургон для раненых, который продезинфицирован и опечатан.

— А повозки,— добавила она язвительно,— спросите у Чирка. Вам, надеюсь, не откажет.

Пришлось дожидаться обоза.

— В ажуре идем! — храбро отрапортовал Чирок. — Можете удостовериться. — И он постучал ногтем по стеклышку часов на браслетке. — Обоз веду точно по расчету времени, который вы утвердили.

— Благодарю за службу! Но у меня к вам просьба. Есть больные, надо разместить их в обозе.

— А это не моя забота! — отрезал помпохоз. — У Козик свой транспорт.

— Забота не ваша, — сказал я миролюбиво, — но будет вашей.

Чирок захныкал:

— Ну ей-богу, товарищ капитан, хоть динамитом разорвите меня — некуда сажать. . . Обоз переполнен.

Стою, раздумывая, как быть. Мимо катятся повозки — и одноконные, и пароконные. На облучках порой люди, никогда не державшие вожжей. Такого узнаешь сразу — лошадь в мыле, и сам в семи потах. . . А вот и профессор философии, старый чудак с эспаньолкой а-ля. . . какой-то Карл или Генрих. Как ни доказывал я почтенному ученому, что служба в ополчении не по годам ему, — ничего не подействовало. Наконец подвернулся, показалось мне, убийственный довод: «Не в повозочные же вас сажать!». А профессор так и расцвел:

— Дорогой мой, это же прекрасно! Я всегда бывал только седоком — прежде на извозчике, потом в автомобиле. Но надо же быть честным: любишь кататься — люби и саночки возить! Хочу и даже обязан в эти грозные дни быть полезным армии. Назначайте повозочным!

Сейчас едет на одноконной телеге с мешками овса.

— Арсений Георгиевич, — кивнул я профессору, — здравствуйте. Как себя чувствуете?

Философ отозвался на мои слова быстрым взглядом. Был он целиком во власти лошади, но затряс вожжами — для престижа:

— Н-но-о, милая, но-о, пошевеливайся! . . — И, причмокивая, проследовал дальше.

А вот и один из немногих в батальоне автомобилей — не тот, который Чирок сам где-то раздобыл и превратил в личную машину, а полученный нами по мобилизации гражданского транспорта. Но что это на грузовике? Похоже на матерого быка, уложенного вверх ногами. Животное под брезентом. Я в недоумении.

— Чирок, вы что же — на бойню заезжали?

Помпохоз пролепетал что-то невнятное.

— Скиньте брезент! — приказал я, и обнажились ноги с толстенными ляжками. Только не быка, а бильярдного стола. . .

Стол выставили на бровку шоссе, а в освободившемся грузовике Козик разместила захромавших.



Подошел комиссар. Провел ладонью по зеленому сукну.

— Неужели мы так и бросим бильярд? Ведь ценность. К тому же подарок ополченцам.

— Ах вот оно что... — Я рассмеялся. — Далеко же простирается твоя домовитость, Владимир Васильевич: с бильярдом — на фронт!

Бильярдный стол вместе с шарами и киями снесли в обсерваторию.

Вступаем в Гатчину. Город горит, и на улицах ни души. Не блеснет даже каска пожарного. Клубы дыма, толкаемые взрывами бомб, порой откатываются к парку, и тогда кажется, что в ужасе от происходящего деревья парка седеют.

Иду вдоль каменных домов в два-три этажа. Стены своей толщиной напоминают крепостные (градостроительство Павла I), и авиабомбы лишь кое-где расковыряли их.

Но что же внутри? Выбираю дом, в который еще можно заглянуть. Окна над самым тротуаром, стекла осыпались. Приподнимаю дымящуюся занавеску — и передо мной стол, на котором собран завтрак или ужин. Кричу внутрь: «Эгей, есть кто живой?» Ни звука. Я готов ступить внутрь — может, людям помощь нужна? — но меня опережает вестовой, прыгает в окно. Едва успевает возвратиться, как внутри квартиры что-то грузно обваливается, и сноп искр выстреливает из окна.

Другой дом, другое вросшее в землю окно. Среди посуды фырчит и брякает крышкой кофейник, вновь закипая от горящего стола... Третий дом, столь же стремительно покинутый жителями, четвертый, пятый... Особенно тягостно видеть в комнатах детские игрушки без детей. Вот бархатный мишка; загоревшись, он словно ожил — пытается встать на дыбы... Вот медная кастрюля, брошенная у порога, а в ней кукла; тут словно наяву я слышу плач обиженного и перепуганного ребенка... Но где же семья? В толпе беженцев или погибла, расстрелянная фашистским самолетом?..

А вот и здание, где комдив наметил разместить свой полевой штаб. Просил нарядить саперов поплотничать, приспособить помещения для штабной работы... Но вход завален, и над каменной коробкой светится небо.

Стою потрясенный: «Неужели... с генералом несчастье?» Но выясняется — жив старик! Приказывает... Правильное решение: построить для командного пункта дивизии надежный блиндаж!

В глубине Гатчинского парка мы присмотрели поляну. Вокруг вздымаются вековые деревья. Комдив выбранное место одобрил. Для маскировки работ натянули сети, в которых, как рыбки, зеленые лоскутки.

Взялись саперы дружно. Травянистый покров рассекли лопатами, дернины для сохранности отнесли в сторону. Вскрыли материковый слой — и остановились, зачарованные... Невиданного цвета глина: яркий пурпур. В прекрасных гатчинских парках и недра способны вызвать восхищение...

Но копнули глубже саперы — и очарование улетучилось: глина, напоминая густое желе, намертво присасывалась к полотну лопаты. Размахнется сапер, чтобы выбросить ком наружу, а вместе с комом вырывается из рук лопата и улетает, как праща. Вылезай из котлована, беги, шарь по кустам. А нашел лопату — соскребай с нее глину щепкой, а то и ножом.

Ворча, расхаживал по краю котлована наш Попов. Ему не понравилось, что проект подземного города изготовлен в штабе дивизии, а не в конструкторском бюро батальона.

— Почему начали работать где попало? Следовало в разных частях парка заложить шурфы — вот и установили бы, где подходящий грунт!

Но сапер, как поется в старинной песне, «дело знает, что касается сапер», приспособились и ополченцы к работе. Копают, перебрасываются шутками, а в гуще деревьев — уже хриповатое: «Шарп... шарп... шарп... шарп...» Ласкающие слух звуки! Вступила в действие пилорама — собственная, батальонная! С пожарища навезли годных еще бревен, и вот началась их разделка на плахи, брусья, доски. Все это требуется для подземной постройки.

«У ополченцев пилорама? — уместен вопрос. — Но откуда?»

Собрана в Ленинграде из обломков, подобранных на свалке. Изделие ополченцев. Батальоны и полки народного ополчения формировались из людей невоенных, к тому же и не очень молодых — в этом их слабость. Но есть и обратная, сильная сторона: человек в годах обладает жизненным опытом, силен в своей профессии: в батальоне не только мастеровитые плотники, кузнецы, механики, сапожники, портные, но в большом количестве — инженеры и ученые. Вырванные из мирной жизни, все они, учась военному делу, старательно, я бы даже сказал, с любовью обстраивали свой новый дом — батальон.

Помимо рамы, собранной в техническом взводе, баталь-

он обзавелся двумя АЭС (электростанциями на колесах) — силовой и осветительной. В основе их два грузовика, а электрическая часть тоже смонтирована из чего попало. Редкую изобретательность в постройке АЭС проявили инженер-кабельщик из Ленэнерго Владимир Михайлович Дмитриев и главный энергетик хлебопекарной промышленности города Семен Наумович Шнеер. Силовая АЭС в двадцать киловатт давала движение пилораме; мало того, позволяла целому взводу саперов, отложив старинный и утомительный свой инструмент и взяв электрический, с легкостью пилить, строгать, долбить древесину, да и камень разворачивать.

Осветительная АЭС была оснащена гибкими проводами разной длины с гроздьями электрических лампочек, как делают на елку. Чтобы дать свет в блиндаж или землянку — достаточно было мгновения.

Между тем подземная стройка завершалась. Обширный блиндаж был разгорожен перегородками, застлан полами; двери, запоры, специальное вентиляционное устройство сделали КП неуязвимым на случай газовой атаки. Поверх вырос холм из бревен попеременно с железными балками, опять-таки с пожарища. Замаскировали постройку дерном. АЭС осветила подземелье.

Генерал похвалил саперов:

— Полагаю, мой КП краше Гатчинского дворца!

Распушив и без того пышные усы, крикнул и стал спускаться к себе.

Однажды к нам в Гатчину приехали на машине незнакомые саперы. Из кабины автомобиля вышел младший лейтенант и, увидев меня, капитана, доложил:

— Отряд оперативных заграждений. Прибыл для показательного урока. Младший лейтенант Соломахин.

Познакомились. В скромном военном звании оказался опытный инженер-строитель. И саперы у него кадровые, отличной выучки.

Мой батальон еще только, так сказать, расправляет плечи, чтобы сразиться с немецкими фашистами, а Соломахин со своими саперами уже неоднократно был обстрелян. Сперва на далеких подступах к Ленинграду, где ночными бросками успевал минировать пути перед наступившим врагом, а затем в сражениях наших войск на рубеже реки Луги.

Сейчас Соломахин здесь же, в Гатчинском парке, про-

демонстрировал нашим саперам разработанную им систему быстрой, как говорится, с ходу, установки минного поля. Движения минеров доведены до автоматизма, но глядишь — и весь напряжен от этого зрелища. Понимаешь, ведь один случайный сбой, одно неверное движение — и... Однако каковы молодцы! О мерах предосторожности, как видно, им и напоминать не надо, — эти меры как бы заложены в мышцах и нервах самих работающих рук.

Урок произвел большое впечатление на наших ополченцев и, конечно, послужил им на пользу. А я поблагодарил Соломахина за неожиданную помощь — ведь минное-то поле не учебное, а боевое, и предстояло ставить его нам, ополченцам.

Встречался я с Соломахиным и впоследствии. Человек необыкновенной отваги, находчивый, изобретательный, он по заслугам возглавил фронтовой батальон саперов.

Наиболее ярким был его подвиг летом 1943 года. Блокада прорвана, открыт доступ поездам с продовольствием для ленинградцев. Но проложенная наспех по южному берегу Ладожского озера железнодорожная колея оказалась в зоне вражеского артиллерийского огня, поездам приходилось двигаться только в тумане или ночью — и все равно от фашистских обстрелов разлетались рельсы и шпалы, горели вагоны, погибали отважные железнодорожники.

Мало того, немецкие фашисты, напуганные тем, что большевики сумели у выхода их к Ладоге проломить осадные сооружения, — лихорадочно принялись здесь за более мощное фортификационное строительство: возводили железобетонные доты и капониры, стягивали сюда артиллерию крупных калибров. Наши войска неоднократно пытались сорвать эти фашистские работы, штурмовали их новые позиции, но в жарких боях лишь несли потери.

Высота 45,0 на Синявинских торфяных болотах стоила нам особенно многих жертв. Именно с нее фашистские наблюдатели подавали сигналы артиллеристам, расстреливавшим поезда. Высота 45,0 имела для врага и стратегическое значение: с нее открывался обзор и Ладожского озера, где с продовольствием шли корабли, и истоков Невы с Шлиссельбургской крепостью, и даже некоторых тылов наших войск. Короче сказать, это вражеское гнездо на восточном фланге нашего расположения требовалось раздавить. Пытались делать и это. Высоту 45,0 штурмовали — всякий раз с артиллерийской подготовкой, забрасывали бомбами с самолетов, громили всячески, но безрезультатно. «Чертова высота» — прозвали ее с досады.

«Мы, саперы, возьмем Чертову высоту», — вызвался майор Соломахин. И взяли. Случай в саперной практике необыкновенный. В чем заключалась эта операция, рассказал мне Иван Иванович впоследствии — как сапер саперу.

О намерении саперов завладеть высотой 45,0 собственными силами было доложено командующему войсками Ленинградского фронта генералу Говорову. Вначале Леонид Александрович посчитал затею саперов невыполнимой и оставил без внимания. Однако начальник Инженерного управления Ленинградского фронта Б. В. Бычевский прислушался к соображениям саперного офицера, уже завоевавшего себе отличную боевую репутацию, поддержал его инициативу, и Л. А. Говоров наконец согласился выслушать Соломахина. Был строгий разговор, вылившийся во всесторонний экзамен Ивану Ивановичу — как человеку и как военному. Наконец немногословный Говоров сказал: — Хорошо, посмотрю ваш батальон на тренировке.

Соломахин принялся действовать. Попросил, чтобы летчики произвели свежую аэрофотосъемку высоты 45,0 и прилегавшей к ней местности. Засел изучать снимок. Разветвленная сеть траншей на горе и ее склонах, доты, убежища с мощными, непробиваемыми перекрытиями... Но о многом в системе фашистских укреплений, к сожалению, приходилось лишь догадываться — все было замаскировано.

На основе фотоснимка Соломахин изготовил рабочий чертеж — дал скопировать командирам рот, чтобы каждый изучил его, вжился в него.

Далеко в стороне от высоты 45,0 и даже на другом, правом берегу Невы саперы Соломахина присмотрели высоту для тренировок — похожую на Чертову. Была она столь же крута и обрывиста и тоже с многоэтажный дом. Для операции Иван Иванович выделил лучшие силы своего батальона — триста саперов. И, памятуя наставление Суворова, что «каждый солдат должен знать свой маневр», поставил перед обучающимися задачу: уже на исходном рубеже операции все занимают точно определенные места, как бы в строй становятся — только лежат. Двигаться ползком, строго придерживаясь отрепетированного на учебной высоте направления. Головы не поднимать и, что бы ни случилось, не сбиваться со взятого пути до самой высоты и на высоте тоже. Закурить разрешается только на высоте перед атакой.

Действовать Соломахин решил двумя волнами. Сам он

и заместитель его по политчасти — на гребне первой волны. Вторая волна — метрах в сорока позади: там его заместитель по строевой и начальник штаба. У каждой роты в резерве отделение бойцов, у отделения — трое.

Связь в ходе боя — по радио и посыльными.

Вооружение — автоматы, гранаты и саперные лопатки из снаряжения пехоты (короткий черенок, позволяющий пехотинцу в бою, не поднимая головы, самоокапываться). Каждый сапер, получив лопатку, должен был ее заточить до остроты ножа, чтобы бить ею фашиста наотмашь (кажется, так в старину рубили секирами). Были еще в батальоне ручные пулеметы — и все же огня маловато. Учтя это, пехотные начальники придали саперному батальону подразделение пулеметчиков с двумя станковыми пулеметами. Идти на высоту следовало, конечно, в стальных шлемах, и такие были у саперов. Но на тренировках перед учебной высотой Соломахин обнаружил, что шлемы даже ночью приметны на бойцах. Этакая демаскировка могла дорого обойтись. Попытались шлемы подкрасить, однако краски не выручали — и тогда саперы, кто как умел, насажали на шлемы пучки травы. Поглядят друг на друга — и хохочут:

— Папуасы мы теперь, папуасы! ..

Соломахин присоединился к веселью — и маскировку одобрил. А к этому добавил: поползем по торфяной грязи да в жиже — не опасайтесь испачкаться, это тоже маскировка.

Леонид Александрович Говоров, приехав на тренировку батальона, провел с саперами несколько часов. Вот как пишет об этом Соломахин:

«Командующий обошел и тщательно осмотрел учебную сопку и все подступы к ней. Еще раз внимательно изучил схему и карту местности района Синявинских высот. С наступлением темноты он наблюдал за штурмом учебной высоты. Когда роты батальона с криками «ура» заняли траншеи на сопке и расположились в них, командующий, поручив Бычевскому сделать разбор учения, уехал. Через день он дал разрешение батальону штурмовать Чертову высоту, предварительно доложив о готовности».

«Нет необходимости говорить о том, — добавляет Соломахин, — с каким подъемом и радостью в батальоне было встречено разрешение командующего. Из всех подразделений в партийную организацию поступали заявления с просьбой принять в партию».

---

Пока батальон тренировался на учебной горке, на подступах к грозной высоте 45,0 ночами работала инженерная разведка батальона. Возглавил ее старший сержант Сергей Ульянов.

Он докладывал:

— Фрицы, бывает, выглядывают из траншей, но нас не замечают. Ракеты светят, как городские фонари. Но, бывает, одна не успевает сменить другую, тогда за секунды темноты успеваем передвинуться. Так что действовать батальону можно. Если аккуратно.

Умелый разведчик выискал фашистские мины, оконтурил заминированные участки. Обследовал воронки, взрытые артиллерийскими снарядами, и выбрал наименее закисшие и достаточно просторные, чтобы в одной враг мог развернуть перевязочный пункт, а в другой устроилась бы оперативная группа штаба батальона. Словом, сержант Ульянов оказался человеком распорядительным.

Между тем командующий фронтом потребовал представить ему план боя. А Соломахин никогда таких планов и не составлял — не входят они в круг саперных знаний, это уже из науки, которой владеют работники штабов... Помогли саперному офицеру.

Замысел Соломахина состоял в том, чтобы в полной тишине, незаметно для врага вползти на гору — а там сразить его внезапной атакой. Поэтому из плана боя он попросил исключить артиллерийскую поддержку. На пластунское движение до горы Соломахин положил час. Его поправили: «Мало».

— Но ведь проползти-то всего четыреста метров! — возразил майор.

— Да, — сказали ему, — но ведь вы не один поползете. В невидимки должны превратиться триста человек — люди разного характера, разной сноровки, которые как по команде (а команд-то ведь не будет!) должны замирать, едва вспыхнет над их головами очередная фашистская ракета-фонарь. И наоборот, дождавшись мгновения темноты, успеть на шаг-другой продвинуться вперед.

— Сколько же нам ползти? — помрачнел майор.

— Ставьте в план боя по крайней мере три часа!

— Вот Чертова гора... Будь она проклята! — вырвалось у всегда сдержанного Соломахина.

В полночь бойцы покинули свои траншеи и растворились в темноте... В ночном небе трещали моторами наши знаменитые бипланы — «небесные тихоходы». Они действовали над грядой Синявинских высот в соответствии с пла-

ном боя, сбрасывая на позиции противника мелкие бомбы и отвлекая внимание сторожевых постов от нейтральной полосы. По высотам стреляли и полковые минометы.

Наконец стрелки часов приблизились к трем часам...

Соломахин потом рассказывал:

— Поглядывая на часы, я с беспокойством прошептал: «Где же люди? Они должны уже быть здесь, под горой».

«Сейчас разведую», — шепотом отозвался замполит капитан Тарасов.

Не успел я и слова сказать, как он выскочил из воронки... и был обнаружен. По склону горы посыпались ручные гранаты, над головами промчался рой трассирующих пуль. Я вынужден был не медля подать сигнал к атаке — серию зеленых ракет.

«За Родину! За Ленинград! Вперед, братцы! Бей гадов!»

Железобетонные сооружения врага. Трудно описать панику, охватившую фашистов. Искраженные ужасом лица... Вопли... Многие оказались в нижнем белье.

«Вот паскуды! — негодовали саперы. — Фатерланд здесь устроили!.. Будто со своей Мартой под боком... А ну, катись!» — и пошла рубка лопатками...

Уцелевшие кидались спастись в лабиринте траншей, но саперы настигали их автоматными очередями.

Фашистским офицерам удалось собрать из разбежавшихся мелкие группы — и те дрались отчаянно...

Майор Соломахин был контужен, но удержался на ногах и, пересиливая боль и слабость, продолжал руководить атакой. Навсегда запомнилось ему то, что творилось перед глазами:

— ...На старшего сержанта Виктора Феофанова напали два здоровенных гитлеровца и пытались его задушить. Виктор успел одного сбить с ног ударом в живот, второго прикончил подоспевший ефрейтор Александр Мартьянов. Солдат первой роты Топорков был сбит с ног. Навалившийся на него фашист ударил Топоркова ножом — к счастью, нож скользнул по лопатке. Пробегавший мимо парторг роты — старший сержант Соловьев — прикончил фрица, а Топоркова отправил на перевязку. Принятый перед боем в партию сапер Петр Форощенко заметил, как залегший за камнем фашист целится в идущего по траншее офицера. Он резко столкнул командира в приямок и швырнул в гитлеровца гранату...

Чертовой высотой саперы Соломахины овладели за две-



надцать минут. Лабиринт траншей на глубину четыреста метров и по фронту триста пятьдесят был полностью очищен от фашистов. Батальон потерял шестнадцать человек убитыми и двадцать шесть ранеными. В это же время уложили более двухсот вражеских солдат и офицеров, сто двадцать гитлеровцев было взято в плен.

Соломахин продолжал:

— Обойдя занятые позиции и убедившись, что батальон готов к отражению атак, я доложил по радио командиру дивизии, что задача саперами выполнена.

По плану боя на высоте 45,0 следовало закрепиться нашей пехоте. Однако, пока Соломахин дожидался смены, на высоту и на все подступы к ней враг обрушил мощнейший шквал артиллерийского и минометного огня. За ним последовала контратака фашистов. Она была успешно отбита, но... батальон оказался отрезанным от своих...

— Еще в начале боя осколками в голову был убит врач батальона — капитан медслужбы Анатолий Шишов. Вскоре погибла замещавшая его старший лейтенант Нина Лосева. Главным медиком батальона стала санинструктор Валя Григорьева. В помощь ей дали писаря третьей роты Нину Ласкину, потом писаря первой роты Веру Долбилкину. Эти отважные восемнадцатилетние девушки оказали первую медицинскую помощь пострадавшим бойцам. В одну из контратак гитлеровцы по склону горы приблизились к перевязочному пункту. И Валя повела на них группу солдат и легкораненных... Атака была отбита. Нина Ласкина вынесла из-под огня двадцать шесть бойцов вместе с оружием. Валя и Нина были ранены, но продолжали нести свою трудную вахту. Контратаки фашистов, — продолжал Соломахин, — следовали одна за другой. У нас кончались боеприпасы... В ходе боя первую роту принял старший лейтенант Анатолий Максимов. Немецкие ручные гранаты взрывались через пять секунд после включения запала. Максимов, зная это, поймал такую гранату и успел отбросить ее обратно, и она взорвалась над головами фашистов. Примеру Максимова немедленно последовали саперы во всей передней траншее. Нельзя забыть хладнокровные сосредоточенные лица наших гранатометчиков Ивана Муравейникова, Михаила Нестеровича, старшины Бурова...

Позже Соломахин узнал, что за действиями его батальона, вместе с командиром стрелковой дивизии, следил с наблюдательного пункта генерал Бычевский. Об успехе саперов было доложено Говорову. Леонид Александрович

тотчас по радио поздравил Соломахина и объявил, что он, командир батальона, награжден орденом Суворова III степени, а командиры рот — орденами Красного Знамени.

— К исходу дня,—заклучил свой рассказ Соломахин,— к нам на помощь прорвался стрелковый батальон. Позиции, которые удерживали саперы, заняла пехота.

Впоследствии стало известно, что командир 61-й немецкой пехотной дивизии, державшей позиции на Синявинских высотах, после атаки советских саперов весьма пострадал по службе. Оправдываясь перед своим высшим начальством за бегство пехоты с высоты 45,0 этот генерал заврался. Утверждал, будто советские войска атаквали высоту силами специально сформированной и мощно вооруженной загадочной «болотной дивизии».

Заглянули мы вперед... Далеко, в 1943 год... А сейчас еще 1941-й. Первые месяцы гитлеровского нашествия. Город Гатчина сожжен фашистскими бомбардировщиками, но в знаменитом Гатчинском парке пока спокойно. Под кронами вековых деревьев саперы-ополченцы без помех вскапывают глинистую подпочву, сооружая из бревен, камня и железа КП для комдива.

У нас гость — младший лейтенант Соломахин.

К тому, что об Иване Ивановиче рассказано, следует добавить, что войну он окончил полковником и вернулся в Ленинградский инженерно-строительный институт, где получил образование, преподавателем.

На подступах к Гатчине были замечены немецкие мотоциклисты, и ополченцы едва не натворили глупостей: в охотничьем азарте начали было пулять по фашистам. Вмешался комдив. В строжайшем его приказе было сказано, что каждый выстрел только помогает фашистским разведчикам распознать, как устроена оборона Гатчины, и выявить в ней уязвимые места. А уязвимых мест было еще много: Гатчину не успели укрепить полностью. Главные силы Ленинградского фронта были сосредоточены под Лугой. Но вот фашисты после месячных бесплодных попыток перейти пустяковую речушку Лугу сделали передышку, потрепанные свои дивизии заменили свежими и ударили во фланг лужского плацдарма. Гитлеру нужен был Ленинград, и он не считался с потерями.

Наши отступили. Бои завязались на рубеже Гатчины. Саперы рыли окопы, пехотинцы тут же, можно сказать, из-под лопаты, их занимали. Командир дивизии был непрестанно среди войск, и блиндаж его в выстроенном нами подземном городке пустовал.

Плечом к плечу с ополченцами дрались бойцы, отошедшие от Луги, и все же в поясе обороны Гатчины возникали опасные бреши. И тут «кто кого» решали расторопность и отвага минеров: успеешь заткнуть дыру минами — и враг обломает себе ноги.

Здесь, в Гатчине, дивизия получила боевое крещение — и осиротела: погиб наш пышноусый генерал. Обнаружив, что один из полков, теснимый врагом, сдает позиции, старик возглавил по-чапаевски контратаку и пал смертью храбрых...

Как известно, 8 сентября 1941 года над Ленинградом в большом количестве появились гитлеровские самолеты. Было это в 18 часов 55 минут — и не случайно: к этому времени, после рабочего дня, улицы города многолюдны. Двинув на Ленинград армаду самолетов-бомбардировщиков, фашисты рассчитывали посеять в городе панику. Но просчитались: ленинградцы и ленинградки проявили выдержку, быстро поняли, в чем для города главная опасность, и принялись тушить многочисленные пожары, вспыхнувшие от зажигательных бомб. Без помощи населения пожарные не справились бы с «морем» (так сказано в официальных документах) огня.

Повторные налеты врага наталкивались уже на организованный отпор. Горожане дежурили на крышах домов и гасили «зажигалки». Зенитчики наловчились самолеты со свастикой отправлять носом в землю. Летчики расстреливали их в воздухе.

Ведя бои в почти уже окруженной Гатчине, мы, саперы, не сразу узнали о том, что произошло восьмого в Ленинграде. Сведения об этом трагическом для города, но и героическом дне получили лишь на рассвете девятого. От Чирка. Он находился в Ленинграде по хозяйственным делам батальона. Вот эти сведения:

— Погибли!.. Нет больше Ленинграда... Все пропало!

В Гатчинском парке, куда Чирок примчался на бричке, врач Козик и военфельдшер лейтенант Ольга Павловна Сергеева в два корыта стирали белье для раненых саперов. От панических выкриков женщины остолбенели. Но

вид трясущегося мужчины в военной форме со значками (их приняли за ордена) был столь омерзителен, что женщины тут же и опомнились.

— Ты что это несешь такое, а? — закричала Козик. В гневе она затопала ногами и, не находя нужных слов, костила труса то по-русски, то по-украински.

— Замолчи! — вторила ей Сергеева. — Замолчи! Замолчи! Язык оторвем!

Но тот, видимо, потерял всякую власть над собой, схватился за голову и выл, не умолкая: «Нет Ленинграда... Нет больше... Нет!»

Тогда Козик, не раздумывая, толкнула свое корыто. Белье вывалилось на землю, а она — бац вальком по железному днищу!

— Вот оно... И нам конец... — пробормотал Чирок; у него закатились глаза, и он упал в обморок.

— Девочки, шприц мне! — распорядилась Козик. Теперь она была только врачом, оказывающим помощь пациенту.

О происшествии мне доложили. Говорю комиссару:

— Когда-то я обещал ему посодействовать в получении оружия. Прикомандирую, мол, к роте, прихлопнете в бою какого-нибудь фрица — вот вам и пистолет. Так, может быть, его для проявления храбрости в роту?..

Комиссар не дал мне окончить:

— А Чирок уже с пистолетом. И как раз с трофейным.

— Но... — Я был озадачен. — Но каким образом?

Комиссар усмехнулся:

— Как видно, сумел очаровать наших саперов-разведчиков. Те и преподнесли ему фрицевский пистолет.

Подумали мы, подумали — и пока оставили Чирка в прежней должности.

В ночь на 14 сентября дивизия получила приказ: оставить Гатчину. Уходили ополченцы с горестным ощущением незавершенной битвы. Дивизия способна была и далее удерживать этот узел обороны. Но оказалось, что враг уже в Красном Селе, Ропше, в Дудергофе. Иными словами, вклинился непосредственно в оборонительный пояс Ленинграда. Теперь, как мы поняли из приказа командующего фронтом, важно было сохранить жизнь бойцов: предстояли бои уже за самый город.

Поклонившись братским могилам, мы возвращались в Ленинград.

Шушары — поселок и совхоз. Вспаханная земля. Унылые барачные постройки, где, видимо, стоял скот. Сорванное с петель и наполовину поваленное полотно деревянных ворот без слов обозначает: «Ушли. Точка!» Внутрь и заглядывать не хочется.

Впереди, на отчетливо видимом горизонте город Детское Село (ныне Пушкин), который, вслед за Гатчиной, был захвачен врагом. Мы оказались на окраине Ленинграда. Здесь много военных.

Все подавлены, маячат оказавшиеся не у дел командиры различных званий, и никто не взглянет в глаза другим... Стыдно, на каждом лежит ответственность за отступление. И бесплодно ломать голову, стремясь понять, как это случилось, что гитлеровские захватчики уже вплотную у Ленинграда! Томишься — хоть бы чем-нибудь заняться, а приказаний нет. Отступившие перемешались, и начальство еще не разобралось — что и от каких полков, батарей, обозов уцелело. Слышны переклички, пытаются осколки воинских частей собирать и склеивать.

Я ищу инженерного начальника, который распорядился бы батальоном. Слышу: зовут, но это голос моего комиссара. Оборачиваюсь: ко мне спешит Осипов, в руке газета. Я кидаюсь навстречу: узнать, что делается в Ленинграде, в стране, на фронтах... Ведь после Гатчины мы как слепые... Уже несколько суток.

Жадно раскрываю «Ленинградскую правду». Это номер за 18 сентября. В газете — встревоженные письма рабочих и работниц. Обращаются к воинам фронта. Читаю: «Сестра отвернется от брата... Мать проклянет сына... Жена будет с презрением и стыдом думать о муже... Дети откажутся от отца!..» Мурашки по спине — какое страшное письмо... Кто же это казнит нас? Подпись: «Работницы трикотажной фабрики «Красное знамя».

Знаменита своими изделиями фабрика. Пронзительно справедливы слова трикотажниц. За ними, за трикотажницами, гневно поднялись все женщины Ленинграда. Миллион проклятий падает на наши головы. И поделом, поделом...

Разве я смогу теперь зайти в тот полуподвальныйчик, где из тесьмы мне собрали нарукавный знак командира? Что там пообещал, а? Уверил женщин, что тревожиться не надо, побьем фашистских захватчиков. Теперь и на улицы города носа не сунешь: осрамит каждый...

За тягостными раздумьями я и не заметил, что стою уже без газеты. Комиссар пустил этот номер по рукам

ополченцев батальона. Прочитав газету, стояли потрясенные. Многие присаживались писать в газету ответные письма...

К ночи появился железнодорожник:

— Это вы саперы? А где от вас дежурный на станции Шушары?.. — И раскричался: — Не встретили — пеняйте на себя! Я не желаю сжечь котел! Вода в паровозе кончилась, заворачиваю обратно.

— Да о чем вы? — сорвался и я. — Скажите толком!

Оказалось, на платформах у него стальные колпаки для пулеметных гнезд. Вот была радость. Наконец-то есть чем руки занять!

— Да мы тебе... Говоришь, вода кончилась? В поселок, ребята, за ведрами, живо!.. Полный тендер налить — или хватит половины?

Машинист отступил под таким напором. Заикаясь, признался, что опасности для паровоза, в сущности, нет, — воды хватает, топка приглушена, простоит до утра.

Двинулись за машинистом всем батальоном. Сентябрьская темень, дороги нет. Спотыкаемся, но все равно весело. Наконец — каменные развалины, и веселье гаснет. Вот во что превратили фашисты полустанок Шушары. Паровозу ходу нет, пытит за семафором. Саперы принялись расчищать завал на рельсах, взялся за лопату и комиссар. А я к платформам. Ощупью и при осторожной подсветке рассмотрел груз. Стальные колпаки, а точнее бы сказать — шестидесятипудовые кепки. Прислонены одна к другой, как на полке в шапочном магазине. Но кепки дырявые: у каждой на затылочной части вырезано окошечко — ясно, амбразура для стрельбы.

— Здесь вы распоряжаетесь?

Оборачиваюсь — в темноте силуэт человека.

— Да, я, — говорю, — а вы кто?

Усмешка:

— Извозчик.

— А если всерьез?

Оказалось, нам прислали в помощь танк.

Теперь все сошлось, как в удачной игре. Маневровый паровоз доставил броню. В Шушарах разгрузка. А отсюда каждую «кепочку» потащит на буксире танк, но не по голой земле, а на подстилке: для этого танкист приволок огромный лист котельного железа. К слову сказать, я не сразу разглядел, что танк без башни. Это тягач на танковом ходу. А на нем только водитель — «извозчик», как иронически он назвал себя.

А вот и еще посланец из Ленинграда. Верховой, но явно не кавалерист. Слез с лошади — и одеревеневшие ноги врасстопырку. Вспомнил я страдания на уроках в цирке «Модерн» и посочувствовал человеку.

Предъявили друг другу документы.

— Уединиться бы, — сказал посланец, — у меня секретное.

Залезли в яму — и в нос ударило перегаром тротила. Свежая воронка от авиабомбы. Но другого помещения для секретного разговора не было.

Склонились, почти касаясь головами, над картой. Я стал водить по ней, как пальцем, коротким лучом электрического фонарика. Находил место, где предписывалось установить броню. Постройки несложные, но требовали времени. Надо вкопать прочную бревенчатую клетку, склотить стол для пулемета, скамью для пулеметчика, после чего надвинуть на пулеметное гнездо бронеколпак. Если время позволит — настлать пол для уюта. Само собой — прокопать к пулеметному гнезду ход сообщения и тщательно его замаскировать.

Я тут же собрал плотников и поставил их сколачивать клетки. Необходимый материал оказался на платформах у того же паровоза. Управились они еще затемно. Подошло время подтаскивать броню. Взревел танковый двигатель... Я испугался: да таким ревом мы оповещаем немецких фашистов о своих работах! Но не было у меня средств для звуковой маскировки. Пришлось утешиться мыслью, что враг еще не успел обосноваться на новых позициях и прозеваает ночной шум.

К рассвету я снял батальон с работ. Саперы старательно замаскировали и сделанное, и еще неоконченное. Противник мог увидеть — хоть с земли, хоть с воздуха — только вспаханное совхозное поле...

Работать над сооружением бронеточек, как стало ясно, придется здесь не одну ночь. А потом еще будут ночи, когда саперы выйдут для ограждения бронеточек минами, для установки проволочных заграждений... Работа сапера на фронте не прерывается.

Дело начато. Оборудуем передний край! Ребята повеселели... Однако тревога на сердце оставалась: тревога ленинградца за Ленинград. Несколько позже я имел случай тайно порадоваться. Оказалось, что в самом городе строят, а частью уже и готовы мощные пояса обороны. Они прорезают город в разных направлениях. В дело идут бетон, железо, корабельная броня. Узнал, что из-под зем-

ли тут и там, например на Марсовом поле, могут появиться пушки крупных калибров, чтобы сокрушительным огнем ударить по врагу, если тот посмеет сунуться в город. Ударят — и опять под землю: никакая авиация не успеет их заметить.

Город становится крепостью. Это вдохновляет, но — молчок! Это секрет обороны!

Сумеречным октябрьским утром, когда, казалось, из окутавшего землю мрака и день никогда не родится, я вышел в поле. Сегодня я на инженерной рекогносцировке. Велено подготовить дополнительную линию заграждений... Сколько их, самых различных заграждений, еще потребуется для спокойствия города!.. На карте у меня рукой начальника изображено, естественно, общее начертание препятствия. Моя задача — применяясь к местности, сделать разбивку будущей проволочной сети и представить начальству схему (рабочий чертеж) на утверждение.

Тишина — ни свиста пуль, ни кваканья минометных разрывов. Видать, фрицы еще не откушали своего кофию... Намечаю, куда шагать. Вокруг пригородные огороды да редкие домики окраинных жителей. В них пусто — обитатели для безопасности перебрались в город. Ноги вязнут в грядках. Повстречалась кошка — взлохмаченная, грязная. Зафыркала на меня, шерсть дыбом — одичала, отвыкла видеть человека. Я остановился, не сразу поверив глазам: кошка пожирала капустный лист! Подвывала от отвращения, давилась, но глотала зелень. Казалось бы, пошарь, глупая, вокруг — и наткнешься на гнездо мыши-полевки или другую живность — вот тебе и мясной завтрак. Но выросла кошка на готовых харчах, избалована и, брошенная хозяевами, уже неспособна сама пропитаться. Атрофировались жизненные инстинкты... Впрочем, это уже материал для зоологов, а у меня здесь свое дело.

Однако капустные листья меня заинтересовали. Как видно, я на совхозной или колхозной плантации. Урожай капусты убран, а то, что валяется, — это наружные, обломанные с вилок листья, которые в пищу не брали. Но сейчас привередничать не приходится. Военский паек все сокращают. Пошлю-ка сюда Чирка, пусть со своей командой кладовщиков собирают этих бросовых листьев. Может быть, получатся саперам свежие щи.

А вот и высотка, вполне подходящая для огневой точки. Взираюсь на нее, ставлю вешку. Начало проволочному



заграждению положено: суть его в том, чтобы фасы забора из колючей проволоки, зигзаг за зигзагом, сочетались с косоприцельным огнем пулеметов. Пушки не годятся: взрывают при стрельбе собственную проволоку.

Пошло дело на лад. Вычерчиваю схему и тут же люблю ее стройностью: заграждение рождается по всем правилам фортификации... Но вот овраг, на саперном языке — «естественное препятствие», да только обращено препятствие на этот раз против нас самих. Овраг хоть и недалеко от наших будущих окопов, но наблюдателю в него не заглянуть — крутобокий. Незаметно накопятся там фрицы да и ударят в атаку. А внезапная атака с близкого расстояния особенно опасна... Как же быть? Казалось бы, чего проще — заминировать овраг. Но это самообман. Фрицы без помехи его разминируют...

Присаживаюсь на пенек. Надо подумать. Пристраиваю на колене планшетку со схемой. Рисую овраг. А чтобы он выглядел рельефно, тонким карандашиком, волосок за волоском, навожу внутри его откосов горизонтали... Почувствовал, что занятие успокаивает — вроде женского вязания. Расслабил нервное напряжение — и прояснились мысли.

...Как наяву, увидел я академика Иоффе. Большой ученый и вместе с тем человек обаятельной простоты, Абрам Федорович охотно откликался на приглашение писателей — встречи происходили в какой-нибудь из гостиных Дома писателя имени Маяковского. А иногда у него в Лесном. Руководил он тогда Физическим институтом Академии наук и нередко знакомил нас с новейшими работами из области этой обширной науки.

Принес однажды керосиновую лампу: жестяной бачок, горелка, стекло в виде вытянутой вверх груши... Будто из старинной деревни появился! Расселись, ждем, что будет, — за крупными учеными, как известно, водятся чудачества.

Абрам Федорович попросил убрать бархатную скатерть со стола. Убрали. Теперь лампа на столе. Абрам Федорович черкнул спичкой и, сняв на мгновение стекло, зажег фитилек. Некоторое время регулировал пламя, пока его язык не стал ярким и спокойным.

Потирая руку об руку, академик загадочно нам улыбнулся. После этого захватил щипцами какую-то плашку и над стеклом лампы стал ее нагревать. Вдруг голос... Откуда? А это заговорил радиоприемник. Тоже принесенный академиком. Оказалось, он электрическим проводом соединен с плашкой.

Это было так неожиданно и эффектно, что все зааплодировали.

В объяснениях Абрама Федоровича впервые для многих из нас прозвучало слово «термоэлемент». Мол, это устройство из полупроводников. О полупроводниках, этом новшестве в науке, мы слышали от него раньше... Но как все просто: плашка, поглощая тепло, преобразует его в электрический ток — в данном случае для радиоприемника.

— Видимо, близится война,— сказал Абрам Федорович в заключение,— и думаю, что термоэлемент может пригодиться... Ну, скажем, советским людям в тылу врага.

Можно ли почувствовать нежные руки не одного человека, не двух, не пяти, не сотни, а сразу миллионов людей, нежные руки целого города, притом одновременно?

Да, так было. Мы, ополченцы, еще незнакомые друг другу горожане, формируясь в полки, роты и батальоны, почувствовали себя в объятиях Ленинграда. Это были объятия сурового отца, благословляющего сынов своих на ратный подвиг. Это были и объятия матери, когда каждая скорбная слезинка душу прожигает...

Эти благословения и эти слезы, быть может, больше, чем что-нибудь, способствовали стремительно быстрому превращению ополченца в солдата. Сужу по своему батальону: в кадровой армии сапер формировался на протяжении двух-трех лет: в батальоне школа боевого сапера была пройдена за месяц.

Однако и баловали же нас в Ленинграде! К примеру: всегда было трудно попасть в театр на хороший спектакль или в Филармонию на знаменитость. А тут сами артисты, в лучшем составе, являлись к ополченцам. Под крышей нашего особняка у Михайловского сада выступали Юрьев, Корчагина-Александровская... А как великолепно была Вечеслова в паре с Чабукани. Что ни поза, то скульптура, что ни прыжок — полет лебедя. Каждое движение пары — совершеннейший графический рисунок, доставляющий миг наслаждения... Какое искусство!

Кончился концерт, но пианистка не встала из-за рояля, а похлопала в ладоши: «Теперь, дорогие наши ополченцы, потанцуйте сами. Открываю бал!» — и она снова заиграла. Я пригласил на тур вальса Татьяну Михайловну Вечеслову. Вальсером я был отменным. Еще в младенчестве, учаемый матерью ходить, под ее поощрительные песенки я

выделывал и танцевальные па. Беру красивую грациозную Вечеслову за талию, готовый блеснуть перед нею как танцор. И — о, ужас... Не чувствую в партнерше опоры, будто в паре со мной мотылек...

Не знаю, что испытывал Вахтанг Чабукиани, танцуя то с одной из наших девушек, то с другой, а у меня уши запылали от конфуза... Потерял твердость в ногах. Вечеслова порхала, и это было прелестно, а я переваливался с ноги на ногу как медведь. Татьяна Михайловна уловила мои страдания, после танца взяла меня под руку и за милой беседой назвала один из профессиональных балетных приемов: оказывается, балерина на сцене мало того, что танцует сама,— она стремится всячески облегчить партнеру мышечные усилия... Пыталась помочь в танце и мне, да я не сумел воспользоваться.

Конфузный случай — а вспомнить приятно.

А подарки нашему батальону ополченцев. Это были комплект инструментов для духового оркестра (а он нам по штату и не полагался), бильярдный стол с шарами из слоновой кости и еще разные ценности,— которые, к слову сказать, обременили батальон, когда он походным маршем выступал на фронт... Растрясли по дороге подарочки...

Однако был подарок, помнится, от института имени А. Ф. Иоффе. Ящичек под пломбой... На этикетке значилось: полупроводниковые элементы и термо- и фото-... Но цел ли ящик?..

Минута тяжелого раздумья — и полегчало на душе. Я вручил ящик командиру техроты. Из рук в руки: «Сохранить!» Не враг же он себе, чтобы нарушить распоряжение командира батальона...

Значит, цел, в техроте. Довольно туманно, но забрезжила у меня идея применить полупроводниковый элемент в овраге. Запрятать тот, что с глазком — фотоэлемент,— и сочленить его с пулеметом... А в помощь им термоэлемент. Возможен такой страж? Прикажу электрикам помозговать: те же — Дмитриев, Шнеер, да и вся их команда — народ башковитый...

Всегда становится человеку приятно, когда решена непростая задача.

Миновал овраг. Шагаю дальше. Обозначаю вешками будущие огневые точки, а к точкам — на местности колышками, а на схеме карандашом — привязываю фасы прово-

лочного забора... Гляжу — впереди снег на грядках. Рановато снегу, да и чисто кругом — что за диво?

Под ногами зашуршала бумага. Печатные листки с картинками. Поднял посмотреть. Э, да это фашистское издание. Постарались: каждая картинка на плотной бумаге, да еще покрыта лаком. Предусмотрительно — под осенними дождями не раскиснет.

Злобный текст, призывающий уничтожать комиссаров и евреев, а на картинке курносый белобрысый парень в полупальто охотничьего покроя (в первые дни войны одежда ополченцев, из-за нехватки шинелей). Рожа восторженного счастливца, а в руках у парня ложка и горшок с кашей. А под картинкой текст пропуска: в великой, мол, Германии не помрешь с голоду, а осажденным ленинградцам капут.

Это, значит, «наснежил» фашистский самолет. Ночью. Плохо сориентировался и высыпал груз на пустырь.

Вернувшись после работы в батальон, я сообщил комиссару о находке, а Осипов позвонил куда следует.

Гулевский уже старшина роты — первой, в которой и службу начал. В петлицах по четыре треугольничка в ряд. В старшины рот ставят людей хозяйственных, житейски опытных. Заслужил Гулевский похвал как командир отделения, пришелся к месту и как старшина. Должность хлопотливая, обязанности многообразны, и первейшая из них — своевременно и досыта кормить бойцов.

А одежда на людях? В боевой обстановке все быстро изнашивается, но плох тот старшина, в роте которого боец в рванье. У Гулевского такого не случается. Заведено у него ни в чем не отказывать бойцу из собственных припасов. Оторвалась пуговица — открой коробку, возьми, какая требуется. Хочешь выглядеть понаряднее — есть уют, пользуйся; свой принес, заправляется угольками.

Кандидат наук Лютиков так и не расстается с Гулевским. Помогает ему во всем, особенно по «письменной части». Однако в ротные писари определиться не желает.

Итак, Гулевский — старшина. Однако он еще и минер. Это уже сверх должности. Ночами отправляется на передовую. Каждый сапер несет за рукоятки по две, по три мины (в противотанковой мине примерно восемь килограммов). Ну, а Гулевский набирает целый мешок этих скорородок с «пирогом» из тротила.

Ставит ли Гулевский мины или вылавливает вражеские — возле него всегда новички. Держась степенного и рассудительного старшины, эти ребята приучались к работе минера. А он — извиним ему эту слабость, — давая указания, любил и пофилософствовать:

— Мину ставишь — смотришь в лицо смерти, и тут уж глазом не моргни, а то себя угробишь. — Страшал примером: — Сапер потянулся к спелой ягоде малины и лишился обеих ног. — И обобщал: — Саперное дело не любит трусости. Кого первого пуля берет? Труса!

Между тем в минных полях врага то и дело обнаруживались зловещие новинки. Но мало, если сапер перехитрит врага и мину обезвредит. Важно, чтобы и в дальнейшем на mine новой конструкции не подорвался никто из пехотинцев, танкистов, артиллеристов, оборонявших Ленинград. Образовалась в батальоне группа лекторов. Вошли в нее знатоки минноподрывного дела: Коробкин, студенты-горняки Катилов и Потылов, еще некоторые товарищи.

— А Гулевский? — сказал комиссар. — Разве не годится? Он и с учеными сумел объясняться, когда пришлось.

Попробовали и Гулевского на новом поприще.

Выловил очередную мину-новинку. Разряженная, поступила она в бюро к Попову и Виноградову, там начертили схему ее действия. Минеры составили памятку, как избежать поражения миной, — все это размножили, и лекторы отправились по воинским частям.

Гулевский — «по-письменному разговаривать не обучен» — потребовал себе настоящую мину, повозился с нею, входя в соображение, что к чему, и в путь. Не лекции читал, а располагался среди бойцов полка или батареи для беседы.

— Гляди сюда, — подпускал он к mine то одного, то другого из слушателей. — Видишь, надпись не по-нашему? «Scharf» — острый; значит, мина на боевом взводе. А ты не позволяй этой фашистской сковороде тебе по ногам да в живот. Вот эту штуковину повернул — р-раз — и мина на запоре, бояться ее нечего, шагай дальше!

Приходили из воинских частей отзывы о лекциях. Фамилия Гулевского сопровождалась не только словами благодарности, но и похвалой.

Случилось Гулевскому захватить в плен фашиста. А было дело так. Однажды ночью, устанавливая мины на ничейной полосе, старшина натолкнулся в темноте на дро-

жавшего от мороза ефрейтора, протянул руки и обнял немца заодно с его автоматом. От этого русского объятия тот не только не вскрикнул — дышать перестал. А пред-ставить языка в штаб интересно живым.

Отташил Гулевский омертвевшего врага в сторону от фашистских траншей, кинул на снег и принялся катать его, мять, тузить, по щекам исхлестал. Крутые солдатские меры подействовали лучше всякого искусственного дыхания. Очухался фашист и потянулся к шубе, которую с него сбросил старшина. А шуба — штатского покроя, с каракулевым воротником шалью.

— Цыц! Цурюк! — оттолкнул его старшина. — Не тобой сшита — не тебе носить! Кого-то ограбил, мародер?

И повел фашиста, а шубу приказал в руках нести.

Смело, находчиво воевал Гулевский, имел боевые награды, но до Берлина не дошел — тяжелое ранение вывело его из строя.

...И опять он в Морском порту. Только уже не бригадиром и не с носакми работает. Носака после войны в порту не увидишь — разве только на фотоснимках в музее порта. Погрузку экспортного леса на морские суда осуществляют машины. Георгий Борисович Гулевский теперь начальник одного из экспортных участков, где целая серия машин. Участок его — лучший в порту, мало того — стал школой, которую прошли молодые инженеры, возглавляющие ныне другие участки.

К Гулевскому приезжают поучиться работе лесовщики с других наших морей. За крупные усовершенствования в лесоэкспортном хозяйстве он удостоен дипломов ВДНХ и правительственных наград.

В батальоне появилась красивая русоволосая девушка. Она тут же подстриглась под мальчика и, переодеваясь в военное, потребовала мужские штаны. Каптер расхохотался: чудит, такого еще не бывало... Но Саша Днепровская — так звали вновь прибывшую — надела штаны, не задумываясь о том, что о ней скажут, решила, что на фронте в штанах сноровистее, чем в юбке, вот и все. Выдержала характер — и, глядь, у нее уже последователи: сандружинницы в ротах помялись-помялись, да и сами стали примеривать красноармейские штаны.

Пришла к нам Днепровская, расставшись с Военно-транспортной академией, которую из Ленинграда эвакуировали. Работала там лаборанткой, готовила препараты

для слушателей. Тяжелое детство в разоряемой недородами поволжской деревне приучило ее с малых лет полагаться только на себя. «Пекла хлеба, косила, пахала, сажали возчиком к лошадям, к быкам... Всяко крутилась...»

В Ленинграде, в Военной академии, ожила: «Коллектив спаянный, веселый, и платят хорошо!» Стала спортсменкой: плавала, стреляла, выбивая призовые очки, на гарнизонном соревновании лыжниц вышла на первое место. Усердно занималась в вечерней школе: за неполных три года приобрела знания за классы с четвертого по девятый. Окончить школу помешала война. Но успела пройти курсы санитарок.

Батальонному врачу Козик эта деятельная, самостоятельная девушка понравилась, и Днепровская была назначена в первую роту, которой полагалось быть лучшей в батальоне.

Побывав у бойцов, Днепровская заявила ко мне. Подала руку, не церемонясь села.

— Товарищ майор (я уже был в новом звании), это что у вас — воинская часть или хухры-мухры? Люди запущены, я выгнала взвод саперов на берег и остригла всех подряд, как овец... Теперь собираются на меня жаловаться, а я люблю раньше жалобщиков поспеть.

Видю, девушка напористая, умеет поставить на своем. К ее милой внешности как-то не шли «хухры-мухры», но суть не в этом.

Немецкие фашисты замкнули блокаду Ленинграда. В городе возникли затруднения с продовольствием. Почувствовали это и мы в армии. Труд сапера — это прежде всего физический труд. И я вижу — ослабели бойцы. Отправляясь ночью на минирование, сапер уже не решается тащить на себе две-три противотанковые мины: «Не донесу». Берет для верности одну. А иные вскоре и с одной лишь вдвоем управлялись... А задания нам не сбавляли: как хочешь, а выкручивайся.

Стала расслабляться дисциплина. А это самое опасное! Пришлось усилить строгости. Делал замечание каждому, кто не брит, плохо умылся или идет, распустив з стороны клапаны шапки-ушанки. Требовал такой же придиристости к внешнему виду саперов от всех командиров, а самим за неряшливость, в чем бы она ни выражалась, доставалось от меня все крепче и крепче.

А тут эта девушка-чистюля... Вот кстати!

— Правильно,— сказал я,— что остригли взвод. Беритесь за другой, за третий. И к батальонному врачу зайдите — пусть и другие у вас поучатся.

Днепровская, получив от меня поддержку, осмелела.

Построит бойцов для санитарного осмотра, совестит небритых: «Вы что — свиньи, чтоб в щетине ходить?» А сама уже бритву направляет.

Иной скажет:

— Сам бы побрился, да руки дрожат. Харч пошел не тот. А ты не порежешь?

— Эка беда! Заштопаю.

— А мыло? Без мыла ведь больно. . .

— Оскоблю и без мыла. А напрочишься — могу шею намылить!

Саперы только головами покачивали:

— Крутой ты человек, Саша, холоду иной раз нагонишь больше самого комбата. . . Младшеньких-то, оставшихся без отца-матери, пошлепывала?

Днепровская уже бреет, придерживая человека за нос, чтобы не увертывался. Но и отвечать успевает:

— Если бы так, то, наверное, меня не взяли бы в няньки в соседнюю деревню, в докторское семейство, к новорожденному!

Отдыхая, Саша любит тут же, в землянке, взять гитару. Перебирает струны и напевает что-нибудь из кинофильмов, а то ударится в озорные деревенские частушки. Голос у нее чистый, звучный, приятно послушать.

Но вот Саша забыла о слушателях, ушла в себя, на задорном лице ее тень грусти. . . Не задалась у нее личная жизнь. Встретила человека, полюбила, расписались, но не ужились. Почему оставила себе его фамилию — сама не знает. . .

От горьких воспоминаний крепко щипнула струны, и гитара отозвалась бравурным аккордом. Встала:

— А скучно с вами, ребята. . . Уйду из роты, попрошусь к разведчикам. Там жизнь!

У батальона, теперь уже армейского ранга, зачисленного в состав регулярных войск, была своя разведка. Специальная, инженерная.

В старой русской армии существовало понятие «охотник». Имелся в виду вовсе не тот солдат, что доставлял дичь офицеру к столу. А солдат большой отваги, который взялся бы проникнуть в расположение врага и вывести



то, что требуется для успеха боевой операции. Начальство понимало, что столь рискованное поручение не подкрепишь приказом. Тут и «слушаюсь» обманчиво. Поэтому было принято, построив солдат, выкликать охотников.

Я рассказал об этом комиссару, и мы дружно решили: сформируем подразделение инженерной разведки из охотников!

Я уточнил:

— Только не мы с тобой, Владимир Васильевич, будем выкликать охотников, а предоставим подбор людей командиру разведки.

Отважных ребят в батальоне хватало. Высмотрели мы среди них Рыжикова — этот парень и жил-то словно играючи. Ничего не страшился в бою — от таких, есть солдатское поверье, и смерть отскакивает. Рыжикову и поручили сформировать подразделение разведчиков. Надо ли говорить, что работа наших разведчиков, их рейды в глубь полосы вражеских укреплений помогали действовать не только батальону, добываемые ими сведения интересовали и высокие штабы.

Днепровская пришла ко мне, сказала, что хочет сопровождать разведчиков, — «мало ли ранят кого».

— Похвально, — говорю, — разведчикам как раз не хватает медработника.

— Вот и назначьте меня.

— А это не могу.

— Почему?

— Обратитесь к Рыжикову. Понравится — возьмет. А неволить его никто в батальоне не имеет права.

Днепровская усмехнулась с сомнением:

— Даже вы?

— Даже я.

Возвратилась она от Рыжикова гордая:

— Взял. Даже без испытания.

— А я, Саша, и не сомневался, что разведчики будут вам рады.

Много можно было бы рассказать о славных боевых делах санинструктора Саши Днепровской. Вот что, например, в 1942 году писала о ней газета нашей армии «Боевая красноармейская»:

«Ненависть к врагу сделала девушку лаборантку Сашу Днепровскую бесстрашной разведчицей. С двумя бойцами Саша подкрадывается к немецкому дзоту и взрывает его вместе с гитлеровцами. Темной ночью она прикрывает сво-

им огнем товарищей от преследования врага, помогает буксировать наш танк из-под самого носа противника».

Спустя тридцать лет, в 1973 году, напомнила о героине и «Ленинградская правда» в подборке к Восьмому марта о ленинградских женщинах, отличившихся в боях за родной город. Александра Андреевна Днепровская теперь пенсионерка. Получила однокомнатную квартиру.

Капитан Александрович Титов пришел на службу в батальон после гатчинских боев, уже в Ленинграде.

— Сам вологодской я. Междуреченский район теперь. Деревня Брюхово. Рекой, ежели на пароходе, то от Вологды сто километров. Отслужил действительную, в кадрах был два года, присвоили сержанта. Демобилизовался в Ленинграде на Кировский завод. В кузнечном деле я бывалый, сразу пробу сдал. Определили меня в старую кузницу на трехтонный молот кузнецом. А молот-то паровой, жар от него. День проработаешь — ведро воды со льдом выпьешь. Не каждый там и держится. . .

Говорит, а меж бровей строгая складка, как у человека, повидавшего жизнь, тяжело пробивавшего себе дорогу. В движениях угловат. Даже и сидя осматривается: как бы, мол, не задеть чего, не уронить.

Комиссар, посылая ко мне Титова, сказал:

— Воевать, сдается, лихой. Но бирюк — слова не вытянешь. Может, ты расшевелишь его?

Я предложил папиросу. Закурили — и беседа наладилась.

— Начал я войну в ополчении под Лугой — сперва был сапером, потом попал в пехоту, потом опять в саперы. . . Дела были жаркие.

Когда Лугу оставили, сержант Титов оказался в одиночестве. Стал пробираться к Ленинграду. Однажды видит, по шоссе катит мотоцикл с коляской: два немца-фашиста, один у пулемета. Прицелился Титов из-за куста, спустил курок. . . Подстреленный водитель свалился кулем на землю, а мотоцикл с пулеметчиком, описав полукруг, кубарем полетел под откос.

Но вслед за мотоциклом появилась колонна машин с солдатами. Горланили песню, но, увидев мертвого мотоциклиста, да еще без мотоцикла, умолкли. Глядит Титов — обратно повернули.

Когда машины скрылись, вышел он из засады, снял с убитого парабеллум, обшарил — нет ли документов — и прыжком под откос. Но второго мотоциклиста там уже не

было,—сбежал. А мотоцикл кстати. На действительной окончил школу мехтяги, водил и «даймлеры». Поднял мотоцикл, приготовился сесть и ехать, но глядит — экая досада! — бак лопнул, все горючее вытекло... Пришлось и дальше топтать пешком.

Между тем на шоссе появился другой мотоциклист. Титов нагнулся — и шмыг в колосистое поле. А пули — цык, цык! — срубают пшеничные колоски.

— Соображаю, разрывными садит по мне,— рассказывал дальше Капитон Александрович.— Вот привязался!.. Где пригибом, где ползком, но добрался до леса. И до чего же есть захотелось — страсть. Вторые сутки во рту ни корки. Птичка, говорят, по зернышку клюет, да сыта бывает. Поклевал и я зернышек из колосков. Умаялся я. Сморил, да и заснул. Просыпаюсь — вижу, я в кустах. А поблизости, слышу, шорох. Вскликаю — фашисты. Со всех сторон обложили, как медведя в берлоге. Я за лимонку — сдернул кольцо... Сам присел. Взрыв, крики... С этой стороны чисто.

Но приближаются другие, сзади. Я ползком — да к мертвецам. Двое их. Успел навалить одного из них на себя — меня в кустах и не заметили. А еще, перед тем как гранату кинуть, приметил я у одного из тех двоих ручной пулемет. Лежу, пошарил по сторонам — вот он, миленький. Поднимаюсь на колени, да как полосну из ихнего пулемета! К своим пришел в тройном вооружении: своя русская винтовка да трофейные пулемет и парабеллум. Проверили, как полагается, кто я такой. Пулемет отобрали, а парабеллум сам отдал. Потому что я опять наладился в саперы повернуть, техника-то мне сподручнее. Вот я и у вас. Винтовкой, понятно, не поступился, она при мне. Винтовка — это честь солдата.

Рассказывая о себе, Титов как бы между прочим упомянул, что на Лужском рубеже он водил ополченцев в атаку и был представлен к званию лейтенанта. Решил, что документ затерялся,— не до бумаг, мол, было в тамошнем пекле.

Но запросили мы штаб фронта, и вскоре я нацепил Титову в петлицы по два кубика.

Назначили мы Капитона Александровича командовать третьей ротой.

Титов показал нам письмо, которое уже стало рассы-

паться на кусочки. «С самой Луги в кармане», — заизвинялся он.

Это было письмо из деревни Брюхово от жены Титова Варвары Павловны. «Любезный наш супруг...» — так обращалась она к мужу. Эвакуировалась она из Ленинграда с детьми, а ей ни жилья, ни продовольственных карточек на семью фронтовика. Спрашивают документ, а она впопыхах да по незнанию и не выправила его...

Разумеется, мы тотчас отправили в тамошний сельсовет установленную справку, и Варвара Павловна с детьми получила паек, и дров ей привезли, и обветшалую крышу избы к зиме починили.

В каждой роте у нас девушки-сандружинницы. В регулярных частях их не было, но наш батальон, даже став регулярным, от добрых женских рук не отказался. Отважные молодые ленинградки по-прежнему, как и в ополчении, сопровождали саперов на боевые задания. У каждой — санитарная сумка со всем необходимым для оказания раненому первой помощи еще в поле, вплоть до наложения шины на перелом. Эти брезентовые сумки, и без того громоздкие, становились для девушек, слабевших от недоедания, все более тяжелой ношей. Но ни слова жалобы!

В роте Титова состояла сандружинницей худенькая и застенчивая девушка — Галя Дубовицкая. Работала на небольшом заводе «Красный металлист» револьверщицей. «Втулочки всякие делала. Но могла и на фрезерном, и на сверловочном». Перед самой войной старательную девушку выбрали цеховым комсоргом, с комсомольцами она и ушла на фронт.

Титов сразу оценил деловитость сандружинницы: «Она у меня, как топор за поясом; выступишь с ротой на ночное задание — и темень, и под обстрел попадешь под ракетой, а она всегда под рукой». И девушка научилась понимать своего немногословного командира. Скажет: «Галина!» — значит, будь наготове; «Галя!» — считай, на душе у Капитона Александровича потеплело, доволен работой сандружинницы. А если она «на большой» с делом управится — значит, ласковое: «Галинка». Однако случалось ей слышать и сухое: «Галина Спиридоновна, вы...» Это уже принимай как замечание...

Дубовицкая умело и ловко перевязывала раненых. Увидев бойца окровавленным, слыша стон, словно вскипала

вся. Становилась на диво силачом: вытаскивала из-под огня, а то и на себе выносила и одного, и другого, и третьего, как одержимая. . .

Галина Спиридоновна Дубовицкая была удостоена впоследствии особо почетной солдатской награды — ордена Славы.

Константин Иванович Гаврилов из тех людей, жизнь которых овеяна легендой: потомственный питерский пролетарий, старый член партии. Был он уже сед, но, придя в батальон, довольствовался скромным положением политрука. Стал душой третьей роты. К новому командиру Титову отнесся по-отечески. Но немного послужили они вместе — погиб Гаврилов. . .

Комиссар привел в третью роту Ваню Виноградова.

— Знакомы?

Титов насторожился. Взгляд у него исподлобья, а тут и вовсе брови насупил.

— Примечал. . . — процедил он. — В штабе чертежи чертит. . . Кажись, в комсомольском бюро батальона еще. . .

Комиссар улыбнулся:

— А молодое растет, Капитон. Это уже не Ванюшка-комсомолец, а Иван Иванович, молодой член партии. Принимай. Ставим товарища Виноградова к тебе политруком.

Титов, вскинув брови, усмехнулся и стал лепить цигарку.

— Политрук — это считается политический руководитель. . . — сказал он. И к Виноградову: — А не молод ты меня учить?

Разница в годах была и в самом деле значительной: Виноградов вдвое моложе сорокалетнего комроты.

Напряженная пауза. . .

— Вам что, ребята, сваху, что ли, привести, — усмехнулся комиссар, — из сочинений Гоголя? Иначе не столкнетесь?

Тут Виноградов, осмелев, протягивая руку, шагнул к Титову. Тот подал свою. . . Виноградов побелел от боли. . . и нашел в себе силы улыбнуться. Выдержка молодого человека решила дело. Титов вторично пожал руку парню, уже уважительно:

— Кажись, сладимся в работе. . .

И сладились. А потом и подружились комроты Титов и политрук Виноградов, уравнившись на боевых заданиях в мужестве.

---

В землянке прогудел зуммер полевого телефона. Я поднял трубку.

— Угломоните вашу Козик, или я ее арестую!

Крутоват... Кто же это? Назвал себя «Семнадцать». Не опуская трубки, заглядываю в код. На сегодня это — начсанарм, полковник. Ему по медицинской части подчинены все врачи армии.

— Простите, товарищ Семнадцать, но Козик — прекрасный врач. И дисциплинированный. Я не допускаю мысли, чтобы она...

Ядовитый возглас:

— Не допускаете? Вести себя не умеет! Мешает работать! Я сделал ей замечание. Доложил вам об этом ваш распрекрасный врач?

— Но в чем дело, товарищ?..

В трубке звякнуло. Отбой.

А тут и сама Козик. Вошла с вызывающе поднятой головой. Сдернула шапку-ушанку и даже не прикоснулась к волосам, чтобы проверить, не сбилась ли прическа. Вижу, намерение у девушки драчливое.

— Товарищ майор! Начсанарм... — Она говорила через силу. — Замечание мне... А за что? — Закусила губу, на глазах сверкнули слезы.

— Успокойтесь, — поспешил я сказать. Не терплю слез, оказываешься перед женщиной в глупо-беспомощном положении. — Успокойтесь и объяснитесь.

— Я права. В батальоне дистрофия, а он... а он...

— Да успокойтесь же! Сядьте! — Я налил воды в кружку.

Отпила глоток. Заговорила, от волнения путая украинские слова с русскими.

— Я ему работать не мешала! Дала заявку на спецпайки повышенной калорийности и села тихонечко у стенки. Полковник прочитал — и мою бумагу в сторону. Поводил мохнатыми бровями: «Спецпайков не будет. А появились дистрофики — обязаны из батальона эвакуировать». А я будто не чувю. Сижу. Вин снова: «Не будет!» А я сижу. Пуговицы пересчитываю на гимнастерке, а сама будто немая. Вин як вскоче: «Уйдете вы наконец?» А я сижу. Вин мэнэ пид руку и до двери. А я вырвалась та и кажу: «Не треба мэнэ чипати. Не на вечорниці!»

Я сдержал улыбку. Пробую ее урезонить. Не надо, мол, упрячиться: ни сил у батальона, ни средств, чтобы ставить больных наших товарищей на ноги, нет. Это функция госпиталей.

Козик не слушала меня. Встала, надела шапку: «Пусть арестует! Это он не меня посадит под арест, а свою совесть. . . А пайки все равно высижу!»

Напоследок Козик сказала:

— Сегодня к себе в медчасть уложила Грацианова. Тяжелая форма дистрофии. «Анна, говорит, Марковна, помереть пришел на твоих руках. . .» Что же, я его выпровожу из батальона? Нет, буду лечить! И других тоже. . .

— Да ведь не управитесь, Анна Марковна! И раненные, и больные — все в вашей клетушке. А что, если и сами свалитесь, подумали вы об этом — батальон без врача?

Я тревожусь, а Козик:

— Не пропадете! Еще лучше будет с фельдшером. Оля Сергеева не то что я — дисциплинированная!

Спецпайки Козик таки «высидела». Мало того, начсанарм лично побывал в негласном лазарете Анны Марковны. Узаконил его, помог дооборудовать и назначил врача ей в помощники.

О девушке, батальонном враче, которая смело добивается своего, прознали в соседних с нами воинских частях. И к Козик на прием потянулись больные из пехоты, артиллерии, от танкистов. . .

Росту он среднего, да и внешностью ничем не примечателен: в строю от других не отличишь. А человек интересный. По рождению Федоров петербуржец, сын рабочего Металлического завода. Рос среди озорных мальчишек Выборгской стороны. Прослышал, что есть институт, откуда выходят силачами, и, окончив школу, поступил в Институт имени Лесгафта. Но не понравилось — бросил.

А тут объявление. Приглашают на курсы: окончишь — сможешь участвовать в экспедициях Академии наук. И вот юноша уже на Памире. Высота — 4200 метров. Верблюды подняли туда юрты и научное оборудование. За верблюдом утвердилось прозвище «корабль пустыни», а оказалось, что это неприхотливое животное с широкими мягкими стопами еще и «корабль гор». Экспедицию возглавлял Н. П. Горбунов. Николай Петрович был одним из ближайших сотрудников В. И. Ленина в Совнаркоме, а в последующие годы, будучи геохимиком, посвятил себя науке.

Памир еще только начинали изучать, и внимание Академии наук привлек ледник Федченко, самый крупный в СССР: длина 86 километров, толщина льда местами до

восьмисот метров. Исследования гиганта приурочили к программе второго Международного полярного года, который был только что объявлен.

В экспедицию отобрали людей отменного здоровья, но и здоровяк, как рассказывает Федоров, на такой высоте похож был на рыбу, вытасненную из воды: «Разинешь рот, а дышать нечем! Пройдешь сорок — пятьдесят шагов и ски-саешь, надо посидеть. А когда зазимовали — совсем беда: морозы, вьюги, белая пелена перед глазами — измаеться, пока снимешь показания приборов. Но работали как демоны в заоблачной выси! Очень я себе нравился».

Страна остро нуждалась в электроэнергии, и на Волге запроектировали гидростанцию, каких еще не существовало. Даже Гранд-Кули в США — «электрическая королева мира» — должна была уступить ей в мощности.

Как ни странно, Волга была слабо изучена. А чтобы построить гидростанцию, надо знать о реке все. Начались исследования. В числе исследователей — Федоров. Работает увлеченно. Его — и не только его — поражает огромность испарения могучей реки. В жаркий день с квадратного километра поверхности улетучивается в воздух до ста тонн воды. Федоров сообщил эту величину расчетчикам, и ее исключили из общего количества воды, которая будет вращать турбины станции. Это только один из примеров работы самоучки-гидрогеолога.

Волга, как известно, впадает в Каспийское море. А если встанет поперек нее плотина — как это отзовется на жизни моря? Новые проблемы — и Федоров в группе гидрологов, ихтиологов, метеорологов уплывает на Каспий.

Его увлекает в жизни богатырское. Вот он уже за Полярным кругом, на Колыме. Край вечной мерзлоты пробуждается, в недрах его несметные богатства, но, чтобы овладеть ими, необходим источник энергии. Проектируется и здесь гидростанция. Федоров в числе ее зачинателей. После Памира к морозам и вьюгам не привыкать. На Волге и Каспии углубились его знания гидролога. Но ледяной покров Колымы нарастает за зиму до трех метров, чего, конечно, не случается на Волге. А каков здесь паводок — все сметает с берегов прочь... Радостным был труд — обуздать эту реку-дикарку.



В возрасте тридцати двух лет Владимир Петрович Федоров пришел ополченцем в батальон. На военной службе не бывал, но с обстановкой быстро освоился.

Определил я гидрогеолога во вторую роту, к Коробкину. Увлёкся он минноподрывным делом. Однако военных порядков не признавал: «Ни подчиняться не желаю, ни свою волю людям навязывать!»

Но война есть война. В роте погиб в бою взводный командир. Решили поставить Федорова. Прочел он приказ по батальону — и опешил. Но не кинулся, как я ожидал, буянить. Притих, задумался. От приказа в боевой обстановке не откrestiшься, надо браться за дело...

Впоследствии Федоров говорил: «Никогда в жизни ничего не пугался. Начальства не признавал. Выговоры на меня не действовали. Работу делал такую, какая самому интересна. А тут, как подчинили мне людей, стало страшно. Ведь не за прибор — вертушку или термометр, — за жизнь человека в ответе! Дрожал, как цуцик...»

Зимой того же первого года войны Федоров был тяжело ранен. Врач Козик назначила его в эвакуацию из Ленинграда. Во взводе с Петровичем расставались как с родным человеком. Превозмогая страдания от пробитого разрывной пулей легкого, он приложил к губам гармонику, попытался что-то сыграть... Не вышло.

Тогда он передал гармошку одному из бойцов, и тот по его просьбе сыграл «Катюшу».

Федорова увезли. А его взвод и при новом командире остался в батальоне одним из передовых.

К декабрю сорок первого сгустился мрак блокады. Казалось, не столько вражеский огонь, сколько голод косит бойцов. Сделавшись кадровым, батальон помолодел, но и молодые бойцы при свете дня выглядели старичками. Никто не побежит, не схватится бороться, не услышишь в батальоне и громкого голоса.

Ждали ледовой дороги через Ладожское озеро. Рассчитали, что дорогу можно открыть при толщине льда минимум в 200 миллиметров. Но медленно, очень медленно нарастал лед. Ждать было мучительно, ведь голод что ни день уносил жертвы... И не дождались двухсот — рискнули, пустили к Ленинграду для пробы конный обоз при ста восьмидесяти. На дровнях лишь по два мешка продуктов. Возчик шагал рядом. А впереди тридцатикилометровый

путь, над которым рыскают фашистские самолеты. И не весь караван достиг Ленинграда... Через два дня по следу лошадей покатила едва загруженная грузовики, и все же несколько машин затонуло. С 23 ноября по 1 декабря смогли перевезти на лошадях и автомобилях всего 800 тонн муки...

Прошло немало времени, пока зимний путь через Ладогу обрел право называться ледовой Дорогой жизни.

Живем среди снежных сугробов. Коленями и бедрами собственных ног пробиваешь в снегу дорогу. Способ передвижения для ослабших людей нелегкий. Поутру, когда бойцы с котелками направляются к кухне, снегоочистителем шагает который покрепче.

Каждую ночь, идя на передовую, саперы проходят мимо танка. Этот танк еще до снега занял позицию на перекрестке важных дорог и оказался в соседстве с батальоном. Танк зарылся в землю. Теперь и над ним сугроб. Идут саперы, а танкисты выглянут и пускают вслед приятелям острое словцо для согрева. Себя и свой танк под сугробом они в шутку называли снежной бабой с начинкой.

Танк в засаде — это КВ. Тяжелые танки КВ были построены в нашем городе и нанесли серьезный урон врагу. Конструктор — молодой заводской инженер Жозеф Яковлевич Котин, которому тогда же, в 1941 году, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Очень редкий случай для того времени. А Жозеф Яковлевич продолжал строить все более совершенные и грозные боевые машины.

После разгрома фашистской Германии потребовались машины для мирных полей — более совершенные, чем прежде. И Жозеф Яковлевич Котин стал участником создания знаменитого трактора К-700.

А пока... Пока зима 1941/42 года. И однажды так завьюжило, что за ночь в расположении войск исчезли под снегом все дороги: ни боеприпасы подвезти, ни эвакуировать раненых, ни людей накормить...

... По боевой тревоге саперные части армии вышли на расчистку снега. В батальоне из грузных бревен скотили треугольник в ширину дороги, и трехтонный грузовик, са-

мый мощный в автопарке батальона, поволок самсдельный снегоочиститель в поле. . . Рзвел мотор, кашлял от негодного горючего — но за треугольником все же получалась гладкая дорога — приятно пройтись.

. . . И тут, во व्यожном поле, — встреча. . . Немало горьких встреч на фронте, но эта. . . Обескураженный, я замер. Встретился артиллерийский полк. Случалось мне наблюдать этот полк в первые дни войны, а глаз у меня, старого военного, придирчивый. Но видел я отлично слаженную, высокой культуры, воинскую часть. В полку орудия на конной тяге. Это имело свою ценность, особенно здесь — ведь боевые действия порой приходилось вести на приневских низинах. Кони способны лихо развернуть орудия на такой позиции, где механическая тяга увязла бы. Ах, что это были за кони! Рослые, с могучей грудью. Шея дугой. А ноги такие мохнатые, будто над копытами у коней морские клещи. Идет четверка этаких красавцев, пританцовывает — словно и тяжесть орудия ей нипочем, — азартно разбрасывает с удил хлопья пены. . . Даже танкисты, даже летчики, на что уж люди моторизованные, и те встречали и провожали полк восхищенными взорами.

Было это каких-нибудь три-четыре месяца назад. А сейчас, увидев полк, я глазам не поверил. В артиллерийских упряжках на месте коней сами артиллеристы. Одни, толпой облепляя дышло, тянут орудие, другие, теснясь позади, наваливаются грудью на ствол или руками, обернутыми в тряпки, помогают вращаться орудийным колесам. Лица у бойцов изможденные, с глубокими темными глазницами — печать блокадной голодовки. А кони — широкогрудые мохноногие кони, — где же они?

. . . И все-таки орудия двигались в строгом порядке, безостановочно, выдерживая уставную дистанцию. Сказывалась прежняя выучка людей, но каких невероятных усилий стоило это им — можно было только догадываться.

Впереди полка колыхалось развернутое знамя. Под знаменем с высоко поднятой головой шагал командир артполка. Суровый взгляд его выражал и гордость за своих артиллеристов, и в то же время затаенное страдание.

Прокаленные морозом стволы орудий казались пушистыми. Все артиллеристы, и молодые и старые, одинаково выглядели седоусыми и белобородыми. Шинели от клубившегося в тесноте дыхания густо заиндевели. И стоило полку

совсем немного удалиться от нас, как и орудия и люди растворились в снежном безбрежье. Только алая капелька знамени как бы продолжала плыть в воздухе...

— Опусти же руку!

Это комиссар пробудил меня от дум. И в самом деле рука моя, словно забытая, продолжала отдавать честь полку.

Комиссар повернулся к грузовику с треугольником.

— А ну, заснули там! Давай газу, волочи бревна!

Я удивился грубости окрика, совсем несвойственной Владимиру Васильевичу.

Мрачные дни блокады...

Декабрь. Глотаем чугунные гири. Впрочем, при некотором воображении можно распознать в этом тяжелом черном комке порцию хлеба: по глиняной вязкости. Проглотишь — и только взбудоражишь желудок. Никакой сытости. Спешешь похлебать горячего супу. «Покушайте, — говорил неунывающий старшина Гулевский. — Нынче в супе пошено. Незаметно? Набыть, пошенички удирают от ложки. Как инфузории!»

Бывший грузчик почитывал в батальоне научно-популярные книжки, и ему нравилось щегольнуть вычитанным словом.

Врач Козик — ночной гость в землянках и бараках. В сопровождении дежурного сержанта она вдвоем с фельдшером Олей Сергеевой обшаривает постели. Саперы после изнурительной своей работы спят беспробудно. Вот цепкой своей рукой Козик из-под подушки извлекла кисет. У другого кисет оказался под матрацем, у третьего Оля вытряхнула из скинутого сапога... Это кисеты не с табаком, пообъемистее табачных: в них соль. Бойцы повадились где-то раздобывать соль и едят ее столовой ложкой. Возбуждается жажда. Набуливается человек воды — и желудок уже не пуст. Возникает ощущение, близкое к чувству сытости. А сам отекает.

Наутро врач подает рапортичку: столько-то человек ее властью освобождено от выхода на боевые задания. И чем дальше в глубь зимы, тем больше забракованных врачом. Я теряюсь, негодую, втолковываю врачу, что мы не санаторий для отдохновения, а воинская часть, что знать не знаю рапортичек: для меня высший закон — приказы о наращивании минных заграждений в армии, к которой мы вместе с нею имеем честь принадлежать!

В эти минуты Козик глядит на меня так, словно по врачебным своим соображениям готова и меня уложить в постель.

— Вы свободны! — спешу я выпроводить врача.

Саперы выходят на передовую посменно: ночь на минировании — ночь отдыхают.

— Подъем! — подаю я голос около полуночи и томлюсь на морозе ожиданием, пока дежурные растолкают спящих. Наконец недоспавшие зябкими кучками появляются на снегу... Переключка, построение — и с грузом мин на салазках открывается шествие, куда как далекое от воинского строя...

Присоединяюсь к взводу, который выглядит послабее. Другой взвод сопровождает командир роты, следующий — ротный политрук, четвертый — комсорг. До передовой — шесть-семь километров. Временами на нашем пути рвутся снаряды, поэтому шагаем не колонной, а отдельными группами.

У фашистов беспокойно. Обложили Ленинград, прячутся в бетонных дотах и капонирах, а сами трусят: по передовым их траншеям неусыпно расхаживают дозорные с пистолетами-ракетницами. В ночном небе пронзительно белым светом вспыхивают горячие цилиндрики и медленно-медленно опускаются на парашютах. В радиусе метров пятидесяти — шестидесяти от осветительной ракеты несколько минут царит день. Не успевает погаснуть одна ракета, как на смену ей в небе уже другая. И так всю ночь по всему фронту. Освещаемая местность, разумеется, под прицелом пулеметов, минометов, да еще контролируется в бинокли офицерами.

Парашютики немецких осветительных ракет из тонкого шелка, расправишь — квадрат, и саперы (как известно, кавалеры галантные) дарят их нашим девушкам. Вся женская часть батальона с шелковыми носовыми платочками.

Шагаем. Изредка кто-нибудь из бойцов, хватаясь за грудь, просит разрешения отдохнуть. Такого оставляем: я разрешаю бойцу отправиться обратно в батальон или дожидаться, когда мы, возвращаясь, прихватим его.

Рота уже втянулась в ритм похода, а дисциплинированный шаг и силы поддерживает. Отстающих больше нет, салазки с минами, поскрипывая полозьями на морозном снегу, тянутся вслед.

Настроение у меня повышается. Можно и пошутить с

бойцами. Конечно, впереди опасность, но тревожит она меня не больше, чем легкая щекотка. Впрочем, и от чувства щекотки лучше отвлечься. Впереди зрелище, которое всегда меня озадачивает: видимый полет светящихся пуль не согласуется ни с какими законами физики. Летит этот светлячок по прямой — и вдруг делает зигзаги, а то еще взбрыкнет — и в сторону... Словно какой-то невидимый геометр чудачит... И ведь знаешь, что все эти странные фигуры в небе среди звезд — иллюзорны, а сути дела понять не можешь...

Возвращаемся героями: дело сделано — и ни одного погибшего сапера. Раненые не в счет, да и салазки свободны: трудно идти — товарищи подвезут... Вдруг пугливый женский вскрик:

— Ой, Пеньков-то замерз, ожидаючи!

Боец лежит, опрокинувшись навзничь, щеки, лоб в белых пятнах — поморожены... Спешу открыть флягу с водкой, но сандружинница отстраняет меня. Распихивает свою объемистую медицинскую сумку, там у нее более действенное средство — чистый спирт. Сажает человека, подпирая его коленом, разнимает отвердевшие губы, вливает спирту в рот и принимается спиртом же растирать лицо. Бойцы, помогая ей, мнут, тормозят неподвижное тело... И вот Пеньков открывает глаза, что-то бормочет...

Общий радостный вздох.

— Жив, черт тебя дери! — отступает от него девушка. — Напугал только!

Пенькова погружают на салазки.

Брезжит рассвет — и среди людей нарастает оживление: скоро мы дома. Каждый согрется кружкой кипятку да проглотит свою гирьку — порцию хлеба или разделит ее, чтоб было и на обед, и на ужин... Однако я, командир, поем посытнее. У меня дополнительный паек — не ахти что, но все же поддержка: полпачки печенья, граммов двадцать сливочного масла или сыра в хрустящей упаковке, пачка папирос, иногда баночка консервов. Выдается все это раз в месяц, — но не только мне, командиру батальона: каждый в звании лейтенанта и выше имеет по закону этот паек.

Справедливо ли такое неравенство в питании: рядовому красноармейцу меньше, командиру — больше?.. Тем бо-

лее что воинский труд его требует неизмеримо больше калорий, чем труд командира.

В каком-то полку появились отказчики от командирского пайка. Раздают его бойцам. Следовать ли такому примеру? Идут споры. Вспомнил я себя в гражданскую войну, на бронепоезде «Гандзя». Перед ведром с борщом были все равны: и я, командир, и Малюга, и матрос Федорчук, и бойцы. Садился в кружок, и каждый по очереди степенно запуская ложку в ведро. Сообразно аппетиту, и куски мяса вылавливали. А хлеб пшеничный (там наш ржаной не принят) — это же пышность, аромат, объединение! Ну, и наворачиваешь его, бывало, за обе щеки под одобрительные взгляды товарищей... Но то Украина, там и в девятнадцатом году не голодали... А сейчас — в блокированном Ленинграде?..

Голодно... Но я не считал себя вправе лишаться командирского пайка. Держался закона. И комиссар свой паек не отдавал.

Владимир Васильевич рассуждал так:

— Сдается мне, что командир-отказчик — из тех, кто не очень уверен в своих командирских способностях. Эти недозрелые командиры, не понимая солдата, шарахаются из стороны в сторону от правильной линии руководства: то сыпят без разбора взыскания, то держат себя таким миротворцем-христосиком... Мы с тобой, комбат, в свое время на уроках закона божия — ты в реальном училище, я в гимназии — зазубривали, что Христос одним караваем хлеба ухитрился накормить толпы голодных своих почитателей... Верно?

— Так там святость была, — отозвался я. — Эх, комиссар, вот бы нам за раздаточные хлебные веса Христа посадить вместо Чирка!

— Ладно, — отмахнулся Осипов, — шутить потом будем. Я ставлю вопрос всерьез. Командир-отказчик своим пайком не только роте, даже взводу не утолит голод. Тут и самому-то на разовый ужин, чтоб досыта. А если разделить на тридцать ртов или на сто с лишним? Только смех возбудишь и досаду... Нет, такими подачками не завоевывают уважение бойцов.

— У нас с тобой общие мысли, — сказал я Осипову. — Всякий красноармеец отлично понимает, что командир уже не командир, если он свалится от голода. В бою это трагедия.

Из штаба батальона на наш с комиссаром разговор

собрались и другие свободные от службы командиры и политработники. Осипов задержался с ними, а я вернулся в землянку. Как раз был день получения командирского пайка.

Гляжу — пачка с печеньем почата, в коробке не все папиросы. . .

— Ваня, — позвал я, — это ты принес паек?

Связной заусердствовал, раздувает огонь в печурке. Но я поднял его к столу:

— Что это значит?

Глаза парня метнулись в сторону — будто даже с лица исчезли. А сам выпалил:

— Мышей полно в землянке, товарищ командир, деваться некуда!

— И что же — пищат мыши?

— Бывает, попискивают. . .

— Что-то не замечал я мышиного писка. Вот что, товарищ связной, давай уговоримся: научи своих мышей хоть папиросы у меня не растаскивать!

Декабрь. . . Сообщение Совинформбюро. Рвавшиеся к Москве немецко-фашистские войска — прогремело по радио — остановлены. Красная Армия контрударами отбрасывает захватчиков прочь от столицы. . .

Ошеломленные, мы с комиссаром, проснувшись и еще сидя в постелях, во все глаза глядели друг на друга. Не было слов выразить радость, подаренную нам Москвой. Мы бросились друг к другу и обнялись.

В торжественном молчании встали, умылись, оделись, сели к столу. Комиссар налил две кружки кипятку; как всегда, насыпал мне и себе сушеной и несколько обугленной морковки (блокадный суррогат чая) и только тут заговорил:

— Произошло, комбат, событие, на которое откликнется весь мир. Европа, оказавшись под фашистским сапогом, до сих пор и пикнуть не смела. Средством подавления воли и сознания народов, наряду с пытками и казнями, был миф о непобедимости вермахта. Его усердно раздували Гитлер и Геббельс. И вдруг сосредоточенные под Москвой советские пушки и танки бац-бац — и миф засмердел и лопнул. «Непобедимые» наклали в портки и драпают. Сдается мне, что теперь, глядячи на нас, сама Европа шевельнется, доставит рейху хлопот. . .



Молодец Осипов. Умеет политически заглянуть в глубь вещей!

— Гляди-ка,— говорю,— как ты спроворил. Не успели почаяевничать, а у тебя уже готовы тезисы для митинга в батальоне!

Комиссар на мои слова заулыбался, довольный.

— Вот ты, комбат, и выступишь. Уступаю тезисы тебе.

А тем временем саперы уже успели по-своему откликнуться на победу под Москвой. Одна из наших рот, отведенная на отдых во второй эшелон, промаршировала там с песнями... Случай невероятный. Бойцы, чтобы не растративать силы, ходят как в замедленном кино и говорят-то вполголоса, не то что петь...

Передо мной Иван — связной. Принес новость: «Саперы поют!» — и кинулся пить воду, разгоряченный. Взволновал и меня. Я усадил его перед собой:

— Ваня, а ты сам слышал, что саперы запели? Или кто-то сказал?

Парень глянул на меня, вспыхнул — видать, нацелился сдерзить, — но тут загудел зуммер полевого телефона. Я схватил трубку.

— Примите телефонограмму...

Гляжу — от самого командующего армией генерала Свиридова.

А в телефонограмме — благодарность саперам. Сказано: «...за то, что вернули в строй песню, это тоже предмет вооружения, необходимый бравому солдату...»

Тут я, совершенно безголосый, чуть сам не запел.

Вспомнилось утесовское: «Нам песня строить и жить помогает!»

Текст телефонограммы следовало к сведению всех саперов опубликовать в приказе по батальону.

— Ваня,— обернулся я к связному,— которая из наших рот с песней прошла?

Парень шумно засопел:

— Вы же мне не верите!

Я искренне и по-дружески извинился перед парнем. Угостил его «Беломором», и мы, дымя приличным еще табаком, раскурили «трубку мира».

И в честь победы под Москвой было угощение... Впрочем, не то слово. Слишком скромно сказать: угощение... Лукуллов пир? Тоже не подходит. Люций Лукулл, этот римский полководец, не прославился победами. Но вот

уже две тысячи лет не угасает весть о пирах, которые он задавал. «Лукуллов пир» на языках всех народов стал синонимом роскошества за столом, когда объедались и упивались до беспамятства... Но что лукуллов пир! Бледная копия по сравнению с банкетом, какой состоялся в батальоне.

Из глубины продовольственной кладовой, где висели замки (дополнительные к наружным), схваченный бережно за ушки, шурша выполз коричневый мешок. Он был из прочной многослойной бумаги. В светлой части кладовой для него очистили стол. Почетные зрители из рот и штаба батальона — число их ограничил комиссар — в беспокойстве, чуть не вздрагивая, следили за каждым движением рук помпохоза. А Чирок от чрезмерных стараний и в самом деле был сегодня неловок. Даже капельки пота усеяли его лицо — а ведь мороз, и дверь наружу для света открыта.

Наконец мешок на столе. Чирок передохнул, тут и все позволили себе пошевелиться... Однако пора сказать, что это за мешок. Это НЗ — неприкосновенный запас воинской части: каждый военный человек поймет, что это значит — пустить в расход НЗ.

Чирок раскрыл перочинный ножик, но тут же рука с ножом упала, словно вдруг отяжелела. Он боязливо взглянул на комиссара:

— А можно резать? А если... трибунал?

— Действуй,— твердо сказал Осипов.— Есть разрешение Военного совета армии. Я отвечаю.

Перочинный нож как ни тыкался в мешок — разреза не получалось.

— Ну, совсем раскис,— с насмешкой заметил комиссар.— Посторонись-ка! — И он вспорол мешок кинжалом. (С недавних пор к вооружению командного и политического состава в блокированном Ленинграде добавился кинжал с бугорчатой, чтобы не скользила рука, рукоятью.) Вспорол — и растянул бумагу в стороны...

В мешке оказались сухари. Ржаные. Привлекательнейшего вида — светло-рыжие, близкие по цвету к меду. Распространился аромат, каждый спешил его вдохнуть. Вдыхаешь, вдыхаешь — и не надышишься... Все дивились, что так празднично может пахнуть ржаной хлеб...

— Голову на отсечение,— объявил капитан Короб-

кин,— хлебы для сухарей НЗ испечены по старинной рецептуре!

Комсорг батальона Якерсон, историк, тотчас догадку облек в сюжет:

— Не то читал, не то слышал... Да, да, это говорится в летописи... Будто Александр Васильевич Суворов перед альпийскими походами зашел в солдатскую пекарню, снял мундир, подпоясался чистым фартуком, насыпал в корчагу ржаной муки, самолично поставил тесто и принялся месить его своими костисто-сухими, но крепкими еще руками.

Месит, месит, а вытянувшийся в струнку пекарь не смеет слова сказать, страдает. Это же ему в науку генералиссимус обеспокоился. Наконец не стерпел:

— Умаетесь, ваше сиятельство... Дозвольте, я сам.

А Суворов скороговоркой:

— Того и надо, пекарь, чтоб силушку свою обессилить, в квашне растворить,— только тогда хлебы вылезут из печи на славу!

Тешатся почетные зрители байками, а на столе уже весы — пошла развеска сухарей.

За первым мешком распороли второй, потом третий... Вызванные старшины рот принимали скромные тючки сухарей и не солдатским словом благодарили, а отвечивали глубокие, на древний русский манер поклоны. Первым махнул головой чуть не до земли Гулевский.

В этот день мы не глотали чугунных гирек — гирьки были только на чашке весов в кладовой.

Владимир Васильевич Осипов, перед тем как идти на митинг, сказал мне:

— Ты, пожалуй, не выступай с речью. Ораторов набирается, как никогда. А побереги силы, расскажешь саперам о ГОЭЛРО. Как раз к дате. Ведь тоже был декабрь, когда Восьмой съезд Советов утвердил этот ленинский план.

После митинга, в час самодеятельности, я и выступил перед саперами — прочитал свой рассказ. Вот он.

### *ЧАШЕЧКА КОФЕ*

Это было в Москве. Адрес Глеба Максимилиановича Кржижановского я узнал в Академии наук.

Жил он в кирпичном доме старинной постройки на бе-

регу Москвы-реки. Красный когда-то фасад дома побурел от коптящих труб расположенной рядом МОГЭС. Еще до революции, молодым инженером, Кржижановский работал на этой электрической станции. Тогда же он и поселился здесь в тесной квартирке.

Глеб Максимилианович Кржижановский известен советскому народу как крупный деятель партии, возглавлявший разработку плана ГОЭЛРО. Но мало кто знает, что он всю жизнь прожил все в той же квартирке, не очень благоустроенной, с окнами во двор. От предложений переехать в лучшее жилище он отказался — из скромности, из нежелания воспользоваться своим высоким положением в государстве.

Взошел я на каменное крылечко, прошарканное за многие годы до ямок. Гляжу на кнопку электрического звонка — а нажать не решаюсь.

Мне очень хотелось увидеть этого замечательного революционера и ученого, соратника и личного друга Владимира Ильича Ленина, к тому же у меня, литератора, было и дело к Кржижановскому. Но, с другой стороны, вправе ли я беспокоить уже очень старого и больного человека? Совесть моя смущалась...

«Нет, не имею права беспокоить!» — сказал я себе... и нажал на кнопку звонка.

За дверью послышались неторопливые мягкие шаги. Щелкнул замок — и на пороге... Да это он сам — высокий, сухошавый, с седой головой и седой же остренькой бородкой. Я узнал его по портретам, которые попадались в газетах и журналах. В живых карих глазах, которые как бы наперекор сединам выглядели удивительно молодо, — деликатное любопытство: «Кто вы такой и зачем ко мне?»

— Здравствуйте, — поспешил я кивнуть головой и попросил принять меня. — Если возможно, — добавил я умоляюще.

Кржижановский склонил голову набок:

— У вас какое-нибудь дело ко мне?

И едва я сказал, что изучаю зарождение и историю электричества в Ленинграде, как был дружески взят за талию. В передней Глеб Максимилианович отобрал у меня из рук пальто и сам повесил на колок вешалки. Отобрал шапку. Зажег свет перед зеркалом и выждал, пока я почувствовал себя вполне готовым, чтобы войти в комнаты,

Маленький кабинет — точнее, рабочий уголок в комнате, где главенствовали обеденный стол и старинный буфет.

На письменном столе, среди раскрытых на закладках книг, — лист рукописи. К чернильнице прислонено еще необсохшее перо.

Я стал извиняться за вторжение и попросил назначить мне для беседы другой день, посвободнее.

Глеб Максимилианович наклонился к карманным часам, которые лежали раскрытыми на столе.

— Да, у меня срочная статья... — Раздумывая, он коснулся пальцами бородки. — А вы москвич? Можете подождать?

— Я приехал из Ленинграда, Глеб Максимилианович. Но, разумеется, подожду.

Кржижановский лукаво прищурился и рассмеялся:

— Голубчик, зачем же вам проедаться? В Москве деньги тают, как снег на припеке... Садитесь. Будем разговаривать. А через час я вас спугну!

Раскрыть блокнот — это мгновение. Я принялся записывать большие и маленькие случаи из деятельности большевистского подполья на электрических станциях Петербурга и Москвы.

Далекое, еще царские времена... Кржижановский в Петербурге, инженером на электрической станции Сименса. Приходит к нему человек, называет себя слесарем, просится на работу. Но это не слесарь. Это большевик С. Я. Аллилуев, присланный сюда партией.

Кржижановский поджидал этого товарища, но нельзя, чтобы кто-нибудь заподозрил, что на электростанции зарождается большевистская ячейка.

— Слесарь? — переспрашивает молодой инженер. — Очень кстати. — Он говорит нарочито громко, чтобы его услышал не только пришедший. — Но мне на станции, — продолжает Кржижановский, — нужен слесарь первой руки. Сдадите пробу.

Аллилуев встает к тискам. Кржижановский шепчет: «Принимайтесь за работу», — и дает скоблить рашпилем какую-то железку для отвода глаз.

В это же время пробу для Аллилуева тайно готовит другой.

А потом Кржижановский объявляет — опять-таки во всеуслышание: «Отличное мастерство!» — и зачисляет Аллилуева на работу.

Я спешу записывать. Воспоминания следуют одно за другим. Кржижановский оживлен, глаза его полны смеха.

— А петербургского городского помните? Монумент, изваяние на площадях и улицах, главное украшение императорской столицы! А шпигов из охраны знавали? Хороший нюх, как известно, у собак. А у этих гороховых пальто был сверхсобачий!

И вот — новый случай из далекого прошлого... Та же электростанция в Петербурге, но квартира Кржижановского уже на подозрении. Молодой инженер в чем-то не уберется, сплосал по части конспирации, — а на станции нашелся секретный агент, который мигом донес на инженера. Последовал обыск, и лишь по счастливой случайности жандармы ушли ни с чем.

Но в квартире уже ничего не спрячешь. А в подпольной работе не обойтись без нелегалщины, то есть революционной, большевистской литературы. Где же ее хранить?

Много укромных мест в помещении электрической станции. Но ведь где-то тут и агент, донесший на Кржижановского... Прямо жить не дают филеры, нарушают партийную работу!

Задумался молодой инженер. Думал, думал — да и рассмеялся удачной мысли: «Самому литературу не уберечь — так доверю ее силам электричества: вольтам и амперам!»

И стал Кржижановский держать литературу в железных шкафах на улицах. Это — трансформаторные будки. В них всегда пугающее прохожих ворчливое гуденье, а на дверцах — череп и перекрещенные кости. Адский знак! Городового или шпики к такому шкафу силой не подтащишь!

Важно еще то, что ключи от шкафов находились в руках Кржижановского. Ведь трансформаторы! Высокое напряжение! Поэтому за шкафы и отвечал инженер.

Эта «железная мебель» на улицах Петербурга в то время очень помогла большевикам.

Глеб Максимилианович хохочет — он и сейчас радуется своей давнишней остроумной проделке. Потом говорит серьезно:

— Это Владимир Ильич учил нас конспирации. На каждом шагу учил. Конспирация была одним из его замечательных талантов...

В столовой неслышно появилась пожилая женщина с пуховым платком на плечах. В руках она держала скромный букетик тюльпанов.

Оживленный, весь в пылу воспоминаний, Глеб Максимиланович не заметил вошедшую. Впрочем, она тут же укрылась в тень простенка между окнами.

На лице у женщины — беспокойство. Таясь от Кржижановского, она стала делать мне знаки: «Мол, пощадите человека, он же болен, хватит уже, уходите!»

Я понял, что засиделся, и с виноватым видом кивнул в ответ.

Глеб Максимилианович перехватил мой взгляд и обернулся:

— Ты что, Зинуша?

Женщина медленно двинулась из своего тайника. Подошла к письменному столу. На краю его сияла гранями хрустальная вазочка с веткой уже увядшей розы.

— Я только переменить цветы.

Легким движением она откинула в стороны концы платка, освобождая руки, — и в вазочке зарделись тюльпаны.

Больше она мне не делала знаков. Ушла, видимо, положившись на мою деликатность.

Надо прощаться. Засиживаться дальше уже было бы просто нахальством.

Однако, когда я попытался встать, Кржижановский обеими руками нажал на мои плечи и удержал меня на стуле.

Был рассказан еще какой-то эпизод — только я уже не уловил его сути.

Меня взволновала догадка. «Зинуша», — сказал Кржижановский. Ну конечно же это — Зинаида Павловна Невзорова, его жена. Как это я сразу не смекнул? Но ушла — теперь мне и слова не сказать отважной революционерке. Совсем недавно в музее Ленина я разглядывал фотогруппу агентов «Искры». Все молодежь. И среди других там портрет Невзоровой.

Хрупкая когда-то девушка с отважным сердцем... подруга Надежды Константиновны Крупской. Обе пошли учительствовать в воскресную школу для рабочих в Питере, за Невской заставой. А на уроках тайно вели революционную пропаганду. Работали девушки беззаветно и весело, хотя понимали, что вознаграждением может быть только тюрьма.

Это было в конце прошлого века. Там же, за Невской заставой, обе девушки встретились с Лениным...

А я-то даже не успел разглядеть Невзорову!

Но задерживаться, к тому же будучи незванным гостем, становилось неприлично.

— Глеб Максимилианович... — я кивнул на раскрытые на столе часы. — Пора меня спугивать.

Кржижановский в ответ усмехнулся и нажал пальцем на серебряную крышку. Часы захлопнулись.

Глеб Максимилианович обратил мое внимание на столик с телефонным аппаратом. Помолчал, потом сказал со вздохом:

— Былых времен немой свидетель...

Это был старинный Эриксон, громоздкий, на высокой подставке, напоминавшей своим видом Эйфелеву башню. Чтобы привести аппарат в действие, надо было сперва покрутить приделанную сбоку ручку.

Эти аппараты, изготовлявшиеся в Швеции, появились в России еще до революции и теперь доживали последние дни. Вот и у Кржижановского на круглом столике, потеснив Эриксона, занял место аппарат с диском. На аппарате еще наклейка с пломбой, его нельзя трогать — но он уже готов к включению в автоматическую сеть.

Но Глеб Максимилианович как бы не замечал новинки. Он продолжал смотреть на старенький аппарат.

Темные глубокие глаза его стали как бы еще глубже. На морщинистом лице, вокруг губ, резко обозначилась складка горечи.

— Сюда, по этому телефону, много раз звонил Владимир Ильич. А я и не записывал разговоры — простить себе этого не могу! Какое богатство упущено — ленинских мыслей, идей... Теперь стараюсь, что по силам, вспомнить. Случалось, конечно, и смешное — и как заразительно он хохотал! Послушайте напоследок один разговор наш — и распрощаемся.

Кржижановский заговорил о двадцатом годе. Гражданская война, разруха. С топливом — беда, с электрической энергией — и того хуже. Многие заводы и фабрики стояли. Поезда сбивались с расписания: добудет машинист дров — только тогда и поехали. Деревня бедовала без соли, керосина, сахара. В светце лучина. Города, даже Москва, почти без света. Электрические лампочки порой лишь мерцали полураскаленной нитью.

И в эту беспрсветную пору Владимир Ильич собрал ученых.

Воодушевленные Лениным, его верой в будущее России, ученые принялись за расчеты. Это был план преобразования страны на социалистический лад. Чтобы города и деревни были залиты морем электрического света, чтобы



тяжелый физический труд с плеч рабочих и крестьян был бы переложен на электрические моторы, чтобы электрические моторы потащили и поезда, чтобы электричество у нас, в Советской стране, стало бы помощником, другом и отрадой человека.

Многим все это казалось лишь сладостным сном...

Рабочих набрать можно, но они голодные и лопату не поднимут. Кроме того, потребуется очень много подвод — возить землю, камень. Лошадям нужен корм — а где у нас овес, сено? Наконец, для электростанций требуются машины, которые умеют делать только за границей... «Нужен миллиард рублей золотом, чтобы осуществить план ГОЭЛРО,— подсчитали экономисты,— иначе он останется на бумаге». А в нашей тогдашней казне, как говорится, хоть шаром покати...

Прослышав про ленинские планы, в Москву из любопытства приехал английский писатель Герберт Уэллс. В своих книгах он создавал фантастические миры. Но то, что затевали большевики, заставило его лишь рассмеяться.

— Кремлевский мечтатель,— сказал о Ленине Уэллс. Даже знаменитому писателю-фантасту не хватало фантазии, чтобы дотянуться до плана построения социализма в нашей стране.

— А для Владимира Ильича,— продолжал Кржижановский рассказ,— все было ясно. Он знал, что народ, вырвавшийся из рабства капитализма, захочет построить для себя новую, счастливую страну. Что голодные, разутые люди пойдут на стройки с песнями. Что в труде покажут чудеса, каких еще не видел мир...

— В этот самый темный зимний месяц,— вспоминал Кржижановский,— с электроэнергией в Москве стало совсем никуда. Из труб МОГЭС повалил густой дым — я сам стоял у топок,— дополнительной силы станция набрать не смогла. Растопленные непросохшим торфом, котлы своим паром едва ворочали машины. Пришлось отключить ряд заводов и фабрик, чтобы дать свет приличного накала в Большой театр, съезду.

Вернулся Кржижановский домой. Привел в порядок конспекты, таблицы. И теперь сидел у телефона и ждал, не в силах справиться с охватившим его волнением. Ведь это он должен рассказать съезду о грандиозном замысле Ленина, да так рассказать, чтобы люди поверили, что план электрификации осуществим...

Зазвонил телефон. В трубке — голос Владимира Ильича, веселый, звонкий.

— Готовы, Глеб, к докладу? Главное — не волноваться. Владимир Ильич прислушался к ответам, и настроение Кржижановского, как видно, ему не понравилось.

Попросил передать трубку жене.

— Зинаида Павловна?.. Здравствуйте.— И тут же заинтересовался, есть ли в доме натуральный кофе.— Ответьте без стеснения, Зинаида Павловна. А то пришлю на заварку. У Надежды Константиновны еще кое-что сохранилось в баночке.

— Владимир Ильич,— засмеялась Невзорова,— мы и сами еще богаты. В кофейнице донышко еще не светится!

— Превосходно,— сказал Ленин.— Теперь отстраните Глеба, чтобы он не слышал меня, потому что я вступаю с вами в разговор. Слушайте внимательно... Заварите чашечку покрепче. Только небольшую — именно чашечку! А я высылаю автомобиль. И как только нашему докладчику ехать — дайте ему выпить кофе. И все будет в порядке!

Кржижановский плохо запомнил, как он ехал, как в театре выходил на сцену... Но вот он на трибуне, перед огромной, в золоте и потертом малиновом бархате, раковинной зрительного зала. Солдатские шинели, полушубки, армяки, едкий запах махорки... Тысячи внимательных лиц повернулись к докладчику.

Владимир Ильич, по своему обыкновению, не сидел на месте, а расхаживал — сторонкой, позади кресел президиума,— и время от времени, будто невзначай, оказывался около Кржижановского. Иногда подливал ему воды в стакан.

— Спокойнее, Глеб Максимилианович. И смелее — больше веса каждому слову. Ведь мы с вами убеждены, что коммунизм и электрификация неразделимы. Вот и работобустуйте!

На сцене декорация — задник, перекрашенный в карту Советской страны. Делая доклад, произнося диковинные названия несуществующих еще станций, Кржижановский оборачивается с указкой к карте. На месте каждой названной докладчиком станции загорается яркая лампочка. И уже вся карта в огнях! Будто не раскрашенная мешковина, а сама земля советская, за которую еще идут бои, улыбается посланцам народа из счастливого и близкого далека.

Делегаты бурно аплодируют. Рукоплескания ярус за

ярусом охватывают зал, достигают купола и лавиной обрушиваются на сцену.

Гремит «ура!». Ленинский план электрификации принят.

В один из блокадных дней в батальон поступил приказ: явиться на военную игру.

Игра? В декабрьских снегах блокады? Само это слово из лексикона мирного времени в моем сознании прозвучало нелепостью.

Комиссар усмехнулся:

— А ты еще ссадил в чистом поле бильярдный стол. Поставили бы шары, разыграли с тобой пирамиду, и воцарились бы у нас с тобой на КП мир и благоволение!

Позлословили, отвели душу. Но приказ есть приказ. Из текста следовало, что игра намечена командирская, — хоть на этом спасибо: бойцов не потревожим. Собрались на игру втроем: я с комиссаром и начальник штаба батальона — на этой должности прекрасно управлялся Лапшин, теперь уже старший лейтенант.

Лапшин отправился к армейскому начальству, чтобы получить карту района игры и выведать, если удастся, причину столь неожиданного для действующих войск занятия.

Возвратился Лапшин ошеломленный. Не сразу и выговорил:

— Игра на отступление... В глубь города...

— Что вы несете? — закричал я. — Опомнитесь!

— Повтори! — потребовал комиссар.

Оба мы, видать, настолько были страшны, что Лапшин попятился.

— Нет, нет, не отступление! Это только игра. На сокращение фронта обороны нашего южного сектора.

Тяжелое молчание. Развернули карту.

На карте поселок и паромная пристань Усть-Ижора. Места знакомые. Когда-то я высаживался здесь, неся знамя Николаевского инженерного... Но прочь праздные мысли... Спрашиваю Лапшина:

— Известны вам исходные позиции для военной игры?

Старший лейтенант показал здешний, левый берег Невы.

— Так, — говорю, — понятно, начинаем игру с района, который обороняем... — Мы с комиссаром переглянулись:

зловещее начало.— А дальше,— спрашиваю,— как развивается игра?

Палец ткнулся в противоположный, правый берег Невы... Все ясно, Лапшин не обманулся: игра на отход с нынешних позиций.

Игра — всего лишь игра... Но почему же так мучительно к ней приступить? Отдать без боя землю, где на каждом шагу и труд, и кровь, и могилы защитников Ленинграда... Подумать страшно, что затевается!

Но приказ есть приказ. Диспозицию, а затем и ход операции следовало на местности обозначить условно, расставив красноармейцев с плакатами. Квадрат фанеры с соответствующим знаком — это рота, взвод или машина с инженерным имуществом. С фанерками вступали в игру и пехотинцы, танкисты, артиллеристы, связисты.

Едва мало-мальски рассвело, как на исходных позициях все пришло в движение. Войска (условные) вышли на гребень высокого здесь и крутого берега. Как спуститься на лед? Соблазняет лестница, сбегаящая по откосу,— ею пользуются местные жители. Но хлипкая лестница развалилась бы, и понесла бы нас вниз сила земного притяжения — кого лежа, кого сидя, кого кувырком.

Кто-то выкрикнул:

— Переход Суворова через Альпы... Только задом наперед! Александр Васильевич наступал, а мы даем деру... Ура, братцы!

Отряхивая снег, я поискал глазами комиссара.

А Осипов, гляжу, лежит без шапки, без рукавиц, без одного валенка. Порывается встать и не может. Я — к нему. Послал вестового подбирать потерянное, а сам подал ему руку. Осипов сел.

— Зря мы не захватили с собой медицину,— говорю.— Может, Козик вызвать?

— Не надо,— возразил комиссар.— Хоть и ломота во всем теле, но посижу, отпустит... А ты не задерживайся, играй. Вон фанерки-то уже двинулись вперед. Я присоединюсь потом.

Внезапно перед нами как выросли капитан и лейтенант. Щеголевато одетые незнакомцы. Спрашивают, что случилось.

Гляжу, оба с повязками на рукаве. Посредники! Скандал... Вот запишут: «Комиссар инженерного батальона еще на исходной, не вступая в бой, выбыл из строя...» Одним духом повернулся я к посреднику спиной, заслонил

Осипова. «Спрячь шпалы,— шепчу,— застегни полушубок и молчи, молчи, сам скажу что надо, сойдешь за рядового...» Осипов, не понимая меня, только глазами моргал, и я, обламывая в спешке ногти, сам застегнул на нем полушубок до горла и еще воротник поднял.

Встаю, называю себя. Капитан кивнул лейтенанту, и тот застрочил в полевой книжке. Удрученный грозившими неприятностями, я и не рассмотрел толком, как выглядел этот капитан. Внешность не запомнилась, но зато бурки на нем... отдай все — и мало! Видать, теплые, но такие легкие на ходу, будто не из шерсти сработаны, а из пуха. Позавидуешь, когда у самого разношенные валенки как пудовики на ногах.

— Ополченец? — Капитан пренебрежительно кивнул в сторону упакованного Осипова. — Последний, так сказать, из могикан, и тот скovyрнулся?

— Обозник,— сказал я, сам не зная почему.

— Ах, даже так? — Капитан оживился. — Добросердечие к обозу в ущерб управлению действиями батальона? Я возмутился:

— А вы не забываетесь, капитан? Повязка на рукаве еще не дает вам права развязывать язык.

Лейтенант с треском перекинул страницу, продолжая записывать. Но тут произошло неожиданное.

— Хватит, комбат, в кошки-мышки играть!

Осипов стоял, опираясь на руку вестового, — гневный, в полушубке нараспашку.

— Я комиссар батальона и сам за себя отвечу! Так и запишите, лейтенант. Что вы так уставились — я не привидение. А расшибиться, к вашему, капитан, сведению, может каждый. И добросердечие в армии не порок! А что касается игры, то я и комбат тут ни при чем. Игра штабная, и за батальон играет наш начальник штаба, ему и карты в руки. Запишите его фамилию, товарищи посредники: старший лейтенант Лапшин. И до свидания!

Посредники молча удалились.

— Накормленными ушли,— усмехнулся Осипов им вслед. — Это же для них хлеб — обнаружить нескладницу. А я своим превращением им целый каравай подкинул... «Обозник»! — тут же вспомнил Осипов. — А ловко ты меня оформил, маскировщик! — И он захохотал.

Подхватило и меня. Стоим и хохочем, глядя друг на друга, до слез насмеялись.

Пошли мы с комиссаром вперед, к маячившему за снежной целиной берегу. Ясное морозное небо, солнце... благодать! Но как подумаешь о том, что обозначает этот переход через Неву,— вскипаешь от протеста, а ноги словно чугуном наливаются...

Проворство проявляли только посредники. Явно заинтересованные в игре, они мелькали тут и там.

— Слушатели какой-нибудь эвакуированной академии,— заметил комиссар.— Как считаешь?

— Стажеры? Вполне вероятно,— согласился я.— Обстановка на Ленинградском фронте исключительно интересна для теоретических обобщений, будущих диссертаций.

Тяжелые раскаты стрельбы за спиной сотрясли воздух. Комиссар взглянул на часы:

— Пообедали фрицы. Не откажешь им в пунктуальности.

Фашисты что ни день били из дальнобойных по Ижорскому заводу. На старинной плотине перед заводом мы установили сеть с лоскутками, окрашенными по сезону. Но маскировка не вводила в заблуждение вражеских артиллеристов. Все здесь было давно пристреляно, а корректировку с большой высоты вели самолеты, едва достижимые для наших зенитчиков.

Снаряды неслись в воздухе, пришепetyвая,— звук, характерный для крупных калибров. Фашисты клали на завод, что называется, «чемоданы». Стены цехов от обстрелов с каждым днем становились все ниже и ниже — даже те, крепостной толщи, что были сложены еще петровскими мастерами. Но странно — крыши, хотя и продырявленные, оставались крышами, только оседали. Создавалось впечатление, будто завод-гигант стремится уйти под землю, избавиться от издевательств современных варваров.

И все-таки завод, хоть и по закоулкам, а действовал. Ремонтировал поврежденные в бою танки, артиллерийские орудия. Мы, саперы, получали на Ижорском броневые колпаки.

Комиссар вздохнул:

— Опять сейчас там кровь в цехах, а мы с тобой в игру играем...

Но внезапно артиллерийский залп ударил с нашей стороны. С острым свистом понеслись снаряды. Среди гостей — переполох. «Прекратите стрельбу! — раздались крики.— Отставить... Вы же по своим!..» Непривычным

людям показалось, что огонь настильный и что снаряды вот-вот оборвут головы.

А я ликовал:

— Живем, комиссар? — Так стало легко на душе, да и в ногах тоже.

— Эге, живем! — И Осипов, приветствуя наших артиллеристов, помахал рукой в сторону берега. — Да здравствуют морячки!

Стреляли эсминцы. Стремительные и яростные по своей природе, эти боевые корабли, если можно так сказать, были «спешены», включены в полевые войска. Стояли они здесь, в верхнем течении Невы, и давали огонь по вызову с КП нашей армии. Сейчас эсминцы — видимо, в ответ на варварский обстрел завода — произвели артиллерийский налет на позиции фашистов. А снаряд морской артиллерии — не шутка!

Случалось видеть эсминцы в разное время года, и всякий раз я огорчался сначала: «Пустынно на Неве. Ушли кораблики, покинули нас». Но протрешь глаза: и, как на загадочной картинке, по черточке складывается облик кораблей — одного, другого... Нет, не ушли, все с нами! Спасибо, верные друзья! И уже смеешься над собой, восхищенный изобретательностью моряков. Великолепный камуфляж! Встав у берега, эсминцы утратили свой суровый шаровый цвет, уместный в открытом море. Сделались как бы частью ландшафта, меняя окраску по сезону. Сейчас корабли стоят во льду. Кругом сугробы снега, и среди них эсминец — словно тоже сугроб... Искусство маскировки делало корабли для врага невидимками.

Крепко, видать, выпали они в этот раз фашистам! Обстрел Ижорского прекратился.

Слух о прошедшей военной игре с быстротой степного пожара облетел войска. Воспринята игра была как репетиция отступления внутрь города и даже сдачи Ленинграда. Что тут поднялось... У Козик опустели койки, больные добровольно возвращались в роты. «Стояли насмерть и будем стоять! Не бывать врагу в Ленинграде!»

А тут подоспело радио — да какое. Немецкие фашисты, подбиравшиеся уже к Москве, биты! Легенда, родившаяся в поверженных странах Европы, что коричневые орды непобедимы, лопнула, треснула, растоптана советскими танками!..

---

Укрепился зимник через Ладожское озеро, и нам прибавили хлеба. Ликование вызвало появление в пайке квашеной капусты. Ели с наслаждением, открывая в этой более чем простой пище множество дотоле неведомых достоинств. К столу изголодавшихся это была целебная добавка.

Стала Ладога доставлять и другие продукты. Повеселели бойцы. Оживилась заглохшая было художественная самодеятельность. Завязались шефские отношения с городом. Тут потрудился член комсомольского бюро батальона сапер Болотников. Ополченец из учителей, Аркадий Львович умело подготовлял встречи. Дружба установилась со швейной фабрикой имени Володарского. Шефство было обоюдным: то к нам приезжала делегация работников, то саперы во главе с комиссаром отправлялись на фабрику.

Однажды приглашение с фабрики озадачило бойцов: «Ждем вас в саперном снаряжении». Было это в канун Восьмого марта 1942 года, и бойцы изготовили для подарков всякого рода самоделки. Поехали, а потом с восторгом рассказывали, в какое грандиозное событие вылился этот женский праздник. На улицы и на площади вышло все население Ленинграда. Людям раздали лопаты, метлы, совки, кирки, ломы... Началась очистка города. Саперы работали бок о бок с «володарками». Не отставали и наши медички: Ольга Павловна Сергеева, Аля Калинкина, Мария Крупина-Смирнова, Нина Чебан, Днепровская, Дубовицкая.

Болотников предусмотрительно захватил из батальона музыкальные инструменты, так что состоялся и концерт.

Мы с Осиповым сидели в замороженной комнатухе барака, где прежде жили рабочие близлежащего кирпичного завода. Под землей жить надоело, а здесь хоть и опасно при обстрелах, зато белый свет в окошке. Комиссар за столиком, с кружкой кипятка, а я напротив, и тоже с полной кружкой. Кипяток хоть немного, но утоляет чувство голода. А то сосет и сосет под ложечкой, а в желудке будто кол переворачивается. Схватывает тупая боль, а во рту полно слюны — подташнивает... Отвратно!

Комиссар отхлебнул глоток, крикнул и улыбнулся: «Эх, хорошо! Самое вкусное на свете, убеждаюсь, не чай, не кофеи, а кипяточек из свежей колодезной водицы...»

С мороза забежал Чирок. Как всегда, быстрым своим взглядом он оценил обстановку, глянул на стол и сокрушенно вздохнул:



— Дожили. Командование отдельного армейского про-  
бавляется кипятком.

— Так ведь согревает и тело, и душу! — возразил комиссар. — Налить кружечку?

Но помпохоз солидно изрек:

— При ослабленном организме научная медицина не рекомендует пить лишнее.

— Ишь ты... — Комиссар усмехнулся. — По-научному стал жить. То-то все худеют, а ты ядреный, как репка.

Я взгляделся в помпохоза. Доходили до меня слухи о каких-то якобы темных его комбинациях, но узнать что-нибудь толком не удалось. Решил: наговоры. Но и бойцов нельзя винить — голодают, оттого и болезненная подозрительность.

— Предлагаю, — сказал я, — поставить лекцию товарища Чирка для бойцов на тему: «Научный способ не пить, не есть, но быть сытым».

Чирок мои слова пропустил мимо ушей. Открыл полевую сумку и выложил на стол два пакета.

— Получены командирские пайки. — И поспешил убраться.

Раскрыв пакет, комиссар, человек некурящий, как всегда, отдал мне свою пачку папирос.

— Гляди-ка, а печенья больше — ведь четверть пачки в месяц давали... И карамелек уже десять... А это что? — Осипов и рот разинул. — Корейка!

Я поспешил развернуть свой пакет.

— И у меня!

Комиссар покачивал драгоценный кусок на ладони.

— Грамм двести пятьдесят, а то и триста вытянет... Вот это подарок... Старается Ладога!

— А может быть, старается Чирок? — сорвалось у меня с языка.

Осипов глянул на меня — в глазах испуг.

— Ты что это... — прошептал он. — Чирок в партию подал.

Я достал блокнот.

— Пишу, Васильич, в приказ: «Назначается комиссия для проверки батальонного хозяйства в составе...» Подсказывай.

Комиссар залпом допил кипяток, уже остывший.

— Пиши председателем Хралова.

Это был немолодой уже инженер. В прошлом конник корпуса Котовского. Благодарственной грамотой за подписание Григория Ивановича гордится не только он сам, но

и вся вторая рота, где он политруком. Ввели в комиссию Гулевского, ввели Сашу Днепровскую...

В штабе в присутствии комиссара я спросил Лапшина:

— Командирский паек получили?

— Получил.

— Что в нем?

— А как всегда, — усмехнулся старший лейтенант. — На один укус. Тут же и съел.

В батальоне комсомольцы создали плакат-газету «Динамит». Ее не назовешь стенной. Стенная газета живет прочно на стене, оттого и «стенная». «Динамит» и не многотиражка — готовят ее регулярно, но в одном экземпляре. И тем не менее свежий номер «Динамита» успевают прочитать во всех подразделениях батальона. А ведь батальон, напомню, армейский, роты обычно разрознены, каждая работает на боевом участке какой-нибудь дивизии из входящих в армию.

Это и определило характер газеты. В основе — это складень из трех фанерных створок, так что газету можно повесить, а можно и поставить. Удобно и то, что материал можно менять по частям и в любое время. Это сделало газету злободневной.

Изготовили складень в комсомольском бюро батальона. Составлять газету и редактировать поручили комсorghу Якерсону и членам бюро, — Болотникову, Козик и бывшему чертежнику Виноградову. Но Виноградов приступил к делу не с чертежными инструментами, а обнаружил способности стихотворца. Якерсон оказался неплохим рисовальщиком.

Разведчик Богуславский подорвал вражеский пулемет. Через день уже стихи на первой полосе:

Моряк, сапер, разведчик смелый  
К врагу вплотную подошел,  
Гранатой действуя умело,  
Так пулемет его разделал —  
Фриц и обломков не нашел.

А на третьей полосе карикатура на нашего батальонного почтальона и стишок:

Все дела, брат, все дела,  
Некогда умыться.  
До чего ж ты довела  
Парня, экспедиция.

Якерсон расцвечивает полосы газеты. А карикатуры его поддерживает стихами Ваня Виноградов.

Теперь Виноградов — политрук третьей роты, но с газетой не порывает. К обоюдной пользе.

Знакомлюсь со свежим номером «Динамита». Уже поступают сведения из комиссии, проверяющей каптерки и склады батальона. И вот отклик «Динамита» — карикатура и острый стишок:

Каптер вешал табачок,  
Под тарелку — пяточок,  
Пятачок, мол, пустячок —  
Не заметит простачок.

Наш боец не простачок,  
Он заметил пяточок,  
Он заметил, что каптер —  
Вор!

Комиссия вскрыла и хищение хлеба. Обирали голодного бойца не только с помощью пяточка под тарелкой... Пришлось акт комиссии передать прокурору.

И вот суд. В бараке стол, скамьи, уже переполненные саперами. Привели под конвоем Чирка и двух кладовщиков, сообщников его по воровским делам. Все трое, бледные до неузнаваемости, едва переставляли ноги. То одному, то другому становилось дурно, и заседание суда никак не могло начаться. Напряженная тишина, которая могла прорваться и самосудом... Я усилил конвой. А председатель, юрист из трибунала, видать, бывалый человек, не стал медлить. Постучал ладонью о стол и огласил обвинительное заключение.

— Встаньте, Чирок. Признаете себя виновным?

Чирок стоит истуканом. Пуговицы на гимнастерке срезаны (так полагается), все ремни отобраны, и он, казалось, озабочен только тем, чтобы не сползла одежда.

Так ничего и не сказал. Но когда председатель представил слово бойцам, разделив их на обвинителей и защитников, — единодушный грозный голос презрения как бы пробудил истукана. Чирок признался в воровстве и повалился на колени.

Кладовщики, напротив, пытались изворачиваться, валили вину на помпохоза: мол, понуждал воровать и все забирал себе, возил на продажу в город... Однако справедливый приговор всех троих уравниал:

— В штрафной батальон!

Мы получили задание — подготовить пути для движения танков. Гляжу на карту — направление указано на юг, юго-запад, юго-восток... Ура, близок удар по фашистским головам! Поступило распоряжение о наступлении, мы с комиссаром порадовались втихомолку. Расписались на бумаге — «читали», и начштаба Лапшин тотчас упрятал ее в свой сейф.

Дело было зимой, но наст на невской равнине обманчив: под коркой льда и снега тут и там таились болотца, а кое-где и трясины. Даже в лютые морозы, на которые не покупилась зима 1941/42 года, многие из них не замерзали.

Рекогносцировку я поручил Попову.

Он по-прежнему видел во мне не столько командира, сколько коллегу по Путейскому институту. Однако это не порождало ни с его, ни с моей стороны фамильярности — отношения определял устав.

Никто не уследил, что Попов отправился на рекогносцировку днем. День, правда, был туманный, но когда путеец выбрался на передний край, его окликнул разведчик Рыжиков; замаскировавшись, он вел наблюдение за немецкими траншеями.

— Ложись, товарищ Попов... Не маячь!

— Да вы что, товарищ... Чтобы я голову склонил перед каким-то... — и недоговорил, сраженный пулей.

Так погиб наш неутомимый конструктор, немало сделавший для усовершенствования боевых оборонительных построек.

В канцелярии батальона он не оставил никаких адресов, и некого было известить о его смерти. Но саперы сохранили о чудаковатом инженере светлую память. Проводили, что Попов участвовал в сооружении монумента Сергею Мироновичу Кирову, на площади Стачек. Сам он ни разу этим не похвалился.

На моем служебном столе все чаще появлялась толстая тетрадь с отрезными бланками извещений («похоронными» называли их в народе). Я ставил подпись, в молчании передавал заполненный бланк комиссару, ставил свою подпись и он. Лапшин тоже молча оттискивал печать, и скорбный ритуал заканчивался тем, что фамилия погибшего вычеркивалась из списка батальона.

Вскоре после того, как Попова предали земле, погиб Рыжиков. Не уберется в разведке, и фашисты его растер-

зали. Разведчикам не удалось и останки собрать, чтобы похоронить своего доблестного командира... Погибли отличные минеры, студенты-горняки Катиллов и Потылов...

Многие и многие саперы, героически павшие в боях за Родину, приумножили славу защитников Ленинграда.

Познакомился я с Петром Алексеевичем Заводчиковым на Ленинградском фронте, в блокаду, но уже когда пережили зиму 1941/42 года. Он майор, и я майор. Он командир батальона, и я командир батальона. Оба саперы. Рассмеялись мы этакому сходству и тут же уточнили возраст. Оказалось, обоим сильно за сорок. В волосах друг у друга разглядели седину. Но Петр Алексеевич, молодясь, сгоняет седину бритвой, предпочитая быть без волос. Круглая голова на короткой шее, сам плотный, глаза как глаза — таков его портрет. И вдруг улыбка — мягкая, я бы сказал, женственно-милая, совершенно неожиданная на его грубоватом лице. Улыбка, которая равнозначна дружески поданной руке... Но эта улыбка впоследствии открыла мне и его мир увлечений: Заводчиков был неразлучен с собаками.

Петр Алексеевич из крестьян, родился и вырос в деревне, где-то на севере. По достижении призывного возраста был взят в царскую армию рядовым. Служил исправно, и как-то послали солдата с пакетом к начальнику дивизии.

Вестовой генерала задержал его на пороге:

— Обожди, еще наследись!

Принял пакет и скрылся за дверью.

Солдат Заводчиков своего начальника дивизии и в глаза еще не видел. Но знал, что генерал рода знаменитого — князь Трубецкой. Случалось ему в гарнизонном карауле заступать на пост в Петропавловской крепости. Там по углам грозные бастионы. Шесть углов в каменной ограде крепости — и шесть бастионов с амбразурами, как глубокие норы: оттуда глядели когда-то пушки. Построена крепость — об этом узнал пытливый солдат — больше двухсот лет назад, при основании Петербурга.

Слышал и другое: царь Петр не гнушался на стройке ни лопатой, ни носилками, ни тачкой, ни трамбовкой, ни топором, ни пилой. Заставлял и своих царедворцев поражать руки на черной работе. А в награду за труды повелел со-

хранить их имена для потомства. Так и значатся бастионы — Царев, Меншиков, Зотов — и Трубецкой в их числе.

Вспомнил об этом солдат, и очень захотелось ему увидеть Трубецкого нынешнего. Не спускает взгляда с двери, за которой скрылся вестовой: «А вдруг сам князь покажется?..» И дверь распахнулась. Оттуда выскочило, стремясь на волю, какое-то необыкновенно крупное животное. Солдат шарахнулся с порога, прижался спиной к стене — и только тут разглядел, что перед ним собака. В восторге подумал: «Это же царь по сравнению с деревенскими дворняжками!..» Белый, в черных крапинах пес, казалось, разодет природой в шелка — такая на нем гладкая, блестящая шерсть. А стать какова, а поступь — все глазу на радость, на удивление...

— Ну, чего выпялился? — усмехнулся возвратившийся с распиской князя вестовой.

Был он тучен, поясной ремень на нем — будто обруч на бочке. Сладко, видать, жилось человеку в услужении.

— Чего, спрашиваю, рот разинул? Дог это, мраморной, арлекиновой масти. Арлекин и по кличке. Экстерьер высокого класса, а вот носом не вышел. Законный нос черный, а у этого розовый. Его сиятельство терпит порок, привязался к собаке. А я бы порченого пса — будь моя воля — на живодерню.

Заводчиков обомлел.

— Да ты что... — вырвалось у него. — Ума рехнулся?

А вестовой — вместо ответа:

— Арлекин, фас!

Дог на дыбы, опрокинул солдата и, обнажив клыки, потянулся к его шее. Заводчиков успел убрать голову в плечи, но уже затрещала одежда. Толстяк увидел — недалеко до беды, спохватился и унял собаку.

Заводчиков, дрожа от испуга и негодования, вскочил на ноги. Солдатский мундир на плече разорван, обнажившееся тело в багровых полосах от когтей.

Вестовой надвинулся на него пузом:

— Мундир починишь. А плечо заживет. Это тебе наука, чтобы вперед не нахальничал. А теперь — проваливай!

Много лет спустя, делясь со мной воспоминаниями, Петр Алексеевич эту историю закончил мечтательно: «Доведись бы опять встретиться с Арлекином, расцеловал бы я его в розовый нос, а он бы мне уважительно лапу додал!»

Образование Заводчиков получил в учительской семинарии и, надо думать, стал бы хорошим учителем. Но решил за него 1914 год. Грянула война России с Германией — и Заводчиков в окопах... А когда развалилась империя, пошел на гражданскую отстаивать Советскую власть. После войны знающего и опытного командира оставили в кадрах Красной Армии

Обзавелся Заводчиков собакой... Но только не мраморным догом. Условия военной службы — когда сегодня ты в одном гарнизоне, завтра в другом, послезавтра в третьем, — он понимал, не для нежной породы мраморного дога. Взял себе щенка овчарки, вырастил собаку, воспитал. Стала его овчарка медалисткой. А сам, продолжая нести военную службу, все свободное время отдавал изучению этого поразительного животного. «Овчарка» — само название говорит и том, что это собака-пастух. Но овчарка — незаменимый помощник и пограничника. И в уголовном розыске немала ее роль в раскрытии преступлений. Она и неусыпный страж, охраняющий народное добро на складах, предприятиях. Ночами овчарка караулит надежно заводские и фабричные дворы... А собака на охоте — сколько прекрасных страниц посвящено ей в нашей классической литературе!

«Да, многообразны и даже не учтены полностью нужды человека, на которые собака способна отозваться своим чутьем», — восхищался Заводчиков, изучая литературу о собаках, не пропуская, насколько позволяла служба, выставок собак: старался добираться до глубинных, ускользающих от непрофессионального взгляда свойств собачьей натуры, не уставая от длительных наблюдений над собственной овчаркой или получая такую возможность в стае, в собачьих питомниках...

И вот Петр Алексеевич Заводчиков уже кинолог, его мнение и рекомендации авторитетны для дрессировщиков. Владельцы служебных собак и опасаются его глаза, и вместе с тем стремятся показать ему животное, провести мимо него на поводке — и суждение его, честное, твердое, принимается безоговорочно.

Даже в самые зловещие дни блокады оборонявшие Ленинград войска не только стояли насмерть, но видели перед собой зарю того дня, когда, собравшись с силами и получив поддержку с Большой земли, внезапным ударом

удастся прорвать окаянное кольцо, сжавшее город, и гнев и ярость раскалят штыки, придадут острую меткость огню пулеметов и орудий, обрушат град ручных гранат на головы палачей...

Тут саперам будет дело. Свои минные поля мы знаем, недолго и проходы в них открыть перед наступающими, но дальше — полосы вражеских заграждений. Фашисты, тревожась за собственные шкуры, понаставили мин и фугасов в несколько слоев по глубине. Препятствие серьезное, а разведывать и уничтожать его придется в ходе сражения. Естественно, возникало опасение, как бы эта возня с минами не затормозила наступления войск...

— А если разведку вражеских мин поручить собакам?.. — услышал я от Заводчикова. Он поделился своей идеей: — Конечно, дело непростое. Даже к охоте на птицу и зверя собаку готовят немалое время. Но ведь собака — охотник по природе. На охоте ею движет инстинкт, она идет за добычей. Но как сделать, чтобы собака искала взрывчатку? Надо связать малоприятный запах взрывчатого вещества с пищевым раздражителем, создать у животного условный рефлекс. Такова идея. Но, конечно, немало труда и терпения потребуется, чтобы ее осуществить.

Развивая эту мысль, Петр Алексеевич добавил:

— В поле у поверхности земли бесчисленные волны запахов — и от растений, и от насекомых, от мелких грызунов, от следов человека, от машин... И все это, вместе взятое, улавливает обоняние собаки. А надо, чтобы животное заинтересовалось только взрывчаткой... Этого и предстоит добиться.

Заводчиков отправился в штаб фронта к инженерному начальству.

Его подняли на смех. «Несерьезный разговор, товарищ Заводчиков. Отставить! Ждем более реальных предложений!»

И вот весной 1942 года, когда уже сходил снег, а на солнышке и подсохло, Заводчиков пригласил начальство на демонстрацию розыска мин при помощи собак. Место Заводчиков выбрал малопривлекательное: захламленный пустырь. Извинился за смрадный дух, который ожил здесь с весной:

— Потерпите, пожалуйста, запашок этот существен для опыта, — и спустил с поводка овчарку: — Ищи!

Собака побежала, низко опустив голову и принюхива-



ясь к мусору. Бежала она по-особенному: то вправо, то влево, прокладывая себе зигзагообразный путь.

— Держится назначенной ей полосы шириною в три-четыре метра,— прокомментировал Заводчиков.— А зигзаги обеспечивают сплошной поиск.

Вдруг собака села и обернулась.

— Вот и мина найдена! — И Заводчиков подошел к собаке, разгреб перед ней мусор, копнул руками и извлек как бы сковородку с металлической крышкой.

— Немецкая мина Т-32,— объявил Заводчиков.— Противотанковая.

— Конечно, разряженная? — слышалось беспокойное в ответ.

— Так точно! — лихо ответил майор, но тут же поправился: — Точнее сказать, обезвреженная. Взрыватель вывернут, но заряд тротила оставлен в корпусе. Ведь обоняние собаки отработано именно на запах тротила.— С этими словами майор кинул мину в сторону, своему саперу.

В группе наблюдателей посовещались. И — скептическое замечание со смешком:

— А собака не обучена, где сесть?

Заводчиков смолчал — на начальство не принято обижаться.

Подозвал собаку, сунул ей в рот несколько запоздалое лакомство и дал ей новое направление:

— Ищи!

На этот раз из земли был извлечен железный брус миллиметров восемьсот длиной, миллиметров семьдесят на пятьдесят в сечении. Заводчиков поднял его за железную рукоятку на торце и объявил:

— Немецкая мина, зарывается поперек дороги, чтобы бить наши автомашины, грузовики с боеприпасами и прочее. Словом — противотранспортная.

Эту диковинную мину присутствующие с любопытством осмотрели.

Тем временем сапер поднес еще несколько мин. Заводчиков сказал ему:

— Прогуляйся-ка с собакой, да подальше. Вернешься, когда я дам свисток.— И тут же предложил товарищам из инженерного штаба самим зарыть мины — где кому понравится.

Мигом были разобраны приготовленные Заводчиковым лопаты.

— И глубоко можно зарывать?

— А в этом не стесняйтесь. Собака учует взрывчатку и в метре глубины.

Результат эксперимента поразил всех.

Пообещали Заводчикову помощь. Сапер в армии — самый дюжий солдат, слабаку с его работой не справиться. А тут, глядит, прислали девчонок: с виду вчерашние школьницы, да и те после голодной зимы как тени. Щеки опавшие, глаза неестественно большие, в них лихорадочный блеск. Руки и ноги тонюсенькие. . .

Заводчиков приободрил пугливую стайку теплым словом и своей всепокоряющей улыбкой, а сам подумал страдальчески: «Ну куда я с ними? Ни одной и мину с земли не поднять. Найдет противотанковую — а дальше что? В mine восемь килограммов!» Не хотелось верить, что в кадрах фронта не нашлось для него двух-трех десятков настоящих солдат. . .

Но зря майор сетовал — вскоре он установил, что подбирали для него как раз такое пополнение, которое ему потребуется для нового дела.

Петр Алексеевич повел с девушками беседу:

— Прежде всего требуется, чтобы силенок набрались. Нашлась бойкая:

— А вы нам пирожные на стол ставьте!

Все засмеялись.

— Пирожные — это уже после войны, — сказал Заводчиков. — А теперь зачислим вас на солдатский котел — щи да каша, как говорится, пища наша. Поправитесь и получите по собаке в поводок.

— А если кто не умеет?

— Научим. Но давайте честно: собака доверится только тому, кто любит животных. Иначе и учение впрок не пойдет.

И неожиданно, к радости своей, Петр Алексеевич услышал:

— А среди нас есть уже ученые. Даже в Москву собак возили. На смотр. Некоторые.

— Ну-ка, «Некоторая», — усмехнулся майор наивной попытке девушки не назвать себя, — расскажи о себе, расскажи. — А сам подумал: «Кажется, из кружка юных собаководов. Вот бы кстати!»

Но девушка умолкла. Плотно сжала губы, на глазах

навернулись слезы. Оказывается, собаку ее, когда только началась война, мобилизовали.

— Овчарка? — высказал майор догадку.

Девушка кивнула.

— Не огорчайся. У нас в батальоне будут хорошие собаки. Выберешь другую. А сама назовись все-таки.

— Лиза Самойлович. Только я другую не возьму. Помогите освободить моего Мига.

Петр Алексеевич не скрыл сомнения: разве сыщешь какого-то Мига? Второй год войны...

— А он в городе,— горячо возразила Самойлович.— Говорили мне, Мигуля у военных.

Теперь Заводчиков уже не мог отказать девушке в помощи. Поехала в город в сопровождении сапера.

Доставили собаку в батальон. Девушка ликовала:

— Год не виделись, а все равно узнал!

Глянул Петр Алексеевич на пришельца — и только головой покачал: отошал пес до такой степени, что твердо стоять не может, лапы подкашиваются, запущенный донельзя...

А Лиза и радуется, и плачет.

— Залаял, бросился ко мне, когтями скребет решетку вольера. А этот, который при собаках солдат, как ударит его плеткой. «Глядеть не положено, прочь отсюда!» Спасибо Сергею Тихоновичу,— она кивнула на сапера.— Заступился за меня, добился, что отпустили Мига.

— Сперва к ветеринару,— распорядился комбат.— Если здоров, оставить в батальоне, зачислить на паек наряду с другими собаками.

Поправился найденыш, повеселел... Ни на шаг не отступал от своей хозяйки, а она не переставала ласкать его: «Мигуля мой, Мигуля...» Но случилось, что на наши позиции ринулся фашистский танк. Комбат ухватил первую же подвернувшуюся собаку, надел на нее седло с пакетом взрывчатки и пустил навстречу танку. Танк был подорван, но погибла и собака. Это оказался Миг.

Рита Меньшагина среди девушек сразу стала приметной. Слова лишнего не скажет, а все к делу. Школьницей вырастила для пограничников не одного четвероногого стража. Вот и здесь майор доверил ей дрессировку на тротил, и девушка справлялась со сложной программой, хватало терпения,

Себе в поводок Меньшагина взяла крупного пса, сродни кавказской овчарке. Весь белый, шерсть в крупных кольцах, а морда и глаза угольно-черные. Жуком назвала его девушка. Жук старался угодить хозяйке из всех своих собачьих сил — вынюхивал мины даже там, где другим собакам не хватало чутья. И однажды, если бы не чутье Жука, погиб бы от взрыва инженерный штаб армии. Вот как это было. У подножия Дудергофских высот, с которых гитлеровская артиллерия громила Ленинград, при наступлении обнаружился подземный городок. Здесь обитали фашистские артиллеристы. Устроились, надо сказать, с полным комфортом, ограбив окрестные дворцы. Конечно, в подземелье обнаружили мины, которые при бегстве успели заложить фашисты, — саперы извлекли их и уничтожили. Штаб уже работал, когда мимо проходили девушки с розыскными собаками. Рита Меньшагина заметила фанерку у входа: «Мин нет».

Все же вошла, козырнула:

— Ефрейтор Меньшагина. Разрешите проверить помещение на мины.

— Уже проверено-перепроверено, — отмахнулись штабные. — Не мешайте работать!

Но Меньшагина неуступчива. Начав дело, привыкла доводить работу до конца, — и Жук принялся нырять под столы, под стулья, шумно все вынюхивая. Побеспокоили и генерала.

Мин действительно не оказалось, и Рита, смущенная, уже потащила собаку прочь — но пес воспротивился: уселся Жук. Поднял свою угольно-черную морду к потолку комнатки, где обитал генерал, вытянул шею и застыл, нервно двигая ноздрями.

Потолок землянки из бревен в несколько накатов у фашистов был аккуратно обшит досками, оставался лишь чердачок для личных вещей. По счастью, генерал, занятый оперативной картой, еще не удосужился сунуть туда чемодан. Меньшагина, поднявшись на табурет, обнаружила на чердаке ящик взрывчатки с натянутыми от него струнами. Достаточно было коснуться какой-нибудь из струн — и мощный взрыв разворотил бы подземелье.

— Вы достойны награды, товарищ Рита, — сказал на прощание генерал. — Но жаль, что у нас нет орденов для четвероногих. Возьмите хоть сахару для Жука!

Как-то несколько девушек, устав от своей изнурительной и опасной работы, вышли на зеленый луг, весь в ромашках, колокольчиках, и глаза их посветлели.

— Красота-то какая, девочки, а? — воскликнула одна. И в восхищении: — Глядите, глядите, коровы пасутся!

— Мы уже и забыли видеть мир в цветах, — с грустью добавила другая.

— Ой-ой, — простонала третья, — опять поясицу схватило. Все кланяешься да кланяешься над минами. Остается только пополам переломиться. . .

— Зачем переламываться, — вмешалась Валя Глазунова, — давайте отдохнем. — И она спустила с поводка своего кудлатого пса: — А ты, Мишка, погуляй на свободе. Только коров не трогай.

Высвободились девушки из солдатского снаряжения и кинулись в траву. Нежась на солнышке, потихоньку запели. Собак уложили тут же.

А Валя, не доверяя озорному Мишке, нет-нет да и поднимала голову, следя, не сбежал ли бродяжничать. Глянет — и успокоится: сидит пес, жмурится на солнышке. Опять глянет — сидит по-прежнему. Сидит и сидит.

— Да ты побегай, дуралей, нет с тобой покоя!

Поднялась Валя, подошла к собаке, чтобы дать ей шлепка, глядит — перед носом собаки сникшие колокольчики и пожелтевший квадрат травы. Присела, отстранив собаку, и. . . раскопала мину. Сунув Мишке конфетку, побежала обратно, подняла подруг, и принялись все за работу. Выгуливая с луга коров, поругались с хозяевами-колхозниками.

Обнаружилась заминированная полоса длиною в два километра. Мощные противотанковые мины стояли в пять рядов. . .

Перепуганные колхозники сказали, что были саперы с кольцами на железных палках и, вода этими сачками по земле, все тут исходили вдоль и поперек. Уходя, разрешили пасти скот. «Травостой-то, — хвалили колхозники, — слаще не бывает!»

Все стало понятно: мины в деревянных корпусах — и электрический прибор-миноискатель их не почувствовал.

Зловещий вражеский послед в 5000 мин девушки ликвидировали.

Это лишь несколько эпизодов из работы девушек-блокадниц по очищению ленинградской земли от фашистских

мин и фугасов. Их начальник, друг и воспитатель Петр Алексеевич Заводчиков посвятил им впоследствии книгу «Девичья команда».

Я — владелец завода. С уважением смотрю на себя в зеркало. Богач! Только глаза от голода провалились.

Главный цех завода — изгибающийся улиткой большой зал. На каменном полу рельсы. Сюда вкатывают вагонетки с серым кирпичом-сырцом. Затем зал наглухо закрывают и внутрь впускают жар. Кирпичи румянятся все больше и больше. И когда вагонетки выезжают наружу — это уже звонкие красные кирпичи, годные в постройку.

Когда вблизи развернулись военные действия, директор кирпичного завода заторопился прочь, но ему требовался акт, из которого следовало бы, что он не сбежал, бросив государственное имущество, а передал его в надежные руки.

Акт я подписал. Приложил, к удовлетворению директора, печать батальона. Но ни пускать завод, ни стеречь его не собирался, да и разваливались уже от обстрелов каменные строения. Сушильным сараем я соблазнился, вот чем. Прикинул на глаз: доски, рейки, брусья, столбы — это же материал, в котором все острее нуждаемся. Правда, у нас, во фронтовой полосе, есть деревья и даже рощи, но не рубить же их, не создавать в окрестностях Ленинграда пустыню. А сосны, ели нам и жизнь поддерживают: настой из хвои — целебный при голодании напитков.

Порадовались мы, что разбогатели, да не надолго: весь строительный материал быстро ушел в дело.

Но развилась у саперов смекалка. Гляжу — на хозяйственный двор батальона въезжает грузовик с прицепом, груженный бревнами, за ним — второй.

Радостные возгласы:

— Сироткин с добычей! Вот это да... Расстарался!

Михаил Васильевич Сироткин — начбоепитания. Он торжественно восседал за баранкой на головной машине.

Увидев меня, выскочил из кабины, рапортует.

Вот он каков! В поисках лесных материалов неутомимый Сироткин закатился на Тучков Буян. Казалось, это лишь захламленный уголок в городе. И вдруг этакий подарок батальону от Буяна!

Сироткин — инженер-автомобилист из ополченцев. Уже в батальоне аттестован лейтенантом. Он и начбоепитания, и начальник транспорта. Но еще и колдун. В его руках и

не горячее — горячее, тянет машину. У многих автомобилей на приколе, а в батальоне действуют.

Небольшого роста, подвижной, Михаил Васильевич ни при каких затруднениях не терялся, всегда умел найти и выход, и разумное решение. За блокаду он похудел, пожалуй, больше других, но от этого сделался только подвижнее. Вежлив, дружелюбен, лицу его свойственна, кажется, только приятная улыбка. Очень он подружился с нашей милой врачихой Козик...

Однажды комиссар сказал мне: «Пойдем поздравим молодоженов». И я только мог порадоваться тому, что Козик и Сироткин поженились.

Командовал нашей Н-ской армией генерал Владимир Павлович Свиридов. Образованный артиллерист, он много делал и для обороны Ленинграда, и для подготовки войск к предстоящим наступательным боям. Однако не замыкал себя кругом военных интересов. Знал литературу и не терпел порчи, оказывания русского языка, в чем бы это ни выразалось. «Сукно уместно в шинели,— говаривал генерал,— а не взамен языка человеческого. Попрошу составить бумагу коротко и грамотно!» Замечания Свиридов делал не только работникам своего штаба. И на него не обижались. Дело говорил.

Не без участия этого культурного и требовательного генерала к работе в армейской и в дивизионной печати были привлечены писатели Александр Гитович, Владимир Лифшиц, Владимир Иванов (Муха), Дмитрий Остров, Кесарь Ванин, Дмитрий Левоневский, Павел Кобзаревский, а также и художники.

В начале второго года войны, летом, стали проникать от наших людей из немецкого тыла тревожные сведения. Передавали, что по железным дорогам с разных направлений сюда, на северо-запад, движутся эшелоны с танками, и подсчет машин показывал, что гитлеровцы не оставили попыток овладеть Ленинградом.

Перед фронтом нашей Н-ской армии, закрывая горизонт, виднелся город. Фашисты там сильно укрепились. А в обширных дворцовых парках могли скрытно сосредоточиться сотни танков. И путь к Ленинграду тактически был в пользу врага: равнина — есть где развернуться танковой армии... Это пугало. Ближние подступы к Ленин-

граду, разумеется, были ограждены: бетонные пирамиды-надолбы, минные поля, колючая проволока. Но колючка для танка — ничто; по надолбе выстрел-другой из танковой пушки, и бетон — в куски. Было о чем призадуматься и артиллеристам, и нам, саперам.

У комсомольцев родился клич: «Батальон саперов — батальон изобретателей!» И пошли ребята мозговать. Только успевай подхватывать идеи да облекать в технические решения. Придумали ловушку для танков. В штабе армии проект утвердили, и он был осуществлен. В чем он заключался?

В сущности, на поверхности перед линией обороны ничего не изменилось — ни разрытой земли, ни помятых травы или кустов. Но достаточно затаившемуся в засаде саперу крутануть рукоятку подрывной машинки — и разверзнется земля, возникнет каньон, в который, как горох из порванного мешка, посыплются вражеские танки. Но надо угадать момент. Вид у грохочущей и с ревом продвигающейся танковой армады страшный, сапер у подрывной машинки может и растеряться. Это предусмотрено. На боевом посту всегда двое солдат во главе с лейтенантом. Пост связан по телефону со штабом армии и, разумеется, с батальоном.

Соорудили каньон-невидимку, а в нашем «бюро изобретений» новые заявки. Позвали меня. Иду и вижу — Лапшин ковыряется в мусоре. «Эка, чем развлекается... начальник-то штаба!» — думаю. Свернул к нему.

— Что это? — шучу. — «Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно»?

— Так точно! — отчеканил Лапшин, пружинно распрямившись, и кивнул на кучу битого кирпича. — Здесь жемчужина, а может, штучка и поценнее жемчуга!

Оказалось, что среди лома лежала коробочка, раскрашенная под кирпич.

— Ваше изделие?

— Мое. Узнаете коробочку?

— Любопытно, любопытно... — И я наклонился над кучей. Но с маху не угадал. Кирпичи как кирпичи — иные со следами штукатурки, покрывавшей разрушенную бомбой стену дома...

Пришлось присесть на корточки. Вглядываюсь по отдельности в каждый кирпич... Нет, не дается в руки коробочка!

Озадачил Лапшин комбата и, довольный этим, позво-



лил перебрать кучу руками. Только по весу я обнаружил пустышку.

— Замечательно, Александр Васильевич, браво!

— Это еще не все.— И Лапшин подвел меня к грудке булыжника, а потом к кучке блеснувшего синеватой искрой каменного угля.

И опять я не узнал коробочек.

— Восхищен вашим искусством. Но не пойму, к чему эти муляжи?

— Вам как владельцу кирпичных заводов...— Лапшин улыбнулся своей шутке,— открою секрет.

И я услышал следующее. Заводы стоят давно, и дороги к ним и от них ведущие замусорены всякой всячиной. В колеях и по сторонам земля красная от утеранных и раздавленных телегами и машинами кирпичей. Вперемежку с красными — черные полосы: уголь. А уже во время войны булыжники, которыми были вымощены дороги, от обстрелов разлетелись далеко в стороны.

— Кажется, догадываюсь,— осторожно сказал я.— Коробочки начините взрывчаткой, приладите запалы...

— И к действию! — подхватил Лапшин.— Разложим умненько гостинцы... Много и не потребуется, сотни за глаза хватит!

Расчет тут не столько на удар по танковым гусеницам, сколько по психологии сидящего в танке фрица. Представьте: едва выйдут на траверс кирпичных заводов, как под танками — бух-бух-бух! И достаточно, если останутся какие-нибудь полдесятка машин. Фрицам взмерещится, что каждый кирпич и обломок кирпича, каждый уголек, каждый булыжник у большевиков взрываются, — а их тут россыпи! Замешательство и паника обеспечены. Тут наша артиллерия и даст им прикурить!

— А можете, — спрашиваю, — сделать валун пудов на двадцать, на тридцать? — Пришла мне на ум озорная затея.

— Есть! — Щелкнул каблуками изобретатель.— Будет исполнено.

Люблю этого человека — твердого в своей беспощадности к врагу и чуткого, добросердечного в среде товарищей. У него мягкие черты лица, крупный рот. «Портрет у меня простой, — как-то сказал Лапшин, над собой подтрунивая.— Рот на двоих да нос уточкой».

Случалось мне, когда официально, а когда и запросто, бывать у начальника политотдела армии бригадного комиссара Кирилла Панкратьевича Кулика. Рослый, спортивного вида кадровый танкист, он с первого взгляда располагал к себе простотой и ровностью в обращении. Высокое звание его ничуть не сковывало собеседника. Принципиальный коммунист, человек культурный, начитанный, Кирилл Панкратьевич любил в свободную минуту потолковать и об искусстве, и о литературе, живо интересовался трудом и бытом писателей. Познакомившись близко со мной, Кулик как-то сказал, что партийная организация Ленинграда в боях обескровлена, нуждается в пополнении, и подал мне мысль о вступлении в партию.

Радостно взволнованный советом большого партийного начальника, я написал заявление. Это было в декабре срок первого, в самую напряженную пору блокады. И я почувствовал особое удовлетворение оттого, что стал солдатом партии в критические дни битвы за Ленинград.

На этот раз я собрался к Кулику в сопровождении Лапшина. Огромный валун с блестящими присущими граниту слюдяных вкраплений с трудом впихнули в дверцу моей «эмки» — ведь надо было изловчиться, не помять «камень». Повезли, разумеется, и коробку с муляжами.

Когда нас позвали к Кулику, мы с Лапшиным подхватили с двух концов «валун», изобразили на лицах крайнюю степень напряжения и, шаркая ногами, сгорбившись под тяжестью ноши, вошли в кабинет.

Кулик вскочил из-за стола. «Сумасшедшие, вы же надорветесь!» И кинулся к нам на помощь. Но мы уже успели взвалить «валун» на стол. «Этого еще не хватало — мебель ломать!» Из-под черных бровей-серпов Кулик метал в меня молнии, и я поспешил прекратить мистификацию.

— Товарищ бригадный комиссар,— я пожал плечами,— если вы против украшения стола — пожалуйста... — И легким ударом руки сбросил «валун» на пол.

Кулик замер от неожиданности — да как расхохочется... Брызнуло от него таким весельем, что и мы оба рассмеялись.

— Ай да саперы... — уже нахваливал Кулик, — ай да хитрецы!.. — Он подхватил валун с полу и объявил: — Передам в красноармейскую самодеятельность. Спасибо!

Ознакомившись с муляжами и внимательно выслушав Лапшина, Кирилл Панкратьевич, очень довольный, сказал:

— Оставьте, товарищи, мне эти изделия. Доложу на Военном совете фронта.

Через короткое время Лапшину было приказано «разморозить» подходящее для муляжной мастерской помещение на Ленфильме. Готовить папье-маше можно было только в тепле. Получил он дрова (их доставил на батальонной машине Сироткин), получил для клейстера мешок муки — драгоценнейшего в блокированном городе продукта, натаскали ему гору старых газет. В помощники себе он взял красноармейца Щербакова. Вызвалась поработать у Лапшина санитарка Мария Осипова, дочь комиссара (старательная рукодельница, но впоследствии девушку постигло несчастье: в бою лишилась руки). Разыскал Лапшин и кое-кого из сотрудников своего декорационного цеха. Те обрадовались фронтовому пайку. Все картонажники там и жили, на Ленфильме, соблюдая режим строго секретного военного производства.

По командировке от Инженерного управления фронта Лапшин побывал в Москве, после чего картонажная мастерская значительно расширилась. Уже не сотню изготавливали муляжей, а тысячи.

Время от времени командующий армией генерал Свиридов вручал правительственные награды. Случалось это редко — да и мы, оборонявшиеся в блокированном городе, не считали себя достойными боевых орденов и медалей. Появление орденоносца воспринималось как честь для воинской части. И можно себе представить, какую гордость за родной батальон испытали наши саперы, увидев на груди начальника штаба орден Красной Звезды. Разумеется, сияла не только звезда, сиял и сам Лапшин.

Организовал Лапшин производство боевых картонажей и возвратился к своим прежним обязанностям. А штабные обязанности его умножились. Батальон, как и наша армия и весь Ленинградский фронт, все энергичнее готовился к активным действиям.

Здесь уместно упомянуть, что мины Лапшина в обороне города не понадобились. Фашисты не пошли в танковую атаку. Но партизаны в тылу врага применяли коробочки с успехом,

Его, нашего Александра Васильевича, уже нет в живых. Но отправимся на кронверк Петропавловской крепости — посетим Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В одном из залов Великой Отечественной войны увидим скромную настенную витрину. Под стеклом — знакомые, сделанные из папье-маше кирпич, кусок каменного угля, булыжник. И еще один экспонат, которому присвоено имя изобретателя: «Минный взрыватель Лапшина». Это металлический столбик, внутри которого перекачивается стальной шарик. Он играет роль клапана. Пока мина в руках установщика, шарик прочно держит на запоре взрывное устройство. Поставлена мина — и шарик автоматически скатывается на другую риску, понятно какую.

Взрыватель Лапшина предотвратил увечья и гибель не одного нашего сапера из работавших с минами в минувшей войне.

Много посетителей в музее, и каждый, входя в инженерный отдел, хоть на минуту, но задерживается перед витриной Лапшина.

Жива память о мастеровитом сапере и патриоте.

Тем же летом сорок второго, когда мы опасались танкового прорыва на Ленинград, разыгрался бой, надолго мне запомнившийся. Началось с того, что один из командиров дивизий, молодой и воинственный генерал, заявил:

— Засиделись мы в окопах, пора и ударить по фашистам — для разминки. Да и молодежь из пополнений скучает. С виду военные, а сами еще и пороху не нюхали — куда годится?

Войска фронта еще не были готовы к тому, чтобы отбросить фашистов от Ленинграда, но инициативу комдива в Военном совете одобрили. Задачу поставили зашифровано: «Улучшить занимаемые дивизией позиции».

И вот на чердаке одного из домов в Колпине приоткрыто слуховое окно. У окна уселся со стереотрубой комдив. Здесь же, отряхиваясь от паутины, занимают места его штабные. Влезли на чердак и мы, несколько армейских саперов в роли наблюдателей: любопытствуем, как сложится эта «операция местного значения».

Со мной командир второй роты, но уже не Коробкин (Коробкин получил капитана и повышен в должности), а старший лейтенант Любош Аркадий Александрович. Тоже архитектор, но, в противоположность Коробкину, совсем

не «военная косточка». Белослицый, с глазами-сливами молодой человек, про которого хочется сказать: холеный, аристократичный. Он сын известного артиста Александринки. Сразу после войны был выдвинут на крупную работу — сперва руководил Ленпроектом по гражданскому строительству, затем стал заместителем главного архитектора Ленинграда — и немало сделал для обстройки пострадавшего в войну города.

Но — внимание! Вот части дивизии, покинув окопы, двинулись вперед... Вот уже атакуют врага... Хочется что-нибудь увидеть своими глазами, но к слуховому окну не сунешься — там НП генерала. Спешу прикинуть к одному из отверстий в крыше. Ожил горизонт! Навстречу нашей пехоте катит немецкая артиллерия, фрицы что есть мочи настегивают лошадей. Выжимают скорость полные гитлеровских солдат автомашины — подмога атакованным. Но где же наша артиллерия? «Упустят! — Дрожь нетерпения охватывает меня. — Упустят...»

Но генерал, схватив трубку полевого телефона, яростно командует артиллеристам. Мгновение — и заговорили наши пушки. Гляжу в свое оконце — дым, взблески пламени, переполох среди немцев.

Неожиданно командир дивизии повернулся ко мне:

— Включайся в дело, майор!

Я вытянулся:

— Есть, товарищ генерал! — А сам не представляю, какая сейчас от меня может быть польза. У комдива свои саперы, опытные ребята, уже докладывают: и колючку вражескую, и минное поле преодолели. Что же еще?

— Прошу, товарищ генерал, уточнить задачу.

Комдив оторвался от стереотрубы:

— Броняшками богат? Закинь вперед полтора-два десятка, укрой мне молодых пулеметчиков... Чтобы ноги задом наперед не побежали!

— Есть, понятно! — И я устремился к лестнице с чердака.

Любош за мной, а генерал вдогонку:

— Учти, первый бой надо — кровь из носу! — дать новичку выиграть, а отступит перепуганным — и он уже не солдат... Моральная травма!

Дальнейшие события развернулись так. Я поспешил на Ижорский завод (рукой подать — здесь же, в Колпине). Сунулся в ворота — вот они, бронеколпаки, припасены для нас! Но в каждой броняшке тонна весу — а где транспорт?

Неожиданно проворство проявил Любош. Из заводских ворот выходил отремонтированный танк, а он ему наперерез: встал, раскинул руки. Командир танка из башни:

— Это еще что за комедь?

А Любош, не сморгнув:

— Приказ командира дивизии! Доставить на передовую броневые колпаки!

Командир танка помолчал, раздумывая. Покопался на стальную груды.

— А куда ж я их? К себе на спину, что ли?

Но мы быстро сообразили, как действовать. У танка есть крюк, на броняшке — проушина. Стальной трос — и дело в шляпе. Поехали. Только звон колокольный от запрыгавшей по дороге за танком броняшки...

Между тем с передовой уже приходили танки дляправки. Потасили и они за собой бронеколпаки. На корму танков, за башней, я сажал подоспевших саперов — по двое рядовых с сержантом.

Прибыли мы на передовую. И тут случилась такая штука: два колпака, привезенные танками, сели один на другой. Второй коснулся краем уже посаженного на место и так стоит — боком. Саперы растерялись: они уже приладились под каждый бронеколпак делать подкоп — лаз для пулеметчика с пулеметом, а тут как?.. Опасная заминка под огнем.

— Ребята! — кричу. — Да ведь так еще лучше! — и указываю пулеметчику: — Ныряй, парень, в готовое укрытие!

И вдруг — взрыв... Я проваливаюсь в темноту...

Очнулся я от запаха — до того едкого, что слезами давился. Ничего не понимаю: где я, что со мной? Рядом — тихие голоса, а в нос мне тычется что-то противно холодное. Видимо, я застонал. Голоса повеселели, и кто-то сказал: «Довольно. Уберите нашатырный спирт». Пробую заговорить — не терпится узнать про бой, про саперов, — а язык словно пьяный, едва вышлепывает слова. Наконец поняли меня, слышу в ответ:

— Осилили наши. И раненых немного. Здесь они, как и вы, в медсанбате.

Я в медсанбате? Это новость. Значит, ранен... Прислушался сам к себе и не ощутил правой ноги. В холодный пот ударило.

Ко мне кто-то склонился. Белый колпак на голове, рот закрыт марлей.

— Будем знакомы, товарищ командир батальона. Перед вами главный армейский хирург Могучий Михаил

Александрович. Сейчас я вас прооперирую. А ваше имя-отчество?

Я назвал себя. Про рану спросить не решился, но, бод-рясь, добавил: «Могучий — это хорошо».

Трудно было спасти мне ногу. От рванувшего вблизи снаряда правое бедро не только раздроблено — превраще-но в кашу. Но спасибо врачам — Могучему и еще Фейерта-гу, который лечил меня в госпитале, — калекой не стал.

Отлежав около месяца в Ленинграде, я был эвакуиро-ван затем на Большую землю. Ночью санитарный поезд, набрав раненых и больных, после многих маневров и оста-новок, каким-то кружным путем достиг берега Ладожско-го озера. Нас, прикованных к носилкам, разместили на палубе небольшого парохода. Тронулись тихо, без огней. В глубине суденышка мягко постукивала машина, за бор-том с шумными всплесками струилась ладожская вода... Прощай, Ленинград!

В глубоком тылу мы, валявшиеся в госпиталях, зами-рали, едва по радио начинали звучать позывные Совин-формбюро — мелодия песни «Широка страна моя родная». Затем голос Левитана или огорчал, или радовал положе-нием на фронтах. Но вот я уже на ногах, хотя передвига-юсь еще на костылях. В возвращении на фронт мне отка-зано, и я, оставаясь военным, преподаю инженерное дело курсантам эвакуированного из Сталинграда танкового училища. В январе 1944 года начались победоносные дей-ствия войск Ленинградского фронта. Однажды передавали по радио приказ Верховного Главнокомандующего — на-зывались особо отличившиеся в боях воинские части, и вдруг слышу: моему батальону присвоено почетное наиме-нование — Лужский.

Долго я сидел перед радиоприемником, как зачарован-ный глядя на его зеленый огонек... Радостно было созна-вать, что ополченцы свою задачу выполнили.

## ***ОГЛАВЛЕНИЕ***

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	6
ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . .	51
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . . . . .	87
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	133
ЧАСТЬ ПЯТАЯ . . . . .	156
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ . . . . .	189



Николай Федорович  
ГРИГОРЬЕВ

С нами  
время

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1983, 272 стр.  
План выпуска 1983 г. № 32. Редактор *М. В. Голле*.  
Худож. редактор *М. Е. Новиков*. Техн. редактор  
*Е. Ф. Шараева*. Корректор *И. Г. Клейнер*

ИБ № 3646

Сдано в набор 8.06.82. Подписано к печати 15.12.82.  
М 33807. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 15,48. Тираж 100 000 экз. Заказ № 449. Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р. 30к.